

КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА



Ирвин
ШОУ

Любовь
на темной
улице

КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Ирвин
ШОУ

Любовь
на темной
улице



ас
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА
2005

УДК 821.111(73)
ББК 84 (7Сое)
Ш81

Серия «Книга на все времена»

Перевод с английского Ю.Г. Кирьяка, Т.А. Перцевой, В.А. Вебера

Серийное оформление А.А. Кудрявцева и Е.Н. Волченко

Компьютерный дизайн: Е.А. Коляда

Печатается с разрешения наследников автора и The Marsh Agency.

Подписано в печать 30.05.05. Формат 84×108 ¹/₃₂.
Усл. печ. л. 18,48. Доп. тираж 2 000 экз. Заказ № 95.

Шоу, И.

Ш81 Любовь на темной улице : [сб.: пер. с англ.] / Ирвин Шоу. — М.: АСТ, 2005. — 348, [4] с. — (Книга на все времена).

ISBN 5-17-030644-X

Мучительное расставание на окутанной темнотой улице...
Первые робкие поцелуи под дождем...
Волнующее и томительное ожидание счастья...
Сокровенные тайны и потрясающие открытия...
Все это — ЛЮБОВЬ, непредсказуемая и невыразимо прекрасная, возносящая сердца людские на небеса и низвергающая в бездну...

В данную книгу включен авторский сборник «Любовь на темной улице» и рассказы из сборника «Пестрая компания».

УДК 821.111(73)
ББК 84 (7Сое)

МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ БЫЛ ЖЕНАТ НА ФРАНЦУЖЕНКЕ*

*Привычка взяла верх, превратилась в подобие ежевечернего ритуала. Садясь на Гранд-Сентрал** в вагон пригородного поезда, он первым делом раскрывал французскую газету. Чтение давалось с трудом, поскольку лишь по возвращении из Европы, чуть больше года назад, он заставил себя заняться языком. В конце концов удавалось прочесть почти все, от перечисления несчастных случаев на второй полосе, разделов политики и культуры до новостей спорта. Но прежде всего его интересовала информация об attentats и plastiquages — покушениях и взрывах, совершаемых в Алжире и самой Франции членами ОАС***, тайной армии, пытавшейся свергнуть генерала де Голля.*

Он искал имя. На протяжении целого года поиски оставались безуспешными. Но как-то дождливым весенним вечером, когда поезд, битком набитый пленниками уродливых

* The Man Who Married a French Wife. ©2001. Ю.Г. Кирьяк. Перевод с английского.

** Главный железнодорожный вокзал Нью-Йорка. — *Здесь и далее примеч. пер.*

*** Organisation Armée Secrète (фр.) — военно-политическая организация фашистского типа, противостоявшая в 60-х годах политике деколонизации президента де Голля и ставившая целью захват власти во Франции.

пригородов, отползал от грязного перрона, глаза остановились на знакомом сочетании букв. Предыдущей ночью, сообщал репортер, в Париже прозвучало одиннадцать взрывов. Взлетели на воздух книжный магазин, аптека, квартиры двух правительственных чиновников и дом, в котором жил журналист. Последний сильно пострадал от царапин и порезов, но газета уверяла, что его жизни ничто не угрожает.

Бошер сунул листок под сиденье. Приносить его домой он не собирался.

Поезд вынырнул из туннеля и понесся по эстакаде над Парк-авеню. По оконному стеклу косо били струйки дождя. События развивались не совсем так, так предполагалось, хотя разница была несущественной. Да, несущественной. Он смотрел в окно, и память уносила его в прошлое; промокшие нью-йоркские кварталы сменились залитыми полуденным солнцем улицами Парижа...

Войдя в табачную лавку, Бошер мимикой и жестами дал продавцу понять, что именно ему требуется. Это была уже его вторая сигара после полудня. Дома Бошер никогда не курил во второй половине дня, но ведь сейчас отпуск, он только что за прекрасным столом отметил встречу с двумя старыми друзьями, а кроме того, находится в странном и восхитительном городе — Париже. Еще одна сигара дарила ощущение непринужденной свободы и роскоши. Тщательно раскурив ее, он неторопливо тронулся вдоль улицы, с удовольствием поглядывая на витрины дорогих магазинов и женщин, любуясь отблеском последних лучей осеннего солнца на вознесенной к небу бронзовой фигуре Наполеона.

Он остановился перед дверью известнейшего ювелирного салона, почти решив совершить безумие и купить жене в подарок кулон. Ему хватило мужества зайти внутрь и осведомиться о цене, после чего осталось только в изумлении покачать головой и продолжить прогулку. Чуть дальше,

у книжного лотка, его внимание привлек отлично изданный альбом с цветными видами парижских достопримечательностей. Стоил альбом недешево, но Бошер купил его: после кулона все казалось мелочью.

В любом случае Жинетт никогда не была помещана на драгоценностях. К счастью. Потому что вплоть до прошлого года, когда Бошер стал партнером той самой юридической фирмы, в которой работал после окончания университета, особыми деньгами в их доме не пахло. Дети, налоги, строящийся неподалеку от Стэмфорда дом. На покупку бриллиантовых кулонов оставалось не так уж много. К тому же, подумал Бошер, Жинетт настолько красива и обаятельна, что бриллианты ей просто ни к чему. Мысль эта, безусловно, лестная для жены и в высшей степени разумная, вызвала у него улыбку.

Он заметил ее примерно за полквартиры до отеля, метрах в двадцати. Их разделяли несколько прохожих, однако ошибиться было невозможно: знакомая светловолосая головка, уверенная и независимая манера держаться. Она шла не одна, держа под руку мужчину в плаще и мягкой тирольской шапочке. Беседуя, они медленно приближались к отелю, стоявшему на углу улицы Тиволи. Жинетт то и дело поворачивала голову к своему спутнику, который твердо держал курс в потоке пешеходов. Время от времени они останавливались, как если бы серьезность разговора пригвоздила их на мгновение к месту.

Наблюдая за парой, Бошер внезапно ощутил, что чувство свободы и радости, вполне естественное для человека, впервые в жизни очутившегося в Париже, блекнет и куда-то уходит. Жинетт, казалось, была настолько увлечена беседой, настолько сосредоточенна, что окружающие для нее, по-видимому, не существовали. «Встань я сейчас перед ней, — подумал Бошер, — и пройдет нема-

ло времени, прежде чем она поймет, что видит перед собой мужа». После тринадцати лет совместной жизни увидеть родного человека, полностью поглощенного разговором с каким-то незнакомцем, было нелегко. В душе воцарилась пустота, на долю секунды жутким осознанием реальности мелькнула мысль: «А ведь наступит день, и она оставит меня».

У витрины магазина Бошер остановился, пытаясь избавиться от назойливого образа двух маячивших впереди фигур. Смотревший на него из зеркального стекла мужчина выглядел представительным и неподвластным житейским проблемам. Чуть старше тридцати, привлекательной наружности, отменного здоровья, с тонкой, едва заметной улыбкой. Отражение никак не могло принадлежать капризному невротичу, нет, оно несло в себе черты человека, на которого можно и стоит положиться в момент принятия ответственных решений, человека, не привыкшего к поспешным суждениям и не подверженного бессмысленным страхам.

Глядя в витрину, Бошер вспомнил, что Жинетт сказала, будто собирается пообедать с матерью. Поскольку три или четыре таких обеда он уже посетил, а возможность общения за столом была сведена к минимуму — пожилая дама не понимала ни слова по-английски, он не знал французского, — Бошер со спокойной душой отправился на встречу с друзьями. Но часы показывали уже половину пятого, даже в Париже время обеда давно закончилось. Хорошо, пусть Жинетт навещала мать, однако она имела возможность завершить свою встречу до этого момента. Жена выросла в Париже и после их свадьбы два раза приезжала сюда одна. Мужчина в плаще вполне мог быть старым знакомым, приятелем, которого она случайно встретила на улице. Нет, вряд ли. То, как они выглядели с расстояния в двадцать метров, напрочь ис-

ключало всякую случайность. Слова «знакомый» или «приятель» звучали в данной ситуации неточно, чтобы не сказать фальшиво.

С другой стороны, за прожитые с Бошером тринадцать лет Жинетт ни разу не дала ни малейшего повода для подозрений в том, что ее интересует другой мужчина. Когда она в последний раз приезжала в Париж, чтобы повидать мать, ей пришлось вернуться на две недели раньше: по ее словам, не было сил выносить разлуку с Бошером и детьми. Теперь же, пробыв в городе уже почти три недели, они не расставались ни на минуту — за исключением, пожалуй, тех часов, что неувлимо быстро летят для женщины у хорошего парикмахера или в примерочной известного кутюрье.

И еще: если Жинетт пыталась что-то скрыть, для чего ей встречаться с женщиной у входа в отель, где в любое мгновение может появиться супруг? Значит, либо ей нечего скрывать, либо она сознательно хочет спровоцировать... Что?

Спровоцировать что?

Стоя перед зеркальным стеклом, Бошер приказал себе не двигаться, замереть, как статуя. Этот маленький фокус он освоил давно, еще в те времена, когда взрывной характер толкал его на сумасбродства, когда хотелось действовать без оглядки на обстоятельства. Юношей Бошер легко поддавался порывам страстей. За необдуманные поступки его дважды исключали из школы и один раз — из колледжа. Избежать суда военного трибунала в армии удалось лишь благодаря удивительной незлобivosti майора, которому он нанес чудовищное оскорбление. Бошер был отчаянным задирой, легко наживал врагов, в отношениях — как с мужчинами, так и с женщинами — доходил иногда до почти животной грубости. В конечном счете ему пришлось ломать себя, испытывая

медленную, жестокую боль: разум подсказывал, что в противном случае ему грозит полное самоуничтожение. Говоря точнее, пришлось заново выстраивать поведение, поставить под жесткий контроль внешние проявления мыслей и чувств.

Бошер знал, каким он хотел стать — каким должен был стать, — чтобы добиться поставленных в жизни целей. Эти цели были ясны еще в юности: полная финансовая независимость, репутация добросовестного, надежного работника, достойный, по любви брак и дети, которые заслуживали бы уважение окружающих. Позже к этому можно будет добавить политический вес и высокую должность федерального судьи. Но все благие намерения останутся чистой воды фантазиями, если он не научится при любых обстоятельствах твердо держать себя в руках. Усилием воли Бошер заставлял себя быть осмотрительным, гасить вспышки ярости, чтобы выглядеть в глазах людей спокойным и рассудительным человеком. Со временем ему удалось оставаться таким даже с Жинетт. Цену приходилось платить высокую, но пока усилия себя оправдывали. В глубине души, и Бошер знал это, он остался тем же несдержанным человеком, склонным к мгновенным перепадам настроения, готовым пойти на все ради удовлетворения внезапно вспыхнувшего желания. Расчетливо неторопливые движения, ровная и плавная манера речи, исходившая от всего его облика доброжелательность были не более чем средствами самосохранения. Производя впечатление могучего, незыблемого утеса, Бошер мучился ощущением постоянно висевшей над ним опасности. Флегматичный и трезвомыслящий внешне, он вел ежедневную битву с приступами неистового гнева, с собственным безрассудством, в страхе ожидая того момента, когда мягкую и благостную личину взорвет борьба кроющихся под ней страстей.

Спровоцировать, спровоцировать...

Бошер пожал плечами, бросил последний взгляд на высокого, со вкусом одетого господина в витринном стекле и зашагал к отелю. Жинетт и мужчины в плаще уже не было. Решительно, быстро подойдя к дверям, он выбросил окуроч сигары и вошел.

Жинетт и ее спутник стояли у конторки администратора. Свою тирольскую шапочку мужчина медленно крутил в руках. Приближаясь, Бошер услышал обращенный к администратору вопрос жены:

— *Est-ce que Monsieur Beauchurch est rentré?*

Это была одна из немногих французских фраз, которые он мог понять на слух. Жена интересовалась, вернулся ли он.

— Добрый вечер, мадам, — со спокойной улыбкой проговорил Бошер. — Не могу ли я вам чем-то помочь?

— Том! — повернулась на его голос Жинетт. — Я так надеялась, что ты уже вернулся! — Она поцеловала его в щеку, и Бошеру показалось, что жена чувствует себя несколько неуверенно. — Хочу познакомить тебя со своим другом. Будьте добры, господа! Клод Матре — мой муж.

Бошер пожал протянутую ему руку. Мгновенный контакт оставил на коже ощущение сухости и беспокойства. У высокого и худощавого Матре были гладкие каштановые волосы и прямой, довольно длинный нос. Под остро надломленными бровями прятались глубоко посаженные встревоженные глаза. Приятное лицо выглядело землисто-серым, усталым, как будто его обладатель страдал от постоянного недосыпания. На приветствие Бошера он ответил вежливой улыбкой, за которой крылась неясная мольба.

— Ведь тебе никуда больше не нужно идти, правда, Том? Мы можем выпить что-нибудь в баре.

— Естественно.

— Не хочу портить вам вечер, — произнес Матре по-английски, с заметным акцентом, но достаточно четко и внятно. — В Париже всем вечно не хватает времени.

— Нам все равно нечего делать до самого ужина. Я бы с удовольствием выпил, — возразил Бошер.

Мимо столиков, за которыми милые пожилые дамы пили из крохотных чашечек чай, они прошли в бар — погруженный в полумрак огромный зал, стены которого были обшиты панелями красного дерева. Позолоченная лепнина стен и потолка создавала атмосферу роскошного дворца начала прошлого века. Стиснув руку мужа, Жинетт плечом к плечу с ним проследовала мимо вежливо придержавшего дверь Матре. Бошер с наслаждением вдохнул пряный аромат ее духов.

— Как мама? — спросил он, направляясь к столику у окна, которое выходило на Тюильри.

— Очень неплохо. Была разочарована твоим отсутствием.

— Как-нибудь в другой раз.

Вместе с плащом Бошер отдал официанту и сверток с альбомом, решив сделать жене сюрприз позже, по возвращении в номер.

— Довольно мрачное местечко, а? — заметил Матре. — Такое впечатление, что здесь живут привидения.

— Лет сто назад тут наверняка царило веселье, — отозвался Бошер.

Они попросили официанта принести виски, и Бошер вновь ощутил терпкую волну, когда Жинетт с сигаретой наклонилась к щелкнувшей в его руке зажигалке. На лице Матре был написан — так, во всяком случае, показалось Бошеру — холодный интерес: француз как будто анализировал взаимоотношения сидящих напротив него супругов.

У самой стойки сидели двое внушительных американцев, их голоса создавали басовитый, рокочущий фон,

но время от времени отдельные фразы можно было разобрать вполне отчетливо.

— ...А с бельгийской делегацией у нас будут проблемы. Настроены они очень скептически и полны подозрений. Причины абсолютно понятны, однако...

— Клод — журналист, — заявила Жинетт, напомнив Бошеру гостеприимную хозяйку, представляющую другу друга своих гостей. — Один из самых известных во Франции. Я и нашла-то его потому, что увидела в газете знакомое имя.

— Поздравляю. В том смысле, что вы — журналист. В детстве я, как и любой мальчишка в Америке, страстно хотел стать репортером. Но работодатели не обращали на меня внимания.

«Значит, она наткнулась на его имя в газете. Я был прав, — подумал Бошер, — она сама позвонила ему, о случайной встрече на улице не может быть и речи».

— По-моему, это я должен вас поздравить, — пожал плечами Матре. — С тем, что этой работы вы так и не получили. Человека, который принял меня в газету, я считаю временами своим заклятым врагом. — В голосе его прозвучали усталость и разочарование. — К примеру, я никогда не смогу одеть свою жену так, как сейчас выглядит Жинетт. И в отличие от вас шестинедельная туристическая поездка по Европе мне тоже не по карману.

А ведь мужчине очень непросто сделать такое мучительное признание, мелькнуло в голове у Бошера.

— Так вы женаты?

— Навеки.

— У него четверо детей, — вставила Жинетт.

Слишком поспешно, подумал Бошер.

— Пытаюсь собственными силами выправить демографический дисбаланс, доставшийся Франции в наследство от Наполеона, — с иронией улыбнулся Матре.

— Ты видела его детей? — поинтересовался Бошер.
— Нет, — кратко ответила Жинетт, не вдаваясь в подробности.

После того как официант поставил на столик бокалы, Матре поднял свой.

— За приятный отдых в приятной стране! — с той же иронией в голосе произнес он. — И за скорое возвращение.

Все выпили. За столом повисло неловкое молчание.

— Что у вас за специализация? — спросил наконец Бошер. — Я имею в виду, есть ли у вас какие-то любимые темы?

— Война и политика. Самые выигрышные.

— Пожалуй. Во всяком случае, вам не приходится сидеть сложа руки.

— Да. У нас полно дураков и скотов, которые просто не дадут бездельничать.

— Что, по-вашему, ожидает Францию? — Бошер принял решение быть вежливым и поддержать разговор: черт побери, нужно же выяснить, для чего Жинетт понадобилось их знакомить.

— Что нас ожидает? Сдается мне, эта фраза стала во Франции чем-то вроде приветствия. Ее слышишь куда чаще, чем «доброе утро» или «как дела». — Матре пожал плечами. — Ожидают неприятности.

— Неприятности ожидают всех, — заметил Бошер. — И Америку тоже.

— Хотите сказать, — в глазах Матре прыгала холодная усмешка, — что Америку захлестнет волна насилия и политических убийств? Что там начнется гражданская война?

— Нет. А здесь, вы считаете, это возможно?

— Здесь в известной степени это уже происходит.

— И продолжится?

— Может быть. Только в более явной форме.

— Как же скоро?

- Рано или поздно.
- Это звучит слишком пессимистично.
- Население Франции состоит исключительно из пессимистов. Поживете здесь подольше, сами поймете.
- Но если то, о чем вы говорите, и в самом деле случится, кто победит?
- Силы зла. Не навечно, надеюсь, но на какое-то время. И период этот нужно будет как-то прожить. Удовольствие весьма сомнительное.
- Том, — включилась в разговор Жинетт, внимательно ловившая слова Матре, — может, я поясню? Клод работает в либеральной газете, и правительство уже несколько раз конфисковывало тиражи из-за его статей про Алжир.
- Если газета с моей статьей поступает в продажу, я начинаю упрекать себя в трусости, — заметил Матре.
- Какое трогательное самодовольство, подумал Бошер. Собеседник нравился ему все меньше и меньше.
- Есть еще один момент, Том, — сказала Жинетт и повернулась к Матре. — Ты не будешь против, Клод?
- По-твоему, его это заинтересует? К подобным вещам американцы просто не умеют относиться серьезно.
- Я — очень серьезный американец. — Бошер впервые за время разговора позволил себе едва заметную ноту раздражения. — Я от корки до корки прочитываю каждый выпуск журнала «Тайм».
- Вы смеетесь надо мной, но я вас не виню. Сам виноват, — произнес Матре. — Может, еще немного выпьем?
- Бошер сделал знак официанту.
- Что ты собиралась сказать, Жинетт? — На этот раз он сдержал раздражение.
- Про письма и телефонные звонки.
- Какие письма? Какие звонки?

— С угрозами убить меня, — легко бросил Матре. — Письма приходят обычно на мое имя, а звонят жене. Естественно, она начинает нервничать. Особенно когда к телефону приходится подходить раз пять или шесть в день.

— Кто же их пишет? — Бошер с радостью не поверил бы услышанному, однако в манере речи Матре было нечто такое, отчего становилось ясно: каждое произнесенное им слово — правда. — Кто звонит?

— Трудно сказать. Шизофреники, старушки, профессиональные острословы, отставные офицеры, наемные убийцы... Имен своих они не называют. Ничего нового, анонимное письмо всегда было излюбленным жанром французской литературы.

— Вы считаете все это серьезным?

— Временами. — Матре подождал, пока официант удалится от их столика. — Когда чувствую усталость или когда идет дождь, я воспринимаю это всерьез. Во всяком случае, некоторые из них наверняка не шутят.

— Что же вы намерены делать?

— Ничего, — с удивлением ответил Матре. — А что тут можно сделать?

— Ну хотя бы обратиться в полицию.

— В Америке человек бы тут же пошел в полицию. У нас... — Он сделал большой глоток. — Я не могу похвастаться добрыми отношениями с полицией. Уверен, мою почту читают, а телефон прослушивается. Иногда я замечаю, что за мной следят.

— Какая низость, — проговорил Бошер.

— Мне нравится твой муж, — повернулся Матре к Жинетт. — Он находит это низостью! Очень по-американски.

— Нечто подобное было и в Америке, и не так в общем-то давно.

— Знаю, знаю. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, будто Америка для меня — сказочная страна,

которая не подвержена болезням века. И все же у вас, как я сказал, человек первым делом побежал бы в полицию...

— Вы действительно думаете, что вас могут попытаться убить?

Бред какой-то. Что за ерундой они занимаются в отпуске, пронеслось в голове у Бошера. Очень содержательный разговор.

— Может быть, не в данный момент, — бесстрастно ответил Матре, как человек, рассматривающий проблему, не имеющую к нему никакого отношения. — Но когда заварится каша — почти наверняка.

— И как же она, по-вашему, заварится? — Бошеру было трудно представить, что восхитительный, бурлящий беззаботной жизнью Париж будет отдан на поругание смутьянам и убийцам.

— Как заварится? — Матре задумчиво смотрел в полумрак бара, словно подбирая слова, чтобы описать картину открывающегося перед городом будущего. — Не считая себя провидцем, могу только предполагать. Все будет зависеть от де Голля. От состояния его здоровья — физического и политического. От его способности выжить. Сейчас в стране некоторое потепление, мы называем его *détente*. Заговорщики выжидают. Палачи и убийцы в тени. Но если генерал вдруг сдаст — возраст, излишняя уверенность в собственных силах, обычный промах, — то развитие событий не заставит себя ждать.

— Каких событий?

— Скажем, мятеж наших войск в Алжире. Потом десант захватит аэродромы уже здесь, в различных районах страны начнут действовать вооруженные и хорошо подготовленные отряды коммандос. В их руках окажутся местные органы власти, радио- и телестанции, будут брошены в тюрьмы или тайно казнены некоторые наиболее влиятельные политики. Словом, все как обычно. Ника-

кого секрета в этом нет. Нерешенным остается только вопрос времени.

— Ты веришь в это? — повернулся Бошер к жене.

— Да.

— Другие твои друзья рассуждают так же?

— Почти все — да.

— А вы? — Он посмотрел в глаза Матре. — Что вы сами собираетесь делать в подобной ситуации?

— Предложу свои услуги правительству. Если оно, конечно, еще будет существовать, а меня куда-нибудь не упрячут.

— Господи, — вздохнул Бошер, — нелегко быть французом.

— Временами в этом есть кое-какие плюсы.

— Хорошо. — Он вновь повернулся к Жинетт. — В курс дела вы меня ввели. Не понимаю только зачем? Для чего мне пришлось все это выслушать?

Жинетт и Матре обменялись взглядами. Бошер вновь почувствовал себя посторонним, чужаком.

— Позволь мне объяснить, дорогая. — Легонько коснувшись руки Жинетт, Матре поднес к губам бокал, как оратор, которому нужно выдержать паузу. — Мистер Бошер, ваша супруга высказала любезное предположение, что вы согласитесь оказать мне помощь... — Он смолк, ожидая вопроса, но его собеседник молчал. — Суть дела, к сожалению, заключается в деньгах.

О Боже, подумал Бошер, сколько ненужной болтовни ради того, чтобы попросить взаймы! Очень жаль, что Жинетт потребовалось такое долгое вступление. На лице его все явственнее читался отказ.

— Если в стране начнется заваруха, — отведя взгляд в сторону, продолжал Матре, — а я почти уверен, что так и произойдет, мне скорее всего придется покинуть Францию. Или по меньшей мере моей жене и детям. В

любом случае я чувствовал бы себя значительно увереннее, располагая определенной суммой в зарубежном банке. Счетом где-нибудь в Швейцарии можно было бы пользоваться без особых формальностей...

— Я сказала Клоду, что в четверг мы выезжаем в Женеву. — В голосе жены Бошеру послышался вызов. — Нам не составило бы никакого труда...

— Буду говорить прямо. Ты обещала своему другу деньги на... — Увидев вытянувшееся от изумления лицо Матре, Бошер прервал фразу. — Я что-нибудь неверно понял?

— Именно так. — Матре выглядел рассерженным и смущенным одновременно. — Я вовсе не собирался просить у вас взаймы. У человека, которого вижу впервые в жизни, я не взял бы и ста франков.

— Жинетт, говори лучше ты, — попросил Бошер.

— Подданные республики Франция не имеют права вывозить деньги за пределы страны, — четко пояснила мужу Жинетт. — Разрешенная к вывозу сумма просто смехотворна. И поскольку мы все равно едем в Швейцарию, я посчитала, что нам будет очень легко оказать Клоду эту услугу.

— Если я не ошибаюсь, вывозить из Франции крупные суммы не может никто, в том числе и американцы.

— Предел — двести пятьдесят новых франков, — сообщил Матре.

— Но американцев на таможне не беспокоят, — встала Жинетт. — Им даже чемоданы открывать не приходится. На вопрос: «Сколько везете с собой наличных денег?» — человек отвечает: «Что-то около сотни», — и все, он свободен.

— Но формально это нарушение закона, — упрямо заметил Бошер.

— Формально! — с пренебрежением повторила Жинетт. — Кому какая разница?

— Прошу вас, друзья... — Матре умиротворяюще поднял руки. — Зачем ссориться? Если у вас есть хоть малейшие сомнения, я прекрасно все пойму...

— Позвольте задать вам вопрос, мистер Матре. Допустим, мы с Жинетт сейчас дома, допустим, она вам не звонила. Что бы вы стали делать?

Журналист на мгновение задумался.

— Наверное, попробовал бы обратиться к кому-нибудь другому, — медленно ответил он, осторожно подбирая слова. — Но это было бы очень... очень непросто. Я уже говорил, что время от времени замечаю за собой слежку. С такой просьбой можно прийти только к самому близкому человеку, к другу, чьи взаимоотношения со мной властям кажутся достаточно компрометирующими. На него падут подозрения, особенно если он соберется выехать за границу. А ведь при выезде каждый француз подвергается досмотру, ему задают массу вопросов. Во времена, которые грядут, вся процедура будет походить на допрос с пристрастием. — Матре слабо улыбнулся. — Мне бы очень не хотелось подвергать таким испытаниям своих друзей. Но и вас ничто не обязывает идти мне навстречу. Человек, которому грозит опасность, который нуждается в помощи, всегда предстает в глазах людей жутким занудой. Стоит вспомнить хотя бы о беженцах во время войны — как они всех раздражали! — Он помахал рукой официанту. — Был бы весьма признателен, если бы вы позволили мне расплатиться.

— Одну минуту, — не обратив внимания на последние слова Матре, произнес Бошер. — Какую сумму вы рассчитывали переправить с нашей помощью в Швейцарию?

— Четыре миллиона франков. Старых, конечно.

— Это всего около восьми тысяч долларов, Том, — подсказала Жинетт.

— Знаю. — Взяв, несмотря на протесты Матре, протянутый официантом счет, Бошер отсчитал банкноты и встал. — Дайте мне время подумать и переговорить на эту тему с Жинетт. Телефон ваш у нее есть. Завтра она вам позвонит.

— Если вы не будете против, я свяжусь с вами сам. Чем меньше раздастся у меня звонков, тем спокойнее...

— ...в Африке, к примеру, — слышался от стойки бара низкий голос американца, — старая система денежных подарков рухнет на глазах. Но никто пока не придумал ничего лучшего...

Следом за Жинетт и Матре Бошер вышел из бара, миновал по-прежнему занятых чаем пожилых дам с их меховыми накидками, пушистыми пуделями и вазочками с пирожными. Для благородных седых буклей не существовало ни заговоров, ни тайного передвижения войск, ни уличных боев. Увешанные драгоценностями — наградами за былые победы — старушки были неподвластны надвигающимся мрачным переменам. Пугающие пророчества Матре прозвучали бы для них как беспомощный лепет ребенка, которому приснился дурной сон.

В вестибюле отеля Матре галантно поцеловал руку Жинетт, наклонил слегка голову, прощаясь с Бошером, и направился к выходу. Уж слишком опущены у него плечи, подумал Бошер, да и походка для человека его лет чересчур тяжелая и безвольная. На сердцееда и дамского угодника журналист не походил. Но когда Бошер повернулся к Жинетт, в ее устремленных на уходящего глазах что-то промелькнуло. Желание? Жалость? Он не знал.

В молчании супруги поднялись в номер. Ощущение праздника, которое оба испытывали с момента приезда в Париж, куда-то ушло. В ярком свете электрических ламп помпезная обстановка старой, с высоким потолком комнаты казалась бездушной и нелепой. Повесив на плечи-

ки легкое пальто, Жинетт остановилась перед зеркалом. Бошер положил сверток с альбомом на стол, сделал шаг к окну. На противоположной стороне забитой в этот час машинами улицы раскинулись сады Тюильри. Листва с деревьев уже облетела, вид у прохожих, спешивших куда-то под только что включившимися фонарями, был замерзший, встревоженный.

За спиной Бошера слегка скрипнула кровать.

— Четыре миллиона франков, — сказала из постели Жинетт, — это все его сбережения. Больше у него ничего нет.

Бошер молча смотрел на пустые скамейки Тюильри.

— Если не возьмешь их ты, это сделаю я.

Он медленно повернулся к ней от окна:

— Какие глупости ты говоришь!

Жинетт бросила на мужа холодный, полный враждебности взгляд.

— Глупости? Ну еще бы! — Она откинулась на спину и теперь смотрела в потолок. — И все же я поступлю так, как сказала.

— Получится неплохой заголовок: «Супруга нью-йоркского юриста арестована в Париже за попытку незаконного вывоза валюты. Муж заявляет, что ничего не знал о действиях жены».

— Хочешь сказать, что не собираешься помочь Клоду? — Голос Жинетт прозвучал удивительно ровно.

— Хочу сказать, что являюсь законопослушным в общем-то гражданином и, будучи здесь гостем, предпочитаю не обманывать своих хозяев.

— О! Как же здорово быть американцем. И пуританином. Как это удобно!

— Хочу также сказать, что риску должны соответствовать какие-то выгоды.

— Выгод здесь не будет. Соответствия не получится. Просто нужно помочь попавшему в беду человеку.

— В беду попадают многие. Почему мы должны помогать именно этому?

— А ведь он тебе не понравился, так?

— Так. Он самодоволен, любитесь собственным умом и излишне покровительственно относится к американцам.

Неожиданно Жинетт рассмеялась.

— Что это с тобой? — спросил Бошер.

— Ты попал в точку. Клод именно такой. Типичный французский интеллигент. — В номере вновь зазвучал смех. — Обязательно расскажу ему, как ты его раскусил. Он придет в бешенство.

Бошер озадаченно смотрел на жену. Смех ее был абсолютно искренним, и произнесла она совсем не те слова, что обычно говорят женщины о мужчине, который их чем-то привлекает. Но как в таком случае объяснить неувольную близость этих двоих там, на улице, у входа в отель? Почему Жинетт прямо толкает его помочь Мэстрэ?

Он опустился на край постели.

— Вопрос заключается в том, почему мы должны помочь именно ему.

Несколько мгновений Жинетт лежала неподвижно, положив руки поверх украшенного вышивкой покрывала.

— Потому что он — друг. Этого тебе недостаточно?

— Не совсем.

— Потому что он француз, а я родилась в Париже. Потому что он талантлив, потому что я разделяю его взгляды, потому что люди, которые хотят его убить, вызывают омерзение. Мало?

— Мало.

— Потому что я любила его, — бесцветным голосом сказала Жинетт. — Ты этого ждал?

— Я это предполагал.

— Прошло много лет. Это было во время войны. Для меня он стал первым.

— Сколько раз ты встречалась с ним после того, как вышла за меня?

Не глядя на жену, Бошер напряженно вслушивался в ее голос: не прозвучит ли фальшивая нота? Жинетт никогда не лгала, но ведь до сегодняшнего дня и подобный вопрос не вставал — вопрос, на который ответить правду было в равной мере трудно как женщине, так и мужчине.

— После сорок шестого мы виделись дважды: вчера и сегодня.

— Если прошло столько лет, почему ты решила позвонить ему вчера?

Протянув руку к стоявшему у кровати столику, Жинетт вытащила из пачки сигарету. Бошер автоматически щелкнул зажигалкой. Жинетт откинулась на подушки, выпустила к потолку струю дыма.

— Не знаю. Любопытство, ностальгия, чувство вины. Когда женщина вступает в средний возраст, иногда ей так хочется вернуться назад! Мне подумалось: а вдруг я больше никогда не увижу Париж? Тогда воспоминания о нем необходимо сделать более рельефными... Не знаю. А у тебя не бывало мыслей повидаться со своей первой любовью?

— Нет.

— Что ж, видимо, женщины устроены по-другому. Или хотя бы француженки. Хотя бы я. То, что было после звонка, тебя не беспокоит?

— Нет. — О промелькнувшем на улице секундном ощущении, что наступит день и Жинетт его бросит, уйдет, Бошер решил ей не говорить.

— Мы выпили пива у Дома Инвалидов, в молодости он как-то раз водил меня туда. А через десять минут речь уже шла о политике, о его проблемах, о Швейцарии. О Швейцарии, кстати, первой заговорила я — если в душе ты его уже обвинил.

— Я ни в чем его не обвиняю. Но почему ты вчера не сказала мне ни слова?

— Сначала я решила: перевезу деньги сама, зачем тебя беспокоить? Но сегодня утром поняла, что по отношению к тебе это было бы нечестно, что вам с Клодом лучше обсудить проблему вместе. Хотя бы здесь я оказалась права? — Жинетт требовательно посмотрела в лицо мужа.

— Да.

— Я не предполагала, что ты можешь быть столь суровым. И с ним ты держался совсем не так, как всегда. Обычно ты очень любезен с новыми знакомыми, а тут моментально настроился против.

— Это правда. — В подробности Бошер вдаваться не стал. — Имей в виду, Жинетт, ты не обязана мне ничего рассказывать, если не хочешь.

— Но я хочу — хочу, чтобы ты понял, почему я должна помочь ему, пока есть возможность. Хочу, чтобы ты понял его. Хочу, чтоб ты понял меня.

— Тебе кажется, я не понимаю?

— Не до конца. Мы так сдержанны друг с другом, так вежливы, так боимся сказать слово, которое может не понравиться другому...

— Это плохо? Я привык думать, что отчасти поэтому наш брак оказался в общем-то счастливым.

— Счастливым, — повторила Жинетт. — А какой брак может считаться счастливым?

— К чему ты клонишь?

— Не знаю, — безразлично ответила Жинетт — Ни к чему. Может, заела тоска по дому, только где он, мой дом? Может, не стоило приезжать в Париж. Может, из-за того, что помню себя здесь девчонкой, я и сейчас поступаю как девчонка, хотя давно стала уважаемой американской матроной. Я ведь и в самом деле выгляжу уважаемой матроной, а, Том?

— Нет.

— Иду по улице и забываю, кто я, сколько мне лет, забываю об американском паспорте. Мне опять восемнадцать, на площадях люди в мышинного цвета форме, и я не могу понять, влюблена или нет — так безумно счастлива. Не удивляйся. Конечно же, я была счастливой не потому, что шла война и улицы заполняли немецкие солдаты. Я была счастливой из-за своих восемнадцати лет. Война тоже не одного цвета, даже в оккупированной стране. Пожалуйста, возьми меня за руку. — Жинетт протянула ему ладонь, и Бошер накрыл ее длинные, холодные пальцы своими, ощутив тонкую полоску обручального кольца. — Мы ни разу не исповедовались друг другу. Время от времени браку необходима исповедь, а мы бежали от нее. Не нужно пугаться, Том. Ни потрясений, ни скандалов не будет. До тебя у меня был только Клод. Вряд ли я соответствую бытующему в Штатах представлению о настоящей француженке. Что-нибудь в моем рассказе тебя удивило?

— Нет.

С Жинетт Бошер познакомился, когда та приехала после войны в Америку на учебу: наивная, погруженная в книги девушка, трогательно тоненькая и привлекательная. В ее облике не было ничего кокетливого или, не дай Бог, плотского. Выйдя за него замуж, Жинетт и в любви еще долгое время оставалась неопытной и сдержанной. Чувственность пришла к ней значительно позже, спустя месяцы.

— Клод хотел жениться на мне. Я бегала в Сорбонну на лекции по истории средних веков. При немцах история оставалась одной из немногих разрешенных дисциплин: их не интересовало, что ученые мужи говорят о Шарлемане, Сен-Луи или Руанском соборе. Матре был на три, если не четыре, года старше. Красивый какой-то особой, свирепой, что ли, красотой. Сейчас этого о нем уже не скажешь, так?

— Нет, пожалуй.

— Быстро же все проходит! — Жинетт качнула головой, гоня от себя печальную мысль. — Он писал пьесы. Писал и никому не показывал: не хотел, чтобы их ставили, пока в городе немцы. Правда, после войны их тоже не ставили. Думаю, драматургом Клод был посредственным. Когда Париж освободили, выяснилось, что мой друг не только сочинял пьесы, но и участвовал в Сопротивлении. Потом пошел в армию и получил серьезное ранение возле Бельфура. Два года в госпиталях сильно изменили Клода, в нем появилось столько горечи и желчи... Он ненавидел то, что происходило со страной, со всем миром. Он уже ни на что не надеялся, за исключением... за исключением самого себя и меня. Единственной его надеждой оставалась я, и я обещала ему, что, когда он выпишется, мы поженимся. Но тут мне дали стипендию, появилась возможность уехать в Америку... Он умолял меня не уезжать или хотя бы выйти за него еще до отъезда, говорил, что там я наверняка найду себе другого, забуду о нем, о Франции. Клод заставил меня дать клятву: прежде чем вступить в брак, я должна при любых условиях приехать в Париж и повидать его. Я поклялась. Это было нетрудно, ведь я любила его и верила, что никто ближе его мне и быть не может. Клод остался в госпитале, ему требовалось восстановить здоровье и силы, найти какое-то занятие — ведь ни у него, ни у меня не было ни сантима. А потом я встретила тебя. Я долго старалась держаться, ты, наверное, помнишь? — Голос Жинетт стал резким, почти неприязненным: она словно хотела оправдать в глазах прикованного к больничной койке любимого человека молоденькую девушку, вступавшую в чужой, незнакомый мир взрослых. — Я делала все, что было в моих силах, разве нет?

— Да.

Бошер помнил. Помнил, как уже готов был отступить от нее, какую ярость вызывали в нем ее неуве-

ренность, ее необъяснимые колебания. Много стало теперь понятно. «Интересно, — подумал он, — прибавилось бы в жизни счастья, если бы я узнал обо всем этом раньше, если бы вел себя по-другому?»

— Почему же до этого ты ничего мне не говорила?

— Это была моя боль. Моя и его. Так или иначе, назад я не вернулась. И ему я не сказала ничего до самой свадьбы. А в тот день послала ему телеграмму. Я просила у него прощения, просила не писать мне.

Свадьба. Невеста у окошечка почты. *Прости меня.* Через четыре тысячи миль. *Все уже кончено. Поздно... Слишком долго ты пробыл в госпитале. Люблю.*

— Что ж. — Бошеру хотелось быть жестоким и к ней, и к себе. — Жалеешь теперь? Ведь ты могла бы помочь Франции улучшить демографическую ситуацию.

— Еще не все потеряно. — Жинетт ощутила злость. — Если тебе интересно, он по-прежнему хочет жениться на мне.

— Жениться? И когда же?

— Хоть сегодня вечером.

— А четверо детей и его нынешняя жена? Не говоря уж о твоём муже и твоих собственных детях?

— Я сказала ему, что это просто абсурд. Сказала еще три года назад.

— Три года назад? Но ведь после сорок шестого вы виделись всего дважды — вчера и сегодня.

— Я обманула тебя, — невозмутимо ответила Жинетт. — Я встречалась с ним всякий раз, когда приезжала сюда. Каждый день. Нужно быть бездушной скотиной, чтобы поступить иначе.

— Спрашивать у тебя, что между вами было, я не собираюсь.

Бошер поднялся. Мысли его путались. Свет в номере казался теперь тоскливым и пыльным, обращенное к потолку лицо жены — чужим и незнакомым. Голос Жи-

нетт звучал откуда-то издалека, в нем не слышалось ни единой живой ноты. Что случилось с их праздником? Подойдя к столу, Бошер плеснул в стакан виски. Жидкость обожгла горло.

— А ничего и не было, — произнесла Жинетт. — Но если бы он меня попросил, думаю, я согласилась бы.

— Почему? Ты до сих пор любишь его?

— Нет. Сама не знаю почему. Назови это воздаянием. Реституцией... Но он так и не попросил. «Или брак — или ничего», — сказал он. Сказал, что не может позволить себе потерять меня еще раз.

Рука Бошера, в которой он держал стакан, слегка подрагивала. Его душила ярость к этому человеку, к его вызывающему эгоизму, его поломанной, безответной, отчаянной, но так и не умершей любви. Он осторожно поставил стакан на стол, с трудом сдержав желание наполнить номер звоном разбитого вдребезги стекла. Прикрыл глаза, замер. Бошер не знал, к чему может привести малейшее, пусть самое незаметное его движение. Мысль о сидящих за столиком летнего кафе Мастре и Жинетт, гладнокровно обсуждающих, как гуманнее разрушить его жизнь, была куда страшнее пусть даже воображаемого зрелища их переплетенных в постели тел. Это представлялось просто чудовищным, в этой сцене напрочь отсутствовали чувства и естественность, простительная в общем-то для слабой человеческой плоти естественность. Бошер оказался в центре составленного злейшими врагами его семьи заговора, злейшими, потому что об их существовании невозможно было и подозревать. Войди Мастре сейчас в номер, Бошер без раздумий убил бы его.

— Будь ты проклят! — негромко сказал он, удивившись тому, как спокойно и буднично звучит его голос.

Раскрыв глаза, Бошер посмотрел на Жинетт. Одно неверно выбранное слово, и он ударит ее. Ударит и уйдет — отсюда, из ее жизни. Бросит все. Навсегда.

— Вот почему в последний раз я вернулась на две недели раньше. Я не могла больше этого выносить. Испугалась, что уступлю ему. Я просто бежала.

— Лучше бы ты сказала, что бежала домой.

Жинетт повернула голову. Он почувствовал на себе ее напряженный, немигающий взгляд.

— Да. Так будет лучше. Я бежала домой.

Слова выбраны верно, подумал Бошер. На это потребовались нервы и время, но выбраны они верно.

— А когда ты приедешь в Париж в следующий раз, опять пойдешь на встречу с ним?

— Да. Думаю, да. Разве можем мы избегать друг друга? — На минуту в номере воцарилось молчание. — Ну вот тебе вся моя история. Рассказать ее я должна была много раньше. Так сможешь ты ему или нет?

Бошер стоял и смотрел на жену, на ее мягкие светлые волосы, нежный овал по-девичьи свежего лица, стройное, такое знакомое и близкое тело, на лежавшие поверх покрывала изящные руки. Никуда он, конечно, не уйдет. Слишком давно они слились воедино, слишком долго он воспринимает как свои ее воспоминания, незажившие раны, предательства, ее ответственность, принятые ею решения, верность отторгнутой когда-то первой любви. Склонившись, Бошер осторожно коснулся губами лба Жинетт:

— Конечно. Естественно, я помогу этому прохвосту.

Она тихо рассмеялась и теплой ладонью провела по его щеке.

— Мы очень скоро вернемся в Париж.

— Мне не хотелось бы говорить с ним самому. — Бошер прижал ее ладонь к щеке. — Возьми это на себя.

— Завтра же утром. — Жинетт села в постели. — Что у тебя в свертке? Это мне?

— Угадала.

Вскочив с постели, она сделала несколько беззвучных шагов по старому ковру, осторожно развернула сверток.

— То, о чем я мечтала!

Кончиками пальцев Жинетт ласково провела по обложке.

— Сначала я собирался купить кулон, но тут же решил, что это было бы глупо.

— Как же мне повезло! — Она улыбнулась. — Пошли! Поболтаем и выпьем, пока я буду принимать ванну. А потом отправимся куда-нибудь и закатим безнравственный, дорогой до безумия ужин! На двоих — ты да я.

С тяжелой книгой в руке Жинетт скрылась в ванной комнате. Бошер сидел на кровати и, прищурившись, смотрел на пожелтевшие старые обои, пытаясь понять, что ощущает острее — боль или счастье? Через пару минут он поднялся, налил в стаканы по хорошей порции виски и вошел с ними к жене. Лежа в огромной старой ванне, Жинетт держала на весу альбом и неторопливо переворачивала страницы. Бошер поставил стаканы на край ванны, уселся в кресло, стоявшее сбоку от высокого, в полный рост зеркала, в запотевшей глубине которого смутно отражались мрамор стен и медь кранов. Медленными глотками он пил виски и смотрел на лицо жены. От поверхности воды поднимался слабый запах ароматных эссенций. Праздник вернулся. Больше чем праздник. Больше чем вернулся.

ОБИТАТЕЛИ ВЕНЕРЫ*

Он стоял на лыжах с самого утра и намеревался отправиться в деревню, чтобы перекусить, но Мак сказал: «Давай-ка еще разок, перед обедом». А поскольку день был его, Мака, то Роберт согласился, и они вновь двинулись к подвесной канатной дороге. Погода стояла довольно пасмурная, но время от времени в просветах облаков проглядывало голубое небо. Приличная видимость позволяла достойно завершить утреннюю прогулку. У подъемника собралась целая толпа, пришлось стоять в длинной очереди среди ярких свитеров и курток, меж рюкзаков с провизией для пикников и теплой одеждой. Но вот двери кабины наконец закрылись, она медленно поплыла над соснами, широким поясом окружившими подножие горы.

Пассажиры подъемника стояли так тесно, что трудно было достать из кармана платок или пачку сигарет. Роберт не без удовольствия ощущал всем телом соблазнительные формы молодой и симпатичной итальянки, с недовольным лицом объяснявшей кому-то за его плечом, почему зимой жизнь в Милане становится невыносимой.

— *Milano si trova in un bacino deprimente, bagnato dalla pioggia durante tre mesi all'anno. E, nonostante il loro gusto per l'opera, i Milanesi non solo altro volgari materialisti che solo il denaro interessa.*

* The Inhabitants. © 2001. Ю.Г. Кирьяк. Перевод с английского.

Итальянский язык Роберт знал достаточно, чтобы понять: девушка говорила о Милане, расположенном в столь глубокой долине, что на три месяца в году дожди превращают его в настоящее болото, а миланцы, по ее словам, несмотря на свою любовь к опере, люди ограниченные, насквозь материалистичные и интересуются только деньгами.

Роберт улыбнулся. Родившись за пределами США, он получил американское гражданство в сорок четвертом и сейчас в самом центре Европы с приятным чувством в душе открывал, что не только его соотечественники славятся голым материализмом и любовью к деньгам.

— Что такое сказала графиня? — прошептал Мак поверх головы рыжеволосой невысокой шведки, стоявшей между ними.

Свой лейтенантский отпуск Мак предпочел провести здесь, подальше от расквартированной в Германии части. Он пробыл в Европе почти три года и, желая дать окружающим понять, что видеть в нем обычного туриста было бы ошибкой, каждую привлекательную итальянку величал не иначе как графиней. Роберт познакомился с ним неделей раньше в баре отеля, где оба и проживали. Они принадлежали к одному типу горнолыжников — считали себя искателями приключений, каждый день встречались на склонах и планировали приехать сюда же ровно через год, если, конечно, Роберт сможет вырваться из далекой Америки.

— Графиня уверяет, будто жители Милана думают только о деньгах, — постарался как можно тише ответить Роберт, хотя стоявший в кабине разноязыкий гомон все равно не позволил бы постороннему разобрать его слова.

— Окажись я в Милане в одно время с ней, — заметил Мак, — меня бы заботили не только деньги. — Он

бросил на итальянку восхищенный взгляд. — Можешь узнать, по какой трассе она собирается спускаться?

— Это еще зачем?

— Затем, что я последую за ней, — ухмыльнулся Мак. — Тенью.

— Не валяй дурака. Сегодня у тебя последний день.

— В том-то и дело! Самое интересное всегда происходит в самый последний день!

Мак послал итальянке широкую добродушную улыбку, но та не обратила на нее никакого внимания, увлеченно жалуясь своему соседу на нравы коренных жителей Сицилии.

Выглянувшее на несколько минут солнце мгновенно раскалило кабину. Человек сорок зажатых в крошечном пространстве тепло одетых людей блаженно отдувались. Роберт прикрыл глаза и погрузился в полудрему, пропуская мимо ушей звучащую со всех сторон французскую, итальянскую, английскую и немецкую речь. Ему приятно было находиться в центре этого вавилонского смешения языков. Вот почему, помимо, конечно, и других причин, он так любил приезжать в Швейцарию, пользуясь первой же возможностью. В тяжелые, отравленные всеобщей злобой дни, которые переживал мир, Альпы давали надежду тем, кто не бросался угрозами, кто встречал незнакомых людей улыбкой и приезжал сюда лишь для того, чтобы вместе с другими насладиться сияющими ослепительной белизной горами, солнцем и снегом.

Ощущение сердечной теплоты, сопровождавшее Роберта в дни его приездов, усиливалось тем, что вокруг были только знакомые лица. Среди горнолыжников возникло нечто вроде интернационального клуба: из года в год в Давосе, Вал-д'Изере, Сан-Антонио собирались одни и те же люди, и очень скоро у человека складывалось впечатление, что все они одна семья. Где-то рядом дол-

жны находиться четверо или пятеро американцев — Роберт уверен, что видел их еще на Рождество в Стоуве. Сюда они наверняка прилетели charterным рейсом «Су-исс эр», зимой компания всегда предоставляет приличные скидки. В Европе молодые и энергичные американцы оказались впервые, они шумно восторгались всем: Альпами, едой, снегом, колоритными костюмами местных жителей, элегантными лыжницами, профессиональным мастерством инструкторов.

Их наивное восхищение пришлось по вкусу обитателям окрестных деревень. Кроме того, американцы не скупались на чаевые, и это несмотря на то что каждый подаваемый им счет включал пятнадцатипроцентную надбавку за оказанные услуги.

Двух девушек можно было назвать настоящими красавицами, а долговязый парень из Филадельфии, неформальный лидер всей группы, показал себя на склонах истинным асом: он уверенно вел за собой остальных и всегда был готов помочь оступившемуся.

Когда кабина подъемника приблизилась к крутому заснеженному отрогу, стоявший рядом с Робертом филадельфиец спросил:

— Вы здесь уже бывали, не так ли?

— Приходилось, — согласился Роберт.

— Какая трасса в это время дня будет лучше? — нараспев протянул парень тоном, который так любят пародировать англичане, когда хотят подшутить над выходцами из высших слоев американского общества.

— Сегодня хороши все.

— Но тут расхваливают только одну. Кайзер... Кайзер как-то там.

— Кайзергартен. Это первый спуск направо от подъемника на вершине.

— Действительно круто?

— Не для новичков.

— Но вы видели, как они стоят на лыжах? — Парень кивнул в сторону своих товарищей. — По силам им будет?

— Видите ли, — с сомнением проговорил Роберт, — это узкая и отвесно падающая ложбина, а на полпути вниз появляются рытвины. Есть несколько мест, где категорически не рекомендуется падать, поскольку подняться там будет невозможно. Так что если...

— А!.. Мы все же попробуем. Пусть вырабатывают характер! Эй, друзья! Слабонервным предлагаю остаться на вершине и подкрепиться сэндвичами. Герои пойдут за мной. Проверим, что такое Кайзергартен...

— Фрэнсис, — позвала парня одна из девушек, — кажется, ты хочешь исполнить свою угрозу. Помнишь, ты обещал расправиться со мной?

— На самом деле все не так и страшно, — ободряюще улыбнулся ей Роберт.

— Послушайте! — с интересом посмотрела на него девушка. — Кажется, где-то я вас уже видела.

— Вчера в этом же подъемнике.

— Нет. — Она покачала головой. На ней была черная шапочка из овечьей шерсти. Девушка походила на старшеклассницу, которой в школьном спектакле досталась роль Анны Карениной. — Не вчера, раньше. И в другом месте.

— Мы виделись в Стоуве, — признался Роберт. — На Рождество.

— Да! Верно, я же видела, как вы спускались. Господи, на лыжах вы просто шелковый!

Услышав такую оценку, Мак зашелся в смехе.

— Не обращайтесь на моего друга внимания. — Восхищение девушки Роберту понравилось. — Он грубый солдат, который рассчитывает покорить горы силой.

— Послушайте, — повторила, по-видимому, свое любимое словечко девушка, несколько озадаченная. — Как интересно вы говорите! Вы американец?

— Мм... да. Теперь — да. Родился я во Франции.
— Тогда все ясно. Среди скал.
— В Париже.
— И сейчас живете там?
— Сейчас я живу в Нью-Йорке.
— А вы женаты? — с тревогой спросила она.
— Барбара! — возмутился филаделфиец. — Веди себя прилично!

— Я по-дружески задала самый обычный вопрос. Вы ведь не обиделись?

— Нисколько.
— Так вы женаты?
— Да.

— У него трое детей, — с готовностью добавил Мак. — Старший собирается выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

— Какая досада! Почему мне так не везет? Я дала себе слово познакомиться в этой поездке с неженатым французом.

— Уверен, у вас еще все получится, — улыбнулся Роберт.

— А где сейчас ваша жена?

— В Нью-Йорке.

— Ждет ребенка, — вновь вылез вперед Мак.

— И она разрешает вам бросать ее одну и в одиночестве шляться по горам? — с недоверием спросила девушка.

— Да. На самом деле в Европе я по делам, просто удалось выкроить несколько свободных дней.

— По каким делам?

— Я торгую драгоценными камнями. Продаю и покупаю алмазы.

— Всю жизнь мечтала встретиться с таким человеком. Это же надо — бриллианты! Только пусть он будет неженатым.

— Барбара! — одернул ее приятель.
— В основном я занимаюсь промышленными алмазами. Это не совсем бриллианты.
— Все равно.
— Барбара, попробуй притвориться воспитанной леди, — посоветовал филладельфиец.
— Если я не могу откровенно поговорить с земляком, то с кем же мне быть откровенной? — Она повернулась к затянутому плексигласом окну кабины. — Господи! Это же не гора, а чудовище! Меня просто трясет от ужаса. А вы, — Барбара внимательно всмотрелась в Роберта, — и в самом деле похожи на француза. Такой воспитанный! Вы уверены в том, что у вас есть жена?

— Барбара, — холодно уронил филладельфиец.

Роберт рассмеялся, а за ним засмеялись и американцы, и Мак, и даже девушка улыбнулась, довольная реакцией, которую вызвали ее слова. Заулыбались и другие пассажиры кабины, не понимавшие по-английски, — просто им было приятно стать свидетелями чужой радости.

Сквозь взрывы смеха Роберт слышал, как какой-то мужчина с отвращением произнес:

— *Schaut euch diese dummen amerikanischen Gesichter an! Und diese Leute bilden sich ein, sie wären berufen, die Welt zu regieren.*

Переехавшие из Эльзаса дед и бабка учили Роберта в детстве немецкому, и смысл сказанного был вполне ему понятен, однако он нашел в себе силы не обернуться. Несдержанность молодости осталась где-то в прошлом, и уж если никто в кабине, кроме него, в слова немца не вслушался, то и он не собирался привлекать к ним внимание. В конце концов, ведь он приехал сюда отдохнуть, а не для того, чтобы затевать ссоры. Не дай Бог, Мак или кто-нибудь из ребят захочет полезть в драку. Роберт давно усвоил старую как мир мудрость: иногда куда разумнее притво-

риться глухим. Если какой-то приехавший из Германии подонок и считал своим долгом сказать: «Посмотри на эти тупые американские рожи! Подумать только, ведь они уверены, что правят миром», — то присутствовавшим было на это наплевать. Человек взрослый пропустит подобное хамство мимо ушей. Оборачиваться не следовало. Роберт знал: стоит ему увидеть лицо говорившего — и нежелательное продолжение неизбежно. А так анонимный, полный ненависти голос можно было просто проигнорировать, как и другие гадости, которые этот немец, без сомнения, успел наговорить за свою жизнь.

Но сдержаться оказалось делом трудным, и Роберт прикрыл глаза, неприятно пораженный тем, какое раздражение вызвала в нем случайно услышанная мерзкая фраза. Вплоть до этого момента пребывание здесь было настоящим праздником, и только дурак позволил бы голосу из толпы испортить великолепное настроение. Когда приезжаешь в Швейцарию кататься на лыжах, сказал себе Роберт, будь готов к тому, что где-нибудь неизбежно столкнешься с немцем. Каждый год их появляется здесь все больше и больше — массивных, представительного вида мужчин и мрачных, утрюмых женщин. В их глазах плавают подозрение: так смотрят на мир люди, которые постоянно опасаются стать жертвой обмана. Они без всякой необходимости толкаются в очередях к подъемникам — с каким-то бесстрастным, безликим эгоизмом, в основе которого лежит нескрываемое чувство расового превосходства. Они уныло катаются на лыжах — большими группами, напоминающими дисциплинированные армейские подразделения. По вечерам, когда они сидят в баре, их веселье становится еще более невыносимым, чем юнкерское высокомерие и чванливость — неразлучные спутники дня. Взводами краснолицых бургеров они усаживаются за столы и поглощают галлоны пива, сотрясая помещение раскатами гулкого

грубого хохота, распевая скабрзные студенческие куплеты. Слава Богу, пока еще Роберту не приходилось слышать «Хорста Весселя», но некоторое время назад он заметил, что приезжие уже не выдают себя за швейцарцев, австрийцев или уроженцев Эльзаса. В катание на лыжах, этот грациозный спорт одиночек, немцы привнесли дух стада, дух толпы. Застряв пару раз в очереди у подъемника, Роберт как-то сказал об этом Маку, на что тот, будучи человеком далеко не глупым, ответил:

— Заметь, на нервы они начинают тебе действовать, только когда собьются в группу. За три года жизни в Германии я очень часто встречал отличных парней, да и девушки попадались изумительные.

Роберт был вынужден согласиться. В глубине души ему очень хотелось верить, что Мак прав. И до войны, и во время ее проблема отношения к немцам настолько занимала его мысли, что победу над Германией Роберт воспринял как обретение личной свободы. Похожее чувство он испытал, когда окончил школу, где долгие годы были потрачены на поиски решения одной-единственной мучительно тоскливой задачи. Он убедил себя, что поражение отрезвило немцев. Теперь, когда его жизни уже не грозила смертельная опасность, о них можно было и не думать.

По окончании войны Роберт активно поддержал идею скорейшего восстановления нормальных взаимоотношений с Германией как в политике, так и на уровне сознания обычного обывателя. Он пил немецкое пиво и даже купил «фольксваген», хотя, помня о дремлющей в немецкой душе тяге к вселенским потрясениям, никогда не одобрил бы передачу наследникам вермахта сверхоружия — атомной или водородной бомбы. Деловых контактов с Германией у Роберта почти не было, и только здесь, в маленькой деревушке неподалеку от Граубундена, где присутствие немцев

ощущалось все острее, мысли о них вновь лишали покоя. Но отказаться от ежегодных приездов сюда лишь потому, что на дорогах слишком часто встречаются машины с мюнхенскими или дюссельдорфскими номерами, Роберт не мог. Он подумывал перенести отпуск с конца февраля на, скажем, январь, потому что в последние недели февраля и начале марта, когда солнце припекало и сумерки опускались только около семи, немцы наезжали сюда толпами. Со стороны они казались настоящими солнцепоклонниками: тут и там виднелись раздетые по пояс дородные бюргеры, жадно поглощающие драгоценный ультрафиолет. Возникало впечатление, что существа эти прибыли из царства туманов, например, с Венеры и, чтобы найти в себе силы пережить еще один год в ненастном и мрачном отечестве, им необходимо впитать в себя как можно больше света и красок.

Возникшая в воображении картина развеселила Роберта, вернула ему благодушное настроение. «Будь я холостяком, — подумал он, — нашел бы себе скромную баварскую девушку, влюбился бы, и со всеми дурацкими мыслями уже давно было бы покончено».

— Предупреждаю, Фрэнсис, — послышался голос Барбары, — если ты загонишь меня здесь в могилу, то в Йеле найдутся люди, которые разыщут тебя и под землей.

— *Warum haben die Amerikaner nicht genügend Verstand*, — негромко, но очень внятно произнес за спиной Роберта немец без всяких признаков швейцарского выговора, — *ihre dummen kleinen Nutten zu Hause zu lassen, wo sie hingehören?*

Роберт с сожалением осознал, что не сможет не оглянуться, но сначала покосился на Мака: слышал ли он? Немецкий Мак немного знал, и если он разобрал фразу «Почему бы этим американцам не оставить своих потаскушек дома?», то произнесший ее мужчина был сейчас в

серьезной опасности. Однако Мак продолжал улыбаться итальянской «графине». Слава Богу. Швейцарская полиция очень косо смотрела на драки вне зависимости от мотивов, их вызвавших, и Маку наверняка пришлось бы просидеть какое-то время за решеткой. Для американского офицера, проходящего службу во Франкфурте, такая потасовка имела бы весьма серьезные последствия. «Мне-то, — подумал Роберт, — грозит всего лишь нудная лекция в магистрате о злоупотреблении швейцарским гостеприимством».

Оборачиваясь, чтобы рассмотреть говорившего, он уже принял решение подойти к наглецу на вершине, сказать ему, что понял каждое слово, и отвесить пощечину. Господи, только бы ублюдок не оказался каким-нибудь гигантом!

Первые несколько секунд Роберт не мог понять, кому принадлежал голос. Спиной к нему стоял высокий мужчина, Роберт видел лишь голову и широкие плечи под черной паркой. Внушительного телосложения женщина с квадратным, рубленным лицом что-то шептала ему, но очень тихо. Выслушав ее, мужчина отчетливо и громко ответил по-немецки:

— Меня не волнует, что кто-то может понять. Пусть понимают.

Роберт ощутил возбуждение. Жаль, что до вершины не меньше пяти минут. Теперь, когда драка стала неизбежной, он сторал от нетерпения. Не сводя глаз с затянутых в черный нейлон плеч, Роберт ждал, чтобы противник обернулся, показал свое лицо. «Интересно, — подумал Роберт, — если пощечину заменить полновесным ударом, он свалится? Принесет извинения? Захочет воспользоваться лыжными палками? На всякий случай свои тоже должны быть рядом. Да и на Мака вполне можно рассчитывать — до вмешательства полиции».

Роберт стащил толстые кожаные рукавицы, сунул их за пояс. Удар голыми костяшками куда эффективнее. Есть ли у немца на пальце обручальное кольцо?

В этот момент плотная женщина заметила взгляд Роберта и вновь прошептала что-то своему спутнику. Тот непринужденно, как бы самым естественным образом повернулся и посмотрел на Роберта в упор. Когда человек давно стоит на лыжах, он рано или поздно обязательно встречает тех, кого когда-то уже видел. Роберт понял, что кулачной потасовкой разговор на вершине не обойдется. Человека, чьи холодные голубые глаза с вызовом смотрели из-под редких белесых ресниц, придется убить.

Случилось это много лет назад, зимой тридцать восьмого года, во французской части Швейцарии. Роберту было тогда четырнадцать, в десятиградусный мороз он лежал в снегу с неестественно вывернутой ногой; за соседнюю вершину медленно клонилось солнце. Боли еще не чувствовалось, но он ощущал на себе чей-то взгляд.

Вышло, конечно, все очень глупо. В тот момент Роберта больше беспокоила не сломанная нога, а то, что скажут родители. После обеда, когда на склонах уже почти никого не осталось, его вдруг потянуло в горы, на самый верх. Сойдя с лыжни, Роберт пошел лесом, ему хотелось найти хотя бы небольшую площадку легкого, не утрамбованного другими снега. Бог знает как правая лыжа попала в сплетение корней, но его неудержимо потянуло в сторону, и, уже падая, он услышал, как в ноге что-то отвратительно хрустнуло.

Стараясь не паниковать, Роберт кое-как сел на снегу лицом к трассе, флажки которой виднелись за стволами сосен метрах в двухстах. Если повезет, кто-нибудь из лыжников может услышать его крики. Ползти к трассе

он не пытался, поскольку от малейшего движения в животе возникало странное ощущение, наполнявшее рот горькой слюной.

От деревьев по снегу протянулись длинные тени, на фоне замерзшего зеленоватого неба были видны лишь отдельные, самые высокие, розовые в заходящем солнце вершины. Давал знать о себе холод, время от времени Роберта сотрясала дрожь.

«Вот здесь-то я и умру к вечеру, — подумал он. — Родители и сестра наверняка сидят в уютной кухоньке небольшого шале милях в двух вниз по склону и пьют горячий чай. Беспокоиться они начнут в лучшем случае через час-другой, а когда решат, что со мной что-то случилось, то не будут знать, где искать». Семь или восемь человек, находившихся вместе с ним в кабинке подъемника, Роберт видел первый раз в жизни и ни словом не обмолвился с ними о том, каким маршрутом собирается спускаться. В окрестностях было три вершины, у каждой свой подъемник, свое хитросплетение трасс, так что найти в быстро густеющих сумерках человека здесь почти невозможно. Он поднял голову: с востока надвигались тяжелые низкие облака. Если ночью они разразятся снегом, то его не найдут, пожалуй, до самой весны. Матери Роберт дал слово, что никогда не пойдет в горы в одиночку, и теперь его ждала расплата за невыполненное обещание.

Внезапно с трассы до него донесся резкий, с металлическим призвуком скрип обледеневшего снега. Еще не видя лыжника, во всю мощь легких Роберт прокричал:

— Помогите! На помощь!

Мелькнувшая в воздухе темная фигура скрылась за деревьями, чтобы мгновение спустя появиться десятком метров ниже, почти на одном уровне с сидевшим в снегу Робертом. Он уже не выкрикивал слова, а тянул на од-

ной ноте душераздирающий вопль, обращенный ко всему человечеству, представитель которого, мастерски вписываясь в виражи трассы, летел мимо.

И темная фигура — о чудо! — остановилась. Роберт продолжал кричать, лес услужливо отвечал ему эхом. Несколько мгновений лыжник не двигался, и Роберту показалось, что начались галлюцинации, зрительные вместе со слуховыми. Конечно же, на снегу никого нет, а рвущийся из груди крик выходит не громче последнего вдоха. Внезапно белая пелена упала перед его глазами, Роберт почувствовал, как проваливается во что-то мягкое, теплое. Подняв из последних сил руку, он потерял сознание.

Придя в себя, он увидел стоявшего рядом на коленях человека — тот снегом растирал ему щеки.

— Значит, вы услышали меня, — выговорил по-французски Роберт. — Я боялся, что никто не услышит.

— *Ich verstehe nicht*, — сказал человек. — *Nicht parler Französisch.**

— Я боялся, что вы меня не услышите, — повторил на немецком Роберт.

— Глупый мальчишка, — сурово ответил его спаситель. — Тебе здорово повезло. Кроме меня, на горе никого не осталось. Просто великолепно! — проговорил он с иронией, осторожно коснувшись правого колена Роберта. — Месяца три ты пролежишь в гипсе. Так, спокойнее, не дергайся, нужно снять твои лыжи.

Расстегнув крепления, мужчина аккуратно воткнул лыжи в снег, а затем сунул обе руки Роберту под мышки и приподнял.

— Расслабься. Твоя помощь мне сейчас ни к чему. Весишь ты, хвала Создателю, как цыпленок. Сколько тебе лет? Одиннадцать?

— Четырнадцать.

* Я не понимаю. Не говорю по-французски (нем.).

— Что? — Мужчина расхохотался. — Детей в Швейцарии уже не кормят?

— Я — француз.

— О... — Голос его стал ровным и скучным. — Француз. — Дойдя до торчавшего из сугроба пня, мужчина усадил на него Роберта. — Теперь, во всяком случае, тебя не занесет снегом. Замерзнуть ты какое-то время тоже не замерзнешь. Слушай меня внимательно. Я захвачу твои лыжи вниз и объясню инструкторам, где ты находишься. Меньше чем через час за тобой приедут. Где и с кем ты живешь здесь?

— С отцом и мамой в шале «Монтана».

— Отлично. Шале «Монтана». Они тоже говорят по-немецки?

— Да.

— Превосходно. Я позвоню им и скажу, что их дуралей сломал ногу, а горный патруль уже везет его в местную больницу. Как тебя зовут?

— Роберт.

— Просто Роберт?

— Роберт Розенталь. Прошу вас, не говорите им, что мне совсем плохо. Они и так уже, наверное, места себе не находят.

Мужчина связал бечевкой лыжи Роберта, бросил их на плечо.

— Не переживай, Роберт Розенталь. Я не стану волновать их больше, чем необходимо.

С этими словами мужчина скользнул вниз по склону, легко лавируя между деревьями, одной рукой сжимая палки, другой придерживая покоящиеся на плече лыжи.

Его стремительное исчезновение озадачило Роберта, и только когда темная фигура уже едва виднелась среди деревьев, он вдруг спохватился, что так и не поблагодарил того, кто спас ему жизнь.

— Спасибо! — прокричал он в быстро густевшую тьму. — Огромное вам спасибо!

Мужчина не остановился, и Роберт так и не узнал, услышал ли тот его. Через час стало совсем темно, но обещанный патруль так и не появился. У Роберта были часы со светящимся циферблатом, и через полтора часа ожидания, в десять минут восьмого, он понял: никто не придет. Оставалось рассчитывать только на собственные силы: если он хотел выжить, необходимо было каким-то образом доползти до городка.

Роберт уже ооченел от холода, начинал сказываться болевой шок. Зубы выбивали частую дробь, как если бы являлись частью некоего вышедшего из-под контроля механизма. Потеряли чувствительность пальцы, от правой ноги поднимались вверх волны раздражающей боли. Накинув на голову капюшон парки, Роберт очень скоро ощутил щекой схватившуюся на морозе от его дыхания ткань. Он слышал какой-то странный звук, и прошло несколько минут, прежде чем стало ясно: это скулит он сам, скулит и ничего не может с собой поделаться.

С неимоверным трудом Роберт сполз с пня и двинулся вниз по склону. В какой-то момент рука, на которую он опирался, провалилась в яму. Вскрикнув от острой боли, Роберт ткнулся лицом в снег. Ему хотелось застыть, не двигаться, отказаться от всяких попыток добраться к людям. Позже, уже в зрелом возрасте, он пришел к выводу, что силу продолжить путь ему давала мысль о родителях, где-то далеко внизу сходявших с ума от беспокойства.

Подтягиваясь руками, хватаясь за нижние ветки деревьев, корни и редкие камни, Роберт полз все дальше. Часы где-то свалились, и когда он достиг обозначивших трассу флажков, то понятия не имел, сколько времени ушло на то, чтобы преодолеть сто — сто пятьдесят метров: пять минут или пять часов. Внизу, в невообразимой

дали, горели огни городка. Борьба со снегом согрела Роберта, лицо его покрыли крупные капли пота, кровь тысячью иголочек жгла онемевшие пальцы.

Двигаться по укатанному снегу было намного легче, временами удавалось без остановки проползти десять — пятнадцать метров, кусая от боли губы всякий раз, когда ступня поврежденной ноги ударялась о льдышку. В одном месте Роберт не удержался и соскользнул в крошечный ручеек. Когда минут через пять он вновь выбрался на трассу, перчатки и куртка на животе были насквозь пропитаны ледяной водой. Огни городка не приближались.

В конце концов Роберт понял, что сил двигаться дальше у него уже нет. Дважды его вырвало, причем в обоих местах снег обильно окрасился кровью. Он попробовал сесть: если ночью пойдет снег, то, может быть, утром кто-нибудь заметит хотя бы торчащую из сугроба голову. Пытаясь выпрямиться, Роберт заметил мелькнувшую на фоне далеких огней тень. Тень приближалась, и из последних сил он заставил себя издать какой-то звук. Увидевший его человек позже сказал, что слышал всего два слова:

— Извините меня...

На огромных санях крестьянин перевозил сено. Осторожно притормаживая и срезая, где возможно, путь, он привез Роберта вниз, в больницу.

К тому времени когда туда добрались поставленные врачами в известность отец и мать, хирург уже сделал Роберту укол морфия и занялся ногой: необходимо было аккуратно совместить концы сломанной кости. Более или менее связный рассказ о происшедшем родители услышали только утром.

— И я увидел мчавшегося по склону мужчину. — Роберт старался говорить спокойно, не подавая виду, каких усилий стоило ему каждое слово. — Он услышал мои кри-

ки, подъехал, снял с меня лыжи и посадил на пень. Потом расспросил, как меня зовут, где и с кем я живу, пообещал спуститься вниз, послать ко мне на помощь инструктора и позвонить вам. Прошло полтора часа, стало совсем темно, и я решил больше не ждать, пополз вниз. С крестьянином и его санями мне, конечно, повезло...

— Очень повезло, — коротко заметила мать, маленькая полная женщина с расстроенными нервами.

Более или менее сносно она чувствовала себя только в городах, терпеть не могла гор, холода и идиотской, связанной с бессмысленным риском забавы носиться на тонких ненадежных дощечках вниз по склонам. Приехала она сюда лишь потому, что Роберт с сестрой, как и их отец, были без ума от лыж. От переживаний и усталости лицо ее стало белым. Разреши врачи Роберту двигаться, мать первым же утренним поездом отправилась бы с сыном в благословенный Париж.

— Скажи, Роберт, — спросил отец, — а не могло ли тебе померещиться от боли, будто видишь перед собой мужчину? Ваш разговор ты не выдумал?

— Мне ничего не мерещилось, папа. — Голова после укола морфия была тяжелой, но слова отца приводили в недоумение. — Почему ты решил, что я выдумываю?

— Потому что додесяти вечера нам никто не звонил, и только в одиннадцатом часу врач из больницы сообщил, что ты уже здесь. Инструкторы тоже ни о чем не знали.

— И все-таки он мне не померещился. — Роберта обижало, что отец не верит ему. — Войди этот мужчина сюда, я узнал бы его сразу. Высокий, в черной куртке, с голубыми глазами и короткими, почти бесцветными ресницами. Сначала мне показалось, что ресниц у него нет вообще...

— Сколько же, по-твоему, ему было лет? Как мне? — Отцу Роберта не исполнилось еще пятидесяти.

— Нет, не похоже.

— Может, как дяде Жюлю?

— Это, пожалуй, ближе.

Роберту хотелось, чтобы отец и мать оставили его в покое. Самое страшное позади, нога в гипсе, а через три месяца, по словам врача, он опять начнет бегать. Случившееся необходимо просто выбросить из головы.

— Значит, — заключила мать, — это был голубоглазый мужчина лет двадцати пяти.

Сняв трубку телефонного аппарата, она попросила телефонистку соединить ее со школой горнолыжного спорта.

Отец вытащил сигарету, подошел к окну, закурил. На улице шел снег. Он повалил сразу после полуночи; подъемники не работали, так как сильный ветер высоко в горах увеличивал опасность схода лавин.

— А с человеком, который меня подобрал, вы уже говорили?

— Да. Он назвал тебя отчаянным храбрецом, а еще заметил, что больше пятидесяти метров ты бы дальше не прополз. Я дал ему двести франков. Швейцарских.

— Тс-с! — призвала их к тишине мать. — Вас снова беспокоит миссис Розенталь, — проговорила она в трубку. — Да, благодарю. Врачи сказали, особенно беспокоиться не о чем. Мы только что говорили с сыном, и одна маленькая деталь в его рассказе показалась нам немного странной. По словам мальчика, рядом с ним остановился какой-то мужчина, снял с него лыжи и пообещал прислать от вас помощь. Скажите, ставил ли вас кто-нибудь в известность о несчастном случае? Вчера, где-то около шести. — Лицо матери напряглось. — Понятно. Нет, его имени мы не знаем. Сын сказал, ему около двадцати пяти лет, голубые глаза и редкие светлые ресницы. Одну минуту, я уточню. Роберт, какие у тебя были лыжи? Они хотят посмотреть на своих стеллажах.

— «Аттенхоффер», сто семьдесят сантиметров. На концах красной краской мои инициалы.

— «Аттенхоффер», — повторила в трубку мать. — На концах две красные буквы «Р». Спасибо, я подожду.

Затушив сигарету в пепельнице, к больничной койке Роберта подошел отец. Даже ровный загар не мог скрыть следов усталости на его лице.

— Роберт, — с печальной улыбкой сказал он, — пора тебе научиться быть более осторожным. По мужской линии ты у меня единственный наследник, второй, боюсь, уже не появится.

— Хорошо, папа, я буду очень осторожным.

Мать протестующе замахала на них рукой и плотно прижала трубку к уху.

— Спасибо. Не считите за труд, позвоните мне, если что-нибудь узнаете. — Она положила трубку. — Твоих лыж у них нет.

— Невероятно, — негромко произнес отец. — Чтобы взрослый мужчина бросил в снегу ребенка, похитив его дыжи!

— Попался бы он мне в руки, — с ненавистью бросила мать. — Всего на десять минут! Роберт, мальчик, постарайся вспомнить: он выглядел... он казался нормальным?

— В полном порядке, насколько я мог судить. Обыкновенным.

— Может, ты еще что-нибудь заметил? Напряги память, Роберт. Что-нибудь, что поможет разыскать его. Не ради нас, ты же понимаешь. Если в городке есть человек, который мог так поступить, необходимо, чтобы люди узнали о нем, пока с другими не произошло чего похуже...

— Мам! — В глазах Роберта появились слезы. — Я рассказал вам все, что было. Я не врал.

— Как звучал его голос, Роберт? Высоко? Низко? Говорил ли он, как парижанин, как кто-нибудь из твоих учителей или...

— Ох... — коротко выдохнул он.

— Да? Что ты хотел сказать?

— Я разговаривал с ним на немецком. — Видимо, укол морфия заглушил не только боль, если Роберт вспомнил об этом лишь сейчас.

— Что значит на немецком?

— Я обратился к нему по-французски, но он не понял. Мы говорили на немецком.

Родители переглянулись, и мать участливо спросила:

— Он был настоящим немцем? Не швейцарским? Ведь ты понял бы разницу, правда?

— Конечно.

Когда приходили гости, отец любил пародировать французский выговор наезжавших из Берна друзей, мгновенно переходя на их же немецкий. Роберт никогда не жаловался на слух, а привитая дедом с бабкой любовь к литературе позволяла ему в школе целыми страницами декламировать Гете, Шиллера и Гейне.

— Да, мама, это был самый настоящий немец.

В больничной палате воцарилась тишина. Отец вновь подошел к окну, за которым плясал хоровод снежинок.

— Я так и знал, — спокойно сказал он, — что дело вовсе не в лыжах.

Победа осталась за отцом. Мать настаивала на том, чтобы обратиться в полицию, хотя в городок съехались не менее десятка тысяч любителей покататься с гор, и одному Богу известно, сколько среди них насчитывалось голубоглазых немцев. К тому же пять раз в день на вокзал приходил, а затем отправлялся набитый туристами поезд. Уверенный в том, что незнакомец уехал в тот же

вечер, отец тем не менее ходил из бара в бар, пытаясь увидеть человека, соответствующего описанию Роберта. Обращение в полицию принесло бы, по его словам, только вред: стань случай с сыном достоянием общественности, как тут же раздался бы вой обывателей, возмущенных новым всплеском параноидальной склонности евреев к мании преследования.

— В Швейцарии полно нацистов всех национальностей, — раз за разом повторял мистер Розенталь в ходе длившегося неделю спора с супругой. — Зачем давать им еще один козырь? Чтобы они на каждом углу кричали «не ждите от евреев покоя»?

Мать, которой оставшиеся в Германии родственники время от времени слали тревожные письма, имела характер более твердый и любой ценой стремилась восстановить справедливость. Но, будучи женщиной умной, она довольно быстро поняла тщетность своих усилий. Четыре недели спустя, когда врачи разрешили Роберту двигаться, в машине «скорой помощи», которая должна была доставить их через Женеву в Париж, она, держа сына за руку, безжизненным голосом сказала:

— Скоро нам придется покинуть Европу. Не могут жить там, где подобные вещи сходят мерзавцам безнаказанно.

Позже, уже во время войны, после того как умер отец и они переехали в Америку, рассказ о голубоглазом немце услышал один из друзей Роберта, также неоднократно бывавший в Альпах. Дослушав его до конца, друг заявил, что почти наверняка знает, о ком шла речь. Вероятнее всего, предположил он, судьба свела Роберта с инструктором горнолыжного спорта из Гармиша, а может, Оберсдорфа или Фройденштадта, который возил пару состоятельных клиентов из Австрии с одной лыжной базы на другую. Имени инструктора приятель не знал,

а когда в самом конце войны Роберту довелось побывать вместе с армией в Гармише, на лыжах там, конечно же, никто не катался.

И вот теперь этот человек стоял всего в трех футах от Роберта, чуть левее стройной итальянки, с холодным любопытством глядя прямо перед собой из-под белых, как у альбиноса, ресниц. Не узнавая. Ему было уже около пятидесяти, на холемом, несколько обрюзгшем лице с тонкими губами — выражение уверенности и силы.

Роберт ненавидел его. Ненавидел за предпринятую в далеком тридцать восьмом попытку убийства четырнадцатилетнего мальчишки, ненавидел за то, в чем принимал голубоглазый участие в годы войны, ненавидел за смерть отца, за слова, сказанные по адресу симпатичной молодой американки, за несокрушимое спокойствие взгляда и налитую здоровьем шею. Этот негодяй невозмутимо смотрел сейчас в глаза того, кого хотел убить, смотрел и не узнавал! В наполненный мягким серебристым блеском снега праздник он привнес дыхание смерти, разбудил так и не утоленную жажду мести.

Роберта душила ненависть к человеку, который внезапно разрушил и тот маленький и тщательно оберегаемый мир, что он построил для себя, жены и детей, спокойный и уютный мир готового забыть прошлые беды американца.

Немец украл у него право жить привычной размеренной жизнью. Существование с женой и тремя детьми в чистом, аккуратно прибранном доме уже казалось Роберту неестественным. Он больше не сможет спокойно видеть свое имя на странице телефонной книги, приподнимать шляпу, приветствуя соседа, платить по счетам и соблюдать законы. Голубоглазый отбросил его в далекое прошлое, когда нормой считались кровь, смерть, спасение бегством и руины. Какое-то время Роберт об-

манывал себя, притворяясь, что теперь многое изменилось, но брошенные в кабине подъемника слова немца расставили все по своим местам. Встреча с этим человеком была чистой случайностью, однако эта случайность обнажила то закономерное и неизбежное, что таилось в жизни — его и других.

Мак обратился к нему с вопросом, молодая американка в черной вязаной шапочке тихонько напевала что-то очень знакомое, но Роберт не слышал ни вопроса, ни слов песни. Он уже не смотрел на немца, взгляд его был устремлен на крутой склон, едва различимый сквозь опустившееся облако. Мозг занимала одна мысль: как отделаться от Мака, избежать общества молодых американцев, как подловить немца одного и убить?

Дуэль в его планы не входила. Роберт не собирался дать врагу шанса побороться за свою жизнь. Он ощущал себя орудием возмездия — не чести. На память пришли истории о жертвах концентрационных лагерей, которые после войны вдруг узнавали в прохожих своих мучителей. Многие обращались к властям, а потом с чувством исполненного долга присутствовали при исполнении приговора. Но куда он, Роберт, мог сейчас обратиться — в швейцарскую полицию? И в каком преступлении обвинил бы немца?

Не проще ли сделать так, как на третий или четвертый год по окончании войны поступил в Будапеште один из бывших заключенных, встретив на мосту через Дунай своего лагерного надзирателя? Он просто столкнул его в воду и с удовлетворением проследил за тем, как тот тонет. Объяснив в полиции, кто он такой и кем была его жертва, человек спокойно вышел на улицу, а на следующий день газеты превратили его в героя. Но Швейцария не Венгрия, до Дуная далеко, и война давным-давно закончилась.

Нет, он последует за немцем, где-нибудь в уединенном месте остановит его и убьет, причем так, что причиной смерти сочтут несчастный случай. Он выберется из страны

еще до того, как власти начнут задавать вопросы. В небольшой ложине тело можно прикрыть снегом, оно пролежит там до поздней весны, когда его обнаружат пастухи, перегоняющие скот на летние пастбища. Сделать необходимо все очень быстро, нельзя, чтобы немец понял, что стал объектом пристального внимания, и узнал во взрослом американце тощего четырнадцатилетнего мальчишку, которого он бросил умирать зимой тридцать восьмого.

Роберту никогда еще не приходилось убивать. В годы войны он был офицером связи между высадившимися во Франции американцами и местным движением Сопротивления. В него довольно часто стреляли, это правда, однако сам он после прибытия в Европу не сделал ни единого выстрела. Когда же война закончилась, в душе Роберт был благодарен судьбе за то, что не обагрил руки чужой кровью. Но теперь он понимал: судьба не обошла его стороной, война продолжается.

— Слушай, Роберт! — Его сознание с трудом зафиксировало возглас Мака. — Что с тобой происходит? Я говорю уже целую минуту, а ты не реагируешь. Заболел? Вид у тебя неважный, приятель.

— Все в порядке, Мак. Так, голова что-то дает о себе знать. Мелочи. Нужно будет что-нибудь съесть, выпить горячего. Спускайся без меня.

— Ну уж нет. Подожду.

— Не валяй дурака. — Голос Роберта звучал по-дружески мягко. — Ты же потеряешь «графиню». Признаться, сегодня у меня вообще нет настроения кататься. Видимо, из-за погоды. — Он кивнул на низкие серые облака. — Ни черта не видно. Я, пожалуй, вернусь.

— Эй, ты явно не в себе, — встревожился Мак. — Хочешь, провожу к врачу?

— Оставь меня в покое, Мак. — Если он и обидится, с этим можно будет разобраться позднее. — Когда накачивается мигрень, мне лучше всего побыть одному.

- Ты уверен?
- Абсолютно.
- Хорошо. Встретимся в гостинице?
- Конечно.

«После убийства, — подумал Роберт, — я с удовольствием выпью хорошего чаю». Он очень рассчитывал на то, что прекрасная итальянка, выйдя из кабины, тут же встанет на лыжи и увлечет за собой Мака — еще до того, как сам Роберт тронется по следу голубоглазого.

Миновав последнюю опорную мачту, подъемник приближался к вершине. Пассажиры оживились, начали поправлять спортивные костюмы, проверять крепления лыж. Украдкой Роберт бросил взгляд в сторону немца. Женщина с прямоугольным лицом повязывала на шею своему спутнику тонкий шелковый шарф. В этот момент она чем-то напомнила Роберту кухарку. Оба не обращали на него никакого внимания. С женщиной наверняка возникнут проблемы, подумал он.

Кабина остановилась. Стоявший вплотную к дверям Роберт вышел одним из первых. Не оглядываясь, он покинул здание станции подвешной дороги и оказался на покрытой серой пеленой вершине. Один из склонов уходил вниз крутым, почти вертикальным обрывом с торчащими кое-где острыми обломками скал. Роберт приблизился к самому краю. Если немец волею случая подойдет полюбоваться открывающимся видом или оценить состояние Кайзергартена (трасса начиналась чуть в стороне и выходила на склон обрыва значительно ниже, где он становился более пологим), то одно быстрое движение пошлет его на каменные лезвия скал, а это чуть ли не сто метров свободного полета. Мгновение — и все будет кончено. Роберт повернулся к станции, пытаясь рассмотреть в толпе фигуру голубоглазого.

Вот и Мак с итальянкой: оживленно болтают, он несет ее лыжи, «графиня» ослепительно улыбается. Мах-

нув Роберту рукой, Мак опустился на колени, чтобы помочь девушке застегнуть крепления. Хвала Господу, с ним все уладилось. Молодые американцы решили, похоже, закусить перед спуском — шумной гурьбой они направились к дверям рестораника.

Голубоглазый и его подруга из здания станции не вышли. Ничего удивительного: многие предпочитали смазать лыжи в тепле, кому-то нужно было зайти в туалет. Все складывалось отлично: чем дольше немец пробудет на вершине, тем меньше людей заметят, что Роберт отправился за ним.

Он продолжал стоять на краю обрыва. В окружавшем его сыром, клубящемся облаке Роберт не ощущал холода, чувствовал себя уверенно, был полон энергии и удивительно беззаботен. Впервые в жизни он испытывал острое, почти чувственное наслаждение прирожденного разрушителя. Бодро помахал рукой в ответ Маку, устремившемуся за итальянкой в сторону расположенной на противоположном склоне горы простенькой трассы.

Наконец из дверей станции появилась женщина, она уже стояла на лыжах. Роберт понял, почему оба задержались: решили надеть лыжи внутри. Когда погода портилась, некоторые поступали так, не желая на пронизывающем ветру обжигать нежные подушечки пальцев стылým металлом креплений. Через мгновение на пороге возникла фигура голубоглазого. Она оказалась несколько не такой, какой ожидал ее увидеть Роберт. Немец резво прыгал на одной ноге, вторая у него была ампутирована выше колена. Чтобы сохранять при спуске равновесие, обычные кольца на его палках какой-то умелец заменил крошечными полосьями.

Роберту не раз приходилось встречать одноногих лыжников, ветеранов вермахта, не позволявших увечью различить их с горами. Сила воли и мастерство этих людей приводили его в восхищение. С голубоглазым все было

иначе. Роберт почувствовал горькое разочарование, как если бы в последний момент его лишили чего-то давно обещанного и жизненно ему необходимого. На то, чтобы расправиться с калекой, покарать уже наказанного, у него просто не хватит сил. Роберт презирал себя за эту слабость.

Он внимательно следил за тем, как голубоглазый неуклюже, по-крабьи отталкивался от снега игрушечными ползками. Пару раз на невысоких подъемах женщина уверенной рукой подталкивала его в спину.

Легкий ветерок прогнал облако, на мгновение выглянуло солнце. В его лучах Роберт увидел, как необычная пара приблизилась к началу самой сложной на вершине трассы. Без колебаний голубоглазый скользнул вниз. Он уверенно и грамотно лавировал, оставляя позади других, более осторожных лыжников. Женщина следовала рядом.

Глядя на две быстро превращавшиеся в темные точки фигуры, Роберт понимал, что сделать уже ничего не сможет. Оставалось только ждать, когда небо пошлет ему лишнюю всякой надежды на месть, бездушную и холодную способность простить.

Вырвавшись из пятна яркого солнечного света, две темные точки растворились в серой вате окружавших подножие горы облаков. Роберт медленно вернулся к месту, где оставил свои лыжи, и неловко вставил ботинки в крепления. Пальцы успели ооченеть, ведь перчатки он снял еще в кабине, когда душу приятно грела вера в то, что ударом кулака удастся восстановить попанную когда-то давно справедливость.

Роберт энергично взмахнул палками, выбрав ту же трассу, по которой спускались Мак и его новая итальянская знакомая. Он догнал обоих где-то посредине склона.

Когда все трое возвращались в гостиницу, пошел снег. В ресторане состоялся веселый ужин, было выпито немало вина, а «графиня» оставила Маку свой адрес. «Будешь в Риме, — сказала она, — обязательно заходи».

ЗВУКИ ГОРОДА*

Свернув с Шестой авеню на узенькую улочку, Уэзерби направился в сторону небольшого дома, где жил. Свет в окнах ресторана вызвал у него удивление. Называвшийся «Санта-Маргарита», ресторанчик этот был более или менее итальянским, с едва ощутимым влиянием французской кухни. В обеденный перерыв туда валом валил народ, а вечером, к половине одиннадцатого, его двери обычно бывали закрыты. Уэзерби находил это довольно удобным, и в те дни, когда готовить не хотелось или приходилось работать дома, они с женой любили сходить в «Санта-Маргариту» поужинать. Тамошние цены могли считаться вполне приемлемыми. Джованни, бармен, был другом Уэзерби, и по пути домой он частенько ненадолго задерживался у стойки, чтобы пропустить стаканчик: хорошая выпивка, тихая и спокойная обстановка, никаких телевизоров.

Уэзерби миновал было ресторанчик, но вдруг решил вернуться и заглянуть в бар — выпить глоток виски. Жена отправилась в кино и должна была прийти не раньше половины двенадцатого, а он чувствовал себя усталым. Перспектива коротать вечер в одиночестве с бутылкой в пустой квартире его не прельщала.

* Noises In the City. © 2001. Ю.Г. Кирьяк. Перевод с английского.

Единственный посетитель ресторанички сидел в крошечном баре, расположенном у самого входа. Официанты уже ушли, Джованни тонкой стружкой лил виски в стоявший перед мужчиной стакан. Уэзерби уселся в дальнем углу, но все равно между ним и поздним посетителем было лишь два свободных табурета.

— Добрый вечер, мистер Уэзерби, — поприветствовал его бармен, наливая хорошую порцию скотча и ставя на стойку открытую бутылочку содовой.

Джованни был крупным, совсем не похожим на итальянца мужчиной с не улыбочивым квадратным лицом и седыми, коротко, как у прусского офицера, подстриженными волосами.

— Как чувствует себя миссис Уэзерби? — осведомился он.

— Отлично. Так, во всяком случае, она сама сказала мне после обеда. Мой рабочий день закончился только что.

— Уж слишком много вы работаете, мистер Уэзерби.

— Это верно.

Уэзерби сделал большой глоток виски. А все-таки нет ничего лучше скотча, подумал он, с наслаждением согревая в ладонях тяжелый, толстого стекла стакан.

— Но и вы сегодня что-то задержались с закрытием, а?

— Тоже правильно, — ответил Джованни. — Однако я никуда не тороплюсь. Пейте сколько угодно.

Хотя бармен разговаривал именно с Уэзерби, ему показалось, что слова эти сказаны главным образом из-за второго посетителя. Мужчина сидел, упершись локтями в стойку красного дерева, обеими руками держа перед глазами стакан. Он походил на провидца, внимательно рассматривающего в хрустальном шаре нечто неясное, смутное, но явно доставляющее ему удовольствие. У него было лицо с тонкими чертами, а выражение этого лица говорило, что он человек образованный. Темно-серых тонов и безупречного кроя одежда свидетельствовала о

хорошем вкусе, на белоснежной рубашке ярким пятном выделялся полосатый галстук-бабочка. На левой руке незнакомца Уэзерби заметил обручальное кольцо. Мужчина не производил впечатления одинокого завсегдагатая ночь напролет открытых баров. В приглушенном свете Уэзерби казалось, что днем он наверняка узнал бы посетителя, с которым хотя и давно, но все же приходилось пару раз встречаться. Ничего не поделаешь — таков Нью-Йорк. Прожив в этом городе какое-то количество лет, внезапно начинаешь замечать вокруг множество мучительно знакомых лиц.

— Полагаю, — сказал Джованни, — что довольно скоро мы вас больше не увидим?

— Отчего же, мы с удовольствием будем заезжать перекусить.

— Вы меня поняли, не правда ли? Я имел в виду ваши планы перебраться за город.

— Со временем. Надеюсь, удастся отыскать уютное местечко где-нибудь не слишком далеко.

— Детям необходим свежий воздух. Жестоко держать их все время в городе.

— Это точно, — кивнул Уэзерби.

Дороти, его жена, была на седьмом месяце беременности. После пяти лет супружеской жизни они решились все же завести ребенка, и разговоры о чистом сельском воздухе доставляли Уэзерби какое-то первобытное удовольствие.

— И конечно же, школы.

Приятно было произносить даже банальности — теперь, когда он знал, что у него вот-вот появится первый ребенок.

— Мистер Уэзерби, — раздался голос первого посетителя, — могу ли я засвидетельствовать свое почтение, сэр?

Уэзерби с неохотой повернул голову, не испытывая желания вступать в дурацкий разговор с незнакомцем. К тому же в душе шевельнулось чувство, что несдержанность мужчины раздосадовала и Джованни.

— Вы, вероятно, меня не помните. — Посетитель нервно улыбнулся. — Я познакомился с вами лет восемь или десять назад. Это произошло в... у меня в магазине. — Мужчина издал негромкий вибрирующий звук, который можно было принять за смущенный смешок. — Думаю, вы заходили туда два, если не три раза. Речь у нас шла, если не ошибаюсь, о возможности совместной работы. Когда я услышал от Джованни ваше имя, то позволил себе... Я... Меня зовут Сидни Госден.

Голос, когда он произносил свое имя, звучал совсем тихо — так бывает иногда с людьми, опасаящимися показаться нескромными. Уэзерби посмотрел на бармена взглядом, в котором читалась просьба о поддержке, но Джованни, опустив глаза, полировал полотенцем стаканы, явно уклоняясь от всякого участия в разговоре.

— О! М-м-м... да... — нечленораздельно буркнул Уэзерби.

— У меня был... и до сих пор есть магазин на Третьей авеню. Антиквариат, декоративные предметы интерьера. — Мужчина вновь издал легкий смешок. — Это было, когда мне предложили заняться домами на Бикмэн-Плейс, вы тогда разговаривали с моим другом...

— Ну конечно! — с чувством воскликнул Уэзерби.

Имени этого человека он не помнил, но сам случай отложился в его памяти довольно отчетливо. В то время Уэзерби только начинал свою карьеру и рассчитывал стать независимым архитектором. Как-то раз он услышал о готовящейся реконструкции четырех старых зданий в районе Ист-Сайд, их должны были перестроить под небольшие квартирки со студиями для творческих работников. Кто-то в одной из крупных фирм, отказавшихся братья за проект, порекомендовал Уэзерби проявить интерес к этой работе и дал ему адрес Госдена. Беседа с ним помнилась смутно: пятнадцать или двадцать минут довольно отвле-

ченной болтовни в темном помещении магазина, где на витринах стояли старые бронзовые светильники, а в углу один на другом громоздилось несколько столов, сколоченных, по-видимому, еще первопроходцами Дикого Запада. Разговор оставил неприятное чувство впустую потраченного времени.

— Так что же там произошло? — спросил Уэзерби.

— А ничего. Вы же знаете, как у нас делаются дела. В конечном итоге снесли весь квартал и выстроили на пустыре эти жуткие девятнадцатизэтажные жилые башни. Ваши идеи казались мне куда более привлекательными. Я и сейчас хорошо их помню.

Госден напоминал Уэзерби женщину на вечеринке, которая загнала мужчину в угол и, не закрывая рта, несет всякую чушь, лишь бы только не дать ему ускользнуть в бар и оставить ее — на всю жизнь! — одну.

— Я намеревался пойти по вашим стопам, — торопливо продолжал Госден. — Вы представлялись мне победителем, человеком, созданным для грандиозных свершений. Но в Нью-Йорке изо дня в день приходится заниматься тысячей досадных мелочей, и самые благие намерения... — Он безнадежно махнул рукой. — Уверен, что, сам не зная того, каждый день прохожу мимо ваших творений, этих памятников вашему таланту...

— Вынужден вас разочаровать. На самом деле я работаю в крупной фирме, в... — Уэзерби произнес название, и Госден значительно кивнул, доказав свое уважение к известному имени.

— Всему свое время, — легко бросил он. — Значит, вы стали одним из тех молодых людей, которые запикивают нас, бедных нью-йоркцев, в холодные и бездушные стеклянные клетки.

— Я не так уж молод, — ответил Уэзерби и мрачно подумал: а ведь он прав.

Сам Госден был от силы лет на десять старше него. Уэзерби допил свое виски. Экспансивность Госдена, его церемонные, отчасти женственные манеры вызывали у Уэзерби ощущение неловкости.

— Ну ладно. — Он достал из кармана бумажник. — Думаю, мне...

— Нет, прошу вас... — В голосе Госдена прозвучала мольба. — Если вы уйдете, бармен уберет бутылки и выставит меня. Будьте добры, Джованни, налейте нам еще по одной порции. И не забудьте, пожалуйста, про себя. В такое позднее время...

— Но я действительно должен... — начал Уэзерби и натолкнулся на напряженный взгляд Джованни, как бы пытавшегося послать ему некое важное сообщение.

Бармен плеснул в стаканы скотча и бурбона, подтолкнул первый Уэзерби, второй — Госдену, налил несколько капель бурбона в третий — себе.

— Так будет лучше, — просиял Госден. — И прошу вас, мистер Уэзерби, не думайте, будто я привык шляться по ночному городу, угощая каждого встречного хорошим виски. Обычно я очень бережлив, патологически бережлив, как говорила моя жена. Этой черты она во мне терпеть не могла. — Полным достоинства жестом Госден поднял стакан, его изящная, худая рука подрагивала.

«Уж не алкоголик ли он?» — подумал Уэзерби.

— За прекрасные, дивные стеклянные громады города Нью-Йорка!

Трое мужчин выпили. С невозмутимым лицом Джованни вымыл свой стакан и досуха вытер его полотенцем.

— Люблю я это местечко! — Благосклонным взглядом Госден обвел тускло освещенное помещение ресторана, развешанные по стенам аляповатые пейзажи Лигурийского побережья. — С ним у меня связаны особые воспоминания. Поздним зимним вечером я подошел здесь к женщине

с предложением. К собственной жене, — скороговоркой добавил он, испугавшись, видимо, что Уэзерби решит, будто предложение было адресовано супруге другого человека. — После этого мы почти не заглядывали сюда. Не знаю даже почему. Может, потому что живем на противоположном конце города? — Госден прищурился, посмотрел на картину с изображением раскинувшейся на фоне гор морской глади. — Мне всегда хотелось свозить жену в Нерви, показать ей замок. Но, как говорят французы, увы! Ничего не вышло. Я-то думал, еще есть время, не сейчас, так на следующий год... Да и расходы при моей-то бережливости казались несоразмерными. Скажите, мистер Уэзерби, — он опять принял позу смотрящего в глубь хрустального шара провидца, — вам когда-нибудь приходилось убивать человека?

— Что? — Уэзерби решил, что ослышался.

— Вам когда-нибудь приходилось убивать человека? — повторил Госден и издал третий по счету смешок. — Собственно говоря, такой вопрос можно задавать очень часто и по самым различным поводам. Ведь в городе полным-полно людей, которые рано или поздно становятся повинными в смерти своих ближних: полисмены на дежурстве, отчаянные шоферы, кулачные бойцы, действующие из лучших побуждений врачи и медсестры, дети с их воздушными ружьями, грабители банков, просто громилы, солдаты великой войны...

Уэзерби с сомнением посмотрел на Джованни, но тот молчал. Говорило лицо бармена, оно требовало, молило Уэзерби: отнесись к услышанному с юмором!

— Видите ли, — проговорил он, — я тоже был на войне...

— В пехоте, со штыком, да? — внезапно изменившимся, ровным, абсолютно лишенным эмоций голосом спросил Госден.

— В артиллерии. Батарея стопятимиллиметровых гаубиц. Полагаю, вы сказали это...

— Бравый капитан, — улыбнулся Госден, — наблюдая в бинокль, поливает смертоносным огнем позиции врага.

— Не совсем точная картина. Мне было девятнадцать, служил я в звании рядового обычным заряжающим. Большую часть времени приходилось окапываться.

— И все же можно с уверенностью заявить, что вы принимали участие в убиении себе подобных.

— Снарядов выпускалось так много, что наверняка не все из них падали на голую землю.

— Одно время я был страстным охотником. В детстве. Мы жили тогда на юге, в Алабаме, хотя сейчас я с гордостью могу сказать, что по моей речи никто об этом не догадается. Однажды мне удалось подстрелить рысь. — Госден задумчиво пригубил виски. — А потом я почувствовал отвращение к пролитой крови, пусть даже это всего лишь кровь животных. А вот птиц мне не было жаль нисколько. Есть в них что-то отталкивающее, в этих крылатых тварях, не правда ли, мистер Уэзерби?

— Я об этом не думал.

Стало совершенно ясно, что собеседник его пьян. Беспокоила Уэзерби лишь одна мысль: как скоро он сможет выйти из бара? Ему очень хотелось избежать необходимости выпить с Госденом новую порцию спиртного.

— Когда человек держит в своих руках жизнь другого, он должен испытывать величайшее возбуждение, на смену которому приходит ощущение чудовищного, непреодолимого стыда. Думаю, вопрос этот не раз обсуждали ваши сослуживцы на поле битвы...

— Боюсь, в большинстве случаев они вели себя далеко не так, как вам бы хотелось.

— А вы? Вы лично? Будучи всего лишь заряжающим, скромным винтиком огромной машины, что чувствовали вы? Что вы чувствуете сейчас?

Уэзерби заколебался, в нем начинала закипать злость.

— Сейчас я жалею об этом. В бою же я просто хотел выжить.

— А о смертной казни вы когда-нибудь думали, мистер Уэзерби? О высшей мере наказания? — Госден внимательно изучал собственное отражение в неясно отсвечивавшем зеркале, что висело на задней стене бара. — Вы «за» или «против» того, чтобы жизнь у человека отнимали по воле государства? Не пытались ли вы когда-либо оспорить такие порядки?

— Как-то раз еще в колледже я подписался под соответствующей петицией правительству.

— В молодости, — обратился Госден к своему отражению, — мы все куда отчетливее сознаем ценность человеческой жизни. Однажды мне пришлось принять участие в демонстрации протеста. Люди высказывали свое несогласие с решением суда, приговорившего к повешению нескольких чернокожих парней. В то время я уже переехал с юга в северные штаты. Да, я был в рядах демонстрантов. Во Франции во времена гильотины считали, что смерть наступает мгновенно, хотя и мгновение — понятие весьма растяжимое. Сейчас можно услышать мнения, согласно которым отсеченная голова какие-то доли секунды не теряет способности мыслить и чувствовать даже после того, как упадет в корзину.

— Извините, мистер Госден, — умиrotворяюще произнес Джованни, — кому от подобных разговоров становится легче?

— Это вы должны меня извинить, Джованни, — широко улыбнулся Госден. — Мне следовало бы устыдиться собственных слов. Болтать такое, сидя в уютном баре,

в обществе столь чуткого и одаренного человека, как мистер Уэзерби! Ради Бога, простите меня! А теперь, с вашего разрешения, джентльмены, я сделаю один телефонный звонок.

Поднявшись, он небрежной походкой, расправив плечи, прошагал по пустынному залу к маленькой двери, что вела к телефонным кабинкам и в туалеты.

— О Боже, — вздохнул Уэзерби, — зачем это все?

— Вы не знаете, кто это такой? — негромко спросил Джованни, поглядывая в конец зала.

— Я знаю лишь то, что он о себе сказал. А в чем дело? Всем следует узнавать его в лицо?

— Года два-три назад его имя не сходило с газетных страниц. Какой-то подонок изнасиловал и убил его жену. В Ист-Сайде. Тело ее он обнаружил, когда пришел домой на обед.

— Господи, — с невольной жалостью вздохнул Уэзерби.

— Убийцу взяли на следующий день. Им оказался то ли плотник, то ли слесарь, переселенец из Европы, живший вместе с женой и тремя детьми где-то в Куинсе. В прошлом — ничего криминального, никаких жалоб. Его вызвали что-то отремонтировать, он позвонил не в ту дверь, ну и увидел ее в халатике или в ночной рубашке.

— Как с ним поступили?

— Его действия квалифицировали как убийство первой степени. Сегодня вечером этого человека ждет казнь на электрическом стуле. Вот Госден и пошел звонить, чтобы узнать, свершилось ли уже правосудие. Ток, я думаю, там включают в одиннадцать, может, в половине двенадцатого.

Уэзерби бросил взгляд на часы. Стрелки показывали почти пятнадцать минут двенадцатого.

— Бедняга. — Если бы его спросили, кого он имеет в виду: Госдена или обреченного на страшную казнь убий-

цу, — Уэзерби вряд ли смог бы ответить. — Госден... Госден... Должно быть, меня не было в городе, когда это случилось.

— Но шум тогда поднялся изрядный, — заметил Джованни. — На пару дней.

— Он часто приходит сюда вести такие беседы?

— На моей памяти впервые. Раз-другой в месяц он появляется в баре, вежливый и спокойный, выпивает порцию виски и усаживается где-нибудь в углу пообедать. Всегда в одиночестве, всегда с книгой. Никогда не подумаешь, что человек пережил такое горе. Но сегодня все сложилось по-другому. Он пришел около восьми, не стал ничего есть, а просто сидел у стойки и весь вечер пил.

— Поэтому-то заведение и не закрылось.

— Поэтому и не закрылось. Не выставлять же человека за дверь.

— Естественно.

Уэзерби посмотрел в сторону двери, за которой скрылся Госден. Ему хотелось уйти, не было ни малейшего желания выслушивать новые откровения. Хотелось побыстрее очутиться дома, рядом с женой. И все же Уэзерби знал, что не сможет взять и трусливо удрать, как бы ни был велик соблазн.

— Я только сегодня узнал, что именно здесь он сделал предложение своей будущей жене, — сказал Джованни. — Думаю, поэтому... — Фраза осталась незаконченной.

— Как она выглядела, его жена?

— Маленькая, очень приятная и тихая женщина. На таких нечасто обращают внимание.

Дверь в дальнем конце зала открылась, вышедший из нее Госден легкой походкой, глядя прямо перед собой, направился к бару. Он уселся на свой высокий табурет, улыбнулся несколько смущенной, извиняющейся улыбкой. В лице его не было заметно и признака волнения по поводу услышанного по телефону.

— Ну вот, — сказал он, — снова мы в сборе.

— Давайте-ка еще немного выпьем, — предложил Уэзерби.

— Это очень любезно с вашей стороны, мистер Уэзерби, — проговорил Госден. — Очень.

Оба с интересом наблюдали за тем, как Джованни разливал по стаканам виски.

— Дожидаясь, пока меня соединят, я вспомнил некую занимательную историю. О том, как везет одним и какими неудачниками могут оказаться другие. Это рыбацкая присказка. Она абсолютно невинна, джентльмены. Рискованные анекдоты просто не держатся у меня в памяти, какими бы смешными они ни казались. Сам не знаю почему. Жена называла это пуританством — возможно, она была права. Искренне надеюсь ничего не перепутать. — Прищурившись, Госден посмотрел в зеркало. — Итак, два брата решили отправиться на недельку к чудесному горному озеру половить рыбу. Вам не приходилось ее слышать, мистер Уэзерби?

— Нет.

— Не бойтесь обидеть меня правдой. Очень не хотелось бы думать, что я нагоняю на вас тоску старыми анекдотами.

— Смелее, я действительно не слышал вашей истории.

— А ведь она и в самом деле старая. Я услышал ее много лет назад, когда еще ходил на вечеринки и подолгу торчал в ночных клубах. Значит, приезжают братья к озеру, берут напрокат лодку и отплывают от берега. Не успевают они забросить удочки, как поплавок первого брата резко уходит под воду. Тот хватается удилище и вытаскивает из воды огромную рыбку. Сажает наживку, забрасывает — и вновь удача! Так у него и пошло. А второму брату не повезло даже с крохотной плотвичкой. То же самое происходит на второй день, на третий. Брат, у

которого не клюет, становится все мрачнее и мрачнее, его разбирает злость на счастливчика. Наконец первый, везунчик, желая сохранить в семье мир, говорит брату, что останется на следующий день на берегу и все озеро предоставит в его распоряжение. Ясным ранним утром неудачник садится в лодку, достает из сумки самую аппетитную наживку, опускает крючок в воду и принимается ждать. Какое-то время ничего не происходит. Вдруг за его спиной раздается мощный всплеск, из воды появляется морда громадной рыбы, которая раскрывает зубастую пасть и спрашивает: «Эй, приятель, а что, твой брат сегодня не придет?»

Госден поднял глаза, с тревогой ожидая реакции Уэзерби. Усилием воли тот заставил себя улыбнуться и хмыкнуть.

— Очень хочется верить, что я ничего не перепутал, — сказал Госден. — Мне кажется, здесь скрыт куда более глубокий смысл, чем в других анекдотах. Тут говорится о везении, о судьбе, если вам понятно, что я имею в виду.

— Вполне понятно, — отозвался Уэзерби.

— Обычно люди предпочитают более соленые истории, но я их не запоминаю. — Госден немного отпил из стакана. — Думаю, вы с Джованни перекинулись парой слов, пока я говорил по телефону. — Голос его вновь прозвучал бесцветно и мертвенно.

Уэзерби бросил взгляд на Джованни, и бармен едва заметно кивнул:

— Да. Парой слов.

— Когда мы вступили в брак, моя жена была девственницей. Но с самого начала отношения наши отличались редкой глубиной и чувственностью. Она принадлежала к тому редчайшему типу женщин, которые просто созданы для семьи, для супружеской жизни и ни для чего другого. Глядя на мою жену, разговаривая с ней, никто бы не запо-

дозрил в ней такой безграничной красоты души и искренности переживаний. Внешне она была воплощением бескорыстия и робости. Правда, Джованни?

— Да, мистер Госден.

— Двое мужчин на всей земле знали об этом. Я и... — Госден смолк, лицо его исказилось. — Рубильник включили в восемь минут двенадцатого. Он мертв. Я все время напоминал ей: закрывай дверь на цепочку, но ведь она не знала страха, она доверяла каждому. Город полон настоящих скотов, дико говорить о том, что мы представляем собой цивилизованное общество. Она закричала. Многие в доме услышали ее крик, но кто в Нью-Йорке обращает внимание на звуки, доносящиеся из соседней квартиры? Позже дама, жившая этажом ниже, сказала, что решила, будто мы с женой ссоримся, хотя за все годы между нами ни разу не возникло даже спора. Другая соседка собиралась пожаловаться управляющему домом: она подумала, что ей мешает заснуть чей-то громко включенный телевизор. — Чуть ли не по-девичьи подогнув под табуретом ноги, Госден двумя руками поднял стакан на уровень глаз. — Я очень благодарен вам за участие, мистер Уэзерби, с которым вы выслушали меня. Последние три года люди обходят меня стороной, старые клиенты, не повернув головы, торопливо пробегают мимо, друзья молча кладут трубку. Сейчас моя торговля и мое общение полностью зависят от незнакомых прохожих. На Рождество я отсылаю чек на сто долларов без подписи, естественно, в Куинс, одной женщине... Не знаю, что заставляет меня так поступать — может быть, атмосфера праздника? Необходимость делать кому-то подарки? А сегодня мне пришла в голову мысль получить разрешение присутствовать на процедуре... Я думал об этом совершенно серьезно и, полагаю, мог бы добиться своего. Но потом вдруг решил, что ничего хорошего из этого все равно не выйдет, и пришел сюда, к

Джованни. — Госден улыбнулся. — Итальянцы славятся отзывчивостью и добротой. Но пора по домам. Сплю я плохо, а таблетками не пользуюсь из принципа. — Вытащив из кармана бумажник, Госден положил на стойку несколько банкнот.

— Подождите пару минут, — сказал Джованни. — Закрою двери и провожу вас до дома.

— А! Это будет очень мило с вашей стороны, Джованни. Самое для меня трудное — открыть дверь. Там, за ней, — абсолютное одиночество. Потом уже проще.

Уэзерби поднялся:

— Поставьте всю выпивку в мой счет, Джованни. Спокойной вам ночи. Спокойной ночи, мистер Госден.

Ему хотелось сказать нечто большее, найти слова утешения и надежды, но было ясно: они ничего не изменят.

— Спокойной ночи, — отозвался Госден бодрым и звучным голосом. — Возобновив старое знакомство, я испытал настоящее удовольствие. Наилучшие пожелания вашей супруге, мистер Уэзерби.

Уэзерби вышел на улицу, оставив бармена затыкать пробками недопитые бутылки, а подчеркнуто прямо сидевшего на табурете Госдена — допивать в одиночестве свое виски.

Он быстрым шагом шел по погруженной во тьму улице, с трудом сдерживая желание перейти на бег. Войдя в подъезд, стремительно, перепрыгивая через несколько ступенек, стал подниматься по лестнице: лифт в их доме был слишком тихоходным. Отпер металлическую входную дверь и замер на пороге: в спальне горел свет.

— Это ты, милый? — послышался оттуда сонный голос жены.

— Одну минуту, я закрою дверь.

Уэзерби плотно вогнал в паз задвижку, которой они никогда прежде не пользовались, и неторопливо прошел по ковру гостиной.

Дороти лежала в постели. На ночном столике горела лампа, у кровати, на полу, валялся иллюстрированный журнал. Губы Дороти тронула легкая улыбка.

— Тебе досталась ленивая жена, — с нежностью сказала она начавшему снимать с себя одежду Уэзерби.

— Я думал, ты отправилась в кино.

— Я и была там. Но на середине фильма меня начало клонить в сон, вот я и вернулась.

— Тебе ничего не принести? стакан молока? Печенья?

— Ложись-ка спать.

Дороти перевернулась на спину, ее волосы разметались по подушке. Уэзерби облачился в пижаму, выключил свет, забрался под одеяло и, осторожно приподняв голову жены, опустил ее на свое плечо.

— Виски, — проговорила она. — Откуда у людей пред-рассудки? Дивный аромат. Тяжелый выдался сегодня денек, дорогой?

— Не слишком. — Уэзерби с наслаждением вдохнул восхитительный запах ее волос.

— Угу, — прогудела Дороти, погружаясь в сон.

Некоторое время он еще бодрствовал, вслушиваясь в доносившийся сквозь стекла приглушенный шум улицы. «Избави нас, Господи, от случайностей, — подумал он, — и ниспошли дар слышать звуки города».

ГОД НА ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА*

— *La barbe*** — поморщилась Луиза, — как ты можешь выносить эту вонь?

Скрестив ноги и опершись спиной о книжный шкаф, она сидела на полу. Из выцветших синих джинсов торчали босые ступни. Глаза ее прятались за тяжелыми, в черепаховой оправе очками, которыми она пользовалась при чтении, а, перед тем как перевернуть страницу, рука то и дело опускалась к картонной коробочке с эклерами.

Уже год почти Луиза слушала в Сорбонне курс французской литературы — хотя в настоящий момент зачитывалась «Гекльберри Финном» во французском, конечно же, переводе. Луиза говорила, что французская литература действует на нее угнетающе, ей хотелось полной грудью вдохнуть вольного воздуха просторов Миссисипи. Родом Луиза была из Сент-Луиса, и на студенческих вечеринках она часто называла Миссисипи «матерью всех вод» своей жизни. Роберта эту фразу не совсем понимала, но в душе не могла не признать, что звучала она впечатляюще: в ней чудилось нечто мистическое. Необычный эпитет, казалось, таил в себе источник самопознания.

* A Year to Learn the Language. © 2001. Ю.Г. Кирьяк. Перевод с английского.

** Черт возьми (*фр.*).

Насколько Роберта знала, в ее собственной жизни «матери всех вод» не было.

Роберта стояла у мольберта в центре большой, мрачно-ватой и погруженной в вечный хаос комнаты, которую она делила с Луизой уже восемь месяцев, с того дня, когда обе впервые очутились в Париже. Ей нужно было расписать холст для оформления витрины парижского магазина, избежав при этом влияния Шагала, Пикассо и Хуана Миро, влияния, накатывавшего волнами, в зависимости от настроения. Роберте было всего девятнадцать; обеспокоенная своей обостренной восприимчивостью к чужим стилям, она пыталась заставить себя вообще не смотреть на шедевры.

По-лебединому взмахнув руками, Луиза поднялась и стала с наслаждением облизывать вымазанные кремом пальцы. Затем подошла к окну, распахнула его и с шумом втянула в себя влажный воздух парижской зимы.

— Меня волнует твое здоровье, — сказала она. — Готова поспорить, если провести серьезное исследование, то окажется, что половина художников умерли от силикоза.

— Силикоз — болезнь шахтеров. Ее вызывает пыль, а в красках никакой пыли нет. — Роберта медленно водила кистью по холсту.

— Я бы подождала результатов исследования, — не уступила Луиза, высываясь в окно: что творится там, на улице, тремя этажами ниже? — А он был бы очень даже ничего, если бы только догадался подстричься.

— У него великолепные волосы, — ответила Роберта, неимоверным усилием воли заставив себя оставаться на месте — ей тоже хотелось броситься к окну. — А потом, так сейчас ходят все парни.

— Все парни... — буркнула Луиза. Будучи на год старше подруги, она имела на своем счету два романа с французами. Оба, по ее словам, привели к катастрофическим последствиям. Последние дни Луиза была полна желчного скептицизма. — Пойдешь сегодня к нему?

— В четыре. Он обещал сводить меня на Правый берег. — Устремленный на холст взгляд Роберты сделался рассеянным: зная о том, что Ги где-то совсем рядом, работать она уже не могла.

— Сейчас всего половина, — бросив взгляд на циферблат часов, усмехнулась Луиза. — Какая преданность!

Звучавшая в голосе ирония настораживала, но Роберта не знала, что этому противопоставить. Почему бы Луизе не побеспокоиться о себе самой? Мысль о Ги разогревала кровь, возбуждала; Роберта начала мыть кисти: писать в таком состоянии все равно было невозможно.

— Что он делает? — стараясь говорить небрежно, спросила она.

— С интересом разглядывает витрину мясной лавки. У них сегодня фирменный товар. Ромштексы. По семьсот пятьдесят франков за килограмм.

Роберта ощутила легкий укол разочарования. Уж если Ги здесь, то ему следовало бы — с интересом или без такового — смотреть на *ее* окно.

— То, что мадам Раффат запрещает приводить сюда гостей, совершенно невыносимо, — сказала она.

Мадам Раффат, их квартирная хозяйка, жила за стеной. Это была низенькая, полная дама, любившая невыносимо тесные пояса и лифчики. Она имела отвратительную привычку без стука врываться к ним в комнату и бросать по сторонам быстрые, недоверчивые взгляды, опасаясь, по всей видимости, увидеть пятна на выцветшем и уже покрытом разводами грязи дамаске, которым были обтянуты стены, либо — о ужас! — тайком проведенного молодого человека.

— Она знает, что делает, — заметила сидевшая на подоконнике Луиза. — Мадам Раффат живет в Париже уже пятьдесят лет и хорошо знает французов. Пусти француза за порог, и ты от него не избавишься, пока новая война не грянет.

— Ох, Луиза, ну откуда в тебе такая... такое разочарование?

— Оттуда. Я действительно разочарована. И ты тоже разочаруешься, если пойдешь по этой дорожке дальше.

— Ни по какой дорожке я не иду.

— Ха!

— Что значит «ха»?

Утруждать себя объяснениями Луиза не стала. Неодобрительно сморщив носик, она вновь выглянула в окно.

— Сколько, он говорит, ему лет?

— Двадцать один год.

— Уже взбирался на тебя?

— Нет, конечно.

— Тогда ему точно не двадцать один. — Луиза слезла с подоконника и вновь опустилась на пол у книжного шкафа, вернувшись к Гекльберри и последнему эклеру.

— Послушай, Луиза, — внушительно и строго, как ей казалось, проговорила Роберта, — я не сую нос в твою жизнь и была бы очень признательна, если бы ты не вмешивалась в мою.

— Мне просто хочется, чтобы ты извлекла уроки из моего опыта, — сладким, замешенным на креме голосом отозвалась Луиза. — Из моего печального опыта. К тому же я обещала твоей матери, что буду присматривать за тобой.

— Будь добра, забудь о своем обещании. Я и во Францию-то приехала в первую очередь для того, чтобы сбежать от матери.

— И быть себе хозяйкой. Ладно, чего не сделаешь ради подруги!

В комнате стало тихо. Роберта просмотрела лежавшие в портфеле акварели, которые она собиралась взять с собой, взбила волосы, чуть притронулась помадой к губам и повязала на шею шелковый шарф. Бросив встревоженный

взгляд в зеркало, она нашла, что выглядит, как всегда, слишком юной, голубоглазой и невинной, слишком американкой — смущающейся и фатально *не готовой*.

Открывая дверь, Роберта сказала погруженной в чтение Луизе:

— К ужину меня не жди.

— Последнее предупреждение, — безжалостно напомнила та. — Бди!

Роберта громко хлопнула дверью и по длинному темному коридору двинулась к выходу. Мадам Раффат сидела в гостиной спиной к окну. Она раскладывала на небольшом золоченом столике пасьянс, зорко поглядывая на приходивших и уходивших. Роберта холодно кивнула ей. Несносная старая ведьма, подумала она, сражаясь с тремя замками, которыми квартирная хозяйка защищала себя от внешнего мира.

Спускаясь по неосвещенной лестнице, на которой, как в пещере, пахло подземными водами и остывшей, забытой на столе едой, Роберта ощутила тоску. Когда дома, в Чикаго, отец сказал, что наскребет денег, чтобы отправить дочь на год в Париж учиться рисовать, перед ней распахнулась дверь в новую жизнь, полную свободы, надежд и приключений. «Даже если ничего особого из твоих художеств не выйдет, у тебя будет по крайней мере год на изучение языка», — заявил он. На деле же, находясь под неусыпным надзором мадам Раффат, выслушивая мрачные предупреждения Луизы и мучаясь от мысли о подавляющем влиянии великих мастеров, Роберта ощущала себя тут куда более неуверенно и скованно, чем в Америке.

Все, что она слышала насчет языка, тоже оказалось выдумкой. «О, да в твоём возрасте через три месяца ты будешь болтать, как истая парижанка», — говорили ей. Что ж, в прилежном изучении грамматики прошло уже не три, а восемь месяцев. Да, она понимает почти все,

что слышит, но, когда сама произносит более пяти слов, люди почему-то переходят на английский. Даже уверявший ее в своей любви Ги, чей английский напоминал о первых фильмах Мориса Шевалье, настаивал на том, чтобы самые интимные, самые французские их беседы велись на английском.

Временами, как сегодня, Роберте казалось, что она никогда не вырвется из тесной клетки детства, что настоящая свобода, отчаянный риск, ждущие каждого взрослого человека взлеты и падения останутся для нее недоступными навсегда. Нажав на кнопку замка, отчего входная дверь с негромким электрическим жужжанием раскрылась, Роберта вдруг с ужасом увидела себя такой, какой она станет через несколько лет: старой девой с всклокоченными волосами, вечной пленницей своей хрупкой невинности, воплощением унылой добродетели. Да, с такой особой никому и в голову не придет говорить о скандалах, страсти или смерти.

Крайне недовольная, Роберта поправила шарфик — ведь чуточка кокетства не помешает? — и вышла на улицу, где у лавки мясника Ги, чтобы не мучить себя ожиданием, полировал крылья своего мотоцикла. На его загорелом и вытянутом, как у типичного жителя Средиземноморья, лице, о котором однажды — лишь однажды — Роберта сказала Луизе, что оно напоминает юношей с портретов Модильяни, на этом лице блеснула широкая улыбка. Однако сегодня Роберта осталась к ней равнодушной.

— Луиза права, тебе не мешало бы подстричься, — сурово сказала она.

Улыбка Ги исчезла. Ее сменило и в лучшие времена бесившее Роберту выражение скучного недовольства, но сейчас это не произвело на нее никакого впечатления.

— Луиза. — Ги поморщился. — Эта кошелка с помидорами.

— Во-первых, — наставительно произнесла Роберта, — Луиза — моя подруга, и тебе не следует отзываться о ней подобным образом. Во-вторых, если ты думаешь, что говоришь на американском сленге, то глубоко ошибаешься. «Кошелка» еще сойдет, но помидором девушку в Америке не назовет никто. Почему бы тебе не оскорблять моих друзей на французском?

— *Écoute, mon chou**, — отозвался Ги усталым, безжизненным тоном, делавшим его в глазах Роберты слишком взрослым и самостоятельным, особенно в сравнении с парнями из Чикаго: те не говорили, а мямлили. — Я хочу общаться с тобой, я хочу заниматься любовью, может, даже жениться на тебе. Но у меня нет ни малейшего желания вести себя как институтка. Дашь слово быть вежливой — забирайся на заднее сиденье, и я помчу тебя, куда скажешь. Будешь трепать мне нервы — иди пешком.

Дерзкая, почти грубая фраза из уст человека, который прождал ее на холоде более получаса, прозвучала удивительно властно, и Роберта с удовольствием подчинилась. Подтверждалось часто слышанное (обычно от Ги) утверждение о том, что французы знают, как вести себя с женщинами. Мальчики с берегов озера Мичиган больше похожи на робких детишек.

— Я только хотела сказать, — мгновенно поправилась она, — что короткая стрижка была бы тебе к лицу.

— Заднее сиденье!

Ги сел за руль, и Роберта устроилась за его спиной. Чувствовала себя она не слишком удобно: в одной руке тяжелый портфель, другая лежит у Ги на талии. Для поездки на мотоцикле Роберта предпочитала джинсы: пару раз порывы ветра так задирали ее юбочку, что восхищенные прохожие с каким-то даже неприятным одобрением смотрели им вслед.

* Послушай, душенька (фр.).

Роберта дала Ги адрес на улице Фобур-Сент-Оноре, где должна была встретиться с директором галереи. Договоривался о встрече месье Раймон, художник, в чьей студии она занималась.

— Патрини выставляет в своей галерее все что угодно, — сказал на днях месье Раймон. — Ему постоянно нужна молодежь, она дешевле обходится. Кроме того, он считает американцев довольно занимательными людьми. Если повезет, Патрини повесит где-нибудь в задней комнате пару твоих акварелей, чтобы понаблюдать за реакцией посетителей. Только не вздумай подписывать никаких бумаг! Это лучшая гарантия от неприятностей.

Ги повернул ключ зажигания, и мотоцикл с ревом устремился в поток машин, автобусов и велосипедистов. Он всегда ездил с присущим настоящим гонщикам презрением к риску. В этом, по словам Ги, проявлялся его характер, так он выражал протест против того, что называл «застенчивой буржуазной любовью к покою и отсутствию опасности». Жил Ги вместе с родителями, поскольку еще не закончил учебу. Он намеревался стать инженером и строить плотины в Египте, мосты в Андах и дороги в Индии. Его никак нельзя было причислить к тем, кто днями и ночами болтается по Сен-Жермен-де-Пре, выпрашивает деньги у туристов, клянет будущее и совращает малолеток, уподобляясь героям дешевых фильмов. Он верил в любовь, преданность и порядочность и ни разу не попытался, если пользоваться этим идиотским словом Луизы, «взобраться» на Роберту. Они даже и не целовались еще по-настоящему — не считать же поцелуем легкое прикосновение губ к щеке перед тем, как пожелать друг другу спокойной ночи.

— Меня тошнит от неразборчивых связей, — сказал как-то Ги. — Мы сами пойдем, когда созрели друг для друга.

Роберта была ему благодарна: в ее глазах Ги воплощал лучшие качества настоящего парижанина и добропорядочного жителя Чикаго одновременно. С родителями Ги ее не знакомил.

— Они вполне достойные граждане, *de pauvres mais braves gens*, но никому, кроме родственников, не интересны. Один вечер в их обществе, и ты без оглядки брошишься на паромную переправу в Гавр.

Мотоцикл мчался по набережной. Высившийся на противоположном берегу Сены Лувр походил на воплощенную в жизнь мечту о Франции. Ветер играл длинными черными волосами Ги, его ярким шарфом, срывал с покрасневших щек Роберты холодные капли слезинок. Крепко вцепившись в кожаную куртку Ги, она испытывала удовольствие от бешеной езды по замерзшему городу.

С грохотом проносясь на крошечном мотоцикле по мосту напротив здания Национального собрания, мимо обелиска и мраморных коней дворца Согласия, с портфелем, набитым акварелями, которые она везла показать человеку, купившему и продавшему за свою жизнь не менее двадцати тысяч картин, сидя за спиной самого красивого парня в Европе, Роберта чувствовала, как сомнения покидают ее. Она знала, что решение оставить Чикаго было правильным. Да, ей следовало приехать в Париж и дать три месяца назад номер своего телефона Ги. Произошло это на вечеринке в квартире второго французского друга Луизы, куда та пригласила Роберту просто так, убить время. Сейчас во всем вокруг Роберта видела предзнаменования удачи и счастья, в ушах звенело сладкоголосое пение птиц, и, когда мотоцикл остановился у галереи на Фобур-Сент-Оноре, к негостеприимно закрытым дверям она поднялась со спокойствием и уверенностью привыкшего к победам атлета.

— *Écoute, Roberta,* — сказал Ги, потрепав ее по щеке, — *je t'assure que tout va très bien se passer. Pour une femme, tu es un grand peintre, et bientôt tout le monde le saura**.

Она улыбнулась, благодарная Ги за веру в ее силы и такт, который заставил его произнести фразу по-французски.

— А теперь, — переходя на английский, сказал он, — поеду выполняю пару поручений любимой мамочки. Через полчаса буду ждать тебя у Куинни.

Махнув рукой, Ги направил мотоцикл по запруженной машинами улице в сторону британского посольства. Роберта проводила взглядом лавировавшую среди автомобилей фигуру и потянула на себя дверь, сбоку от которой, в стеклянной витрине, висело огромное в лиловых тонах полотно. Художник попытался изобразить на ней то ли стиральную машину, то ли привидевшийся ночью дурной сон. «Мазня, — решила Роберта, скользнув глазами по мешанине красок. — У меня все-таки выходит лучше». С этой мыслью она вошла.

Полы в небольшой галерее были устланы коврами, на стенах вплотную друг к другу висели картины, причем большая их часть явно принадлежала кисти автора лилового шедевра в витрине либо его последователей. Любовался ими один-единственный посетитель, мужчина лет пятидесяти в пальто с воротником из норки и в великолепной фетровой шляпе. Владелец галереи, узнать которого можно было по красной гвоздике в петлице и усталому, но в то же время какому-то хищному выражению на тонком, несколько разочарованном лице, стоял рядом. Руки его нервно подрагивали, как бы готовые вце-

* Послушай, Роберта, я тебя уверяю, что все пройдет хорошо. Для женщины ты — великая художница, и скоро весь мир будет у твоих ног (фр.).

питься мертвой хваткой в посетителя, если он вздумает уйти, либо протянуть ему незаполненный чек, где тот волен сам указать справедливую сумму.

На своем лучшем французском Роберта представилась месье Патрини, и тот, безукоризненно строя английские фразы, довольно бесцеремонно ответил:

— Да-да. Раймон полагает, в вас что-то такое есть. Воспользуйтесь этим мольбертом.

Отойдя футов десять в сторону, Патрини слегка нахмурился, как поступил бы человек, вспомнивший после обеда, что одно из блюд было явно не на высоте. Роберта достала из портфеля первую акварель, закрепила ее на мольберте. Взгляд владельца галереи равнодушно скользнул по рисунку; выглядел Патрини так, будто соус оказался слишком жирным, а форель добиралась из Нормандии до Парижа подозрительно долго. Он не проронил ни слова, только губы его едва заметно скривились, как бы от с трудом скрываемой боли. Расценив гримасу как призыв продолжать, Роберта вынула из портфеля второй лист. Минут через пять она заметила, что мужчина в фетровой шляпе, отчаявшись, видимо, по достоинству оценить висевшие на стенах полотна, приблизился за ее спиной к мольберту. Роберта так пристально следила за лицом Патрини, что на посетителя просто не обращала внимания.

Губы владельца галереи сложились аккуратным сердечком.

— Вот, — сказала Роберта, переполненная огорчением от очевидного провала. — Это все.

— М-м-м... Гм-м-м... Э-э-э... — Голос Патрини звучал так низко, что она испугалась: вдруг мэтр произнес по-французски неизвестное ей слово? Однако тут же на отличном английском прозвучало: — В этом есть обещание. Только спрятано оно очень уж глубоко.

— Извините меня, дорогой друг, — вмешался мужчина в фетровой шляпе. — В этом есть нечто куда большее. — Судя по выговору, он мог всю жизнь прожить в Оксфорде, хотя являлся, вне всяких сомнений, французом. — Дорогая леди, — мужчина снял шляпу, и Роберта увидела аккуратную серо-стального цвета щетку волос, — не согласились бы вы разместить свои рисунки так, чтобы я имел возможность рассмотреть их все, изучить без спешки?

Пораженная, Роберта перевела взгляд на Патрини; ее нижняя челюсть немного отвисла, и, спохватившись, она закрыла рот столь энергично, что явственно расслышала стук зубов.

— Мой дорогой барон, — лицо Патрини мгновенно преобразила ослепительная улыбка, — позвольте представить вам моего юного американского друга и обладательницу удивительного таланта мисс Роберту Джеймс. Мисс Джеймс, перед вами барон Уммузеер.

Так, во всяком случае, прозвучало для уха Роберты, имя мужчины. В глубине души она в который уже раз прокляла свою неспособность разобраться хотя бы во французских именах.

— Я очень рада, — вежливо улыбаясь седовласому барону, ответила она. Голос ее при этом был на октаву выше обычного.

Подхватив с мольберта стопку акварелей, Роберта принялась торопливо расставлять их прямо на полу у стены. С неожиданной резвостью к ней на помощь пришел Патрини, и через пару минут галерея превратилась в персональную выставку. Шутка ли — восемь месяцев упорного труда!

В зале воцарилась полная тишина. Барон, заложив руки за спину, неторопливо двигался вдоль стены, надолго останавливаясь перед одними листами и быстро минув другие. Время от времени он одобрительно кивал.

Патрини скромно стоял у окна, спиной к залу, глядя на бесконечный поток машин, наполнявших приглушенным рокотом моторов уютное помещение, пол которого был покрыт толстым ковром.

Замерев напротив рисунка, который Роберта сделала в зоопарке Венсенна — детишки в синих лыжных костюмчиках смотрят на клетку с леопардом, — барон наконец заговорил.

— Никак не могу понять, — глаза его оставались прикованными к листу бумаги, — какой мне нравится больше — этот или тот. — Он медленно сделал несколько шагов и остановился перед эскизом холста для витрины магазина.

— Если позволите, — бесшумно приблизившись к клиенту, выдохнул Патрини, — я выскажу свое мнение. Почему бы вам не забрать домой оба? Всмотритесь в них на досуге и примете решение.

— А леди ничего не будет иметь против? — Барон почтительно повернулся к Роберте.

— Нет, — с трудом сдержав крик, ответила она. — Не будет.

— Вот и отлично. Я пришлю кого-нибудь за ними завтра утром.

Барон отвесил Роберте сдержанный поклон, надел свою великолепную шляпу и вышел в предупредительно распахнутую владельцем галереи дверь.

Не прошло и минуты, как Патрини стремительно вернулся в зал и поднял два выбранных посетителем рисунка.

— Замечательно. Я всегда верил, что в некоторых случаях бывает очень полезно познакомить клиента с художником. — Критическим взором уставившись на выполненную Робертой в студии Раймона карандашную зарисовку обнаженной натуры, он добавил: — А я на пару недель оставлю здесь и это. Если ненароком обронить

несколько слов о том, что барон проявил интерес к вашим работам, то кое-кто из других клиентов тоже захочет взглянуть на них. Как вы, конечно, знаете, барон — очень известный коллекционер.

— Конечно, знаю, — соврала Роберта.

— У него несколько отличных полотен Сутина, есть Матисс и прямо-таки первоклассный Брак. Ну и, естественно, как у всех, Пикассо. Обязательно дам знать, когда он вспомнит о вас.

Где-то зазвонил телефон, и Патрини бросился на звук, унося под мышкой три листа. До слуха Роберты донесся торопливый, неразборчивый шепот — так могли бы общаться профессиональные шпионы.

Постояв в нерешительности пару минут, Роберта собрала свои рисунки, уложила их в портфель и направилась к выходу. У раскрытой двери кабинета Патрини она на мгновение остановилась: тот продолжал что-то шептать в трубку.

— До свидания, мадемуазель, — помахал он пухлой белой рукой.

Безусловно, какая-нибудь более длинная фраза была бы уместнее, ведь сегодня как-никак к ее рисункам впервые проявили настоящий, неподдельный интерес, их даже захотели купить! Но вид Патрини говорил о том, что беседа по телефону может затянуться до полуночи. Бог с ним, он все-таки попрощался. Неуверенно улыбнувшись, Роберта вышла на улицу.

В упавших на город сумерках она легким, радостным шагом шла мимо мерцающих, подобно огромным драгоценным камням, витрин роскошных магазинов — в джинсах, кроссовках и коротенькой, грязно-коричневого цвета курточке, со старым зеленым портфелем под мышкой, этакая пуританочка на фоне разодетых в меха, благоухавших

дорогими пряными ароматами дам, которые представляли собой, так сказать, естественную фауну улицы Фобур-Сент-Оноре. Роберта шла и видела, как по обеим сторонам от нее распахиваются тяжелые двери музеев, как люди толпятся у билетных касс, на стенах которых огромными буквами выписано ее фамилия: *ДЖЕЙМС*. Сейчас, когда она приближалась к Куинни, уже знакомые ей голоса райских птиц звучали еще громче, еще веселее.

Полная суеверных предчувствий, Роберта решила ничего не говорить Ги о знакомстве в галерее. Когда это произойдет, когда рисунок (любой из двух выбранных) будет куплен и пополнит собой коллекцию барона, тогда можно будет объявить о первом успехе и отметить его. Да и как признаться Ги в том, что она не разобрала на слух имени барона и не решилась выяснить его даже после ухода респектабельного господина в фетровой шляпе? Необходимо будет зайти на днях в галерею и, уловив подходящий момент, попросить Патрини произнести его еще раз, по буквам.

Ги сидел перед стаканом ананасного сока в углу просторного, переполненного кафе и с раздражением смотрел на стрелки наручных часов. К тайному разочарованию Роберты, он никогда не пил вина или более крепких напитков. Алкоголь — это проклятие Франции, неоднократно повторял Ги, вино превратило французов во второразрядную нацию. Правда, спиртного Роберта и сама ни разу в жизни не пробовала, но, когда находилась рядом с единственным в стране мужчиной, который в ответ на предложение карты вин просил принести кока-колы, она чувствовала себя обманутой. Уж больно подобная сцена напоминала Чикаго.

Увидев Роберту, Ги не слишком любезно поднялся:

— Что случилось? Я сижу здесь уже целую вечность, пришлось выпить три стакана сока.

— Прости. — Она опустила портфель на соседний стул. — Патрини был ужасно занят.

— Как все прошло? — заметно успокоившись после ее слов, поинтересовался Ги.

— В общем-то не так уж и плохо. — Роберте ужасно хотелось выпалить замечательную новость, но она сдержалась. — Он сказал, что с удовольствием посмотрит, как я работаю маслом.

— Идиот. Все они идиоты! — Ги нервно сжал ее руку. — Да твой Патрини ногти будет грызть от досады, как только ты прославишься. — Он сделал знак официанту: — *Deux jus d'ananas**, — и тут же повернулся к Роберте. — Ну, и каковы же твои намерения?

— Намерения? В отношении тебя?

— Нет. Рано или поздно это само по себе выяснится. Мой вопрос имел более широкий смысл. Каковы твои намерения в жизни?

— А... — Об этом Роберта размышляла давно, но сейчас не знала, как прозвучит ее облеченная в конкретные слова мысль. — Что ж, прежде всего мне бы хотелось стать настоящей художницей. Мне хотелось бы, чтобы люди думали, рассматривая мои картины.

— Хорошо. Очень хорошо! — одобрил Ги, как учитель хвалит подающего надежды ученика. — А еще?

— Хочу, чтобы так прошла вся моя жизнь. Я вовсе не намерена идти по ней на ощупь. Вот уж что ненавижу в своих сверстниках дома! Они не знают, к чему стремиться, не знают, как достичь цели. Они мечутся в потемках.

— На ощупь? — с недоумением повторил Ги. — В потемках? Что ты хочешь этим сказать?

— *Tâtonner***, — пояснила Роберта, с наслаждением воспользовавшись случаем продемонстрировать свои зна-

* Два ананасных сока (фр.).

** Неуверенно (фр.).

ния в области французского. — Мой отец — историк, специализируется на военных кампаниях. Он любит порассуждать о тумане войны, в котором люди бегут куда-то, убивают друг друга, побеждают или проигрывают, и все это — не имея не малейшего представления о том, что именно они делают...

— Да, я нечто подобное слышал.

— Но у меня такое ощущение, что туман войны не идет ни в какое сравнение с туманом юности. Битва при Геттисберге* абсолютно ясна и прозрачна, чего никак не скажешь о душе девятнадцатилетнего человека. Я горю желанием побыстрее выбраться из тумана юности. Хочу стать зрелым и уверенным в себе человеком. Мне не нужны случайности. И отчасти поэтому я приехала в Париж, ведь все вокруг только и говорят о пресловутой французской целеустремленности. Может, я смогу у вас этому научиться?

— Ты считаешь меня целеустремленным?

— Исключительно. Поэтому ты мне так нравишься.

Ги согласно кивнул, глаза его удовлетворенно блеснули из-под густых и длинных черных ресниц.

— Американка, из тебя выйдет божественная женщина! Никогда еще ты не была столь прекрасна! — Перегнувшись через столик, он поцеловал ее хранившую прохладу улицы щеку.

— Какой приятный вечер, — негромко заметила Роберта.

Из кафе они отправились в кинотеатр, где шел неплохой, по словам Ги, фильм, а оттуда — в бистро на Левом берегу ужинать. Перед этим Роберта захотела зайти домой, чтобы оставить портфель и переодеться, но Ги решительно воспротивился.

* Крупнейшее сражение в Гражданской войне США. Произошло в юго-западной части штата Пенсильвания в 1863 г., закончилось убедительной победой северян и считается поворотным пунктом войны.

— Сегодня, — голос его звучал загадочно, — я не могу позволить тебе выслушивать нравоучения Луизы.

Фильм оставил Роберту равнодушной. Афиши жирным шрифтом кричали о том, что молодые люди до восемнадцати лет в зал не допускаются. На входе она почувствовала на себе ироничный взгляд билетера и пожалела, что не прихватила с собой паспорт. Суть картины так и осталась неясной: Роберта с большим трудом понимала французскую речь, если ее воспроизводили не люди, а механизмы: динамики в кинотеатре, радио, телевизор. На экране одна за другой следовали длинные сцены, где в постелях болтали молодые люди, многословные и, по мнению Роберты, непонятно почему совершенно обнаженные. Половину фильма она просидела, прикрыв глаза, вновь переживая события вечера и почти забыв о Ги, который в самые драматические моменты поднимал ее руку и нежно касался губами кончиков пальцев.

Необычно вел себя Ги и во время ужина: долго молчал, что было совершенно на него не похоже, пристально смотрел на Роберту, отчего она начинала нервничать и чувствовать себя как на иголках. Когда же принесли наконец кофе, он откашлялся, взял ее руки в свои и заявил:

— Я решил. Время пришло. Неизбежный момент наступил.

— О чем ты? — встревоженно спросила Роберта, косясь в сторону бармена, с интересом поглядывавшего на них.

— Я говорю с тобой, как взрослый мужчина. Сегодня мы станем любовниками.

— Тсс! — Оглянувшись на бармена, она убрала со стола руки.

— Больше я без тебя не могу. Приятель дал мне ключи от своей квартиры, он поехал в Тур навестить родителей. Квартира совсем рядом, за углом.

Роберта не стала делать вид, будто предложение Ги ее шокировало. Подобно всем приезжающим в Париж невинным девушкам, в душе она была убеждена, или испытывала удовлетворение, или хотя бы смирилась с тем, что покинет этот город уже другой, не такой, как в него прибыла. На протяжении трех последних месяцев она не раз с готовностью ответила бы на это предложение, да и сейчас торжественность и такт, с которыми оно было сделано, приводили ее в восхищение. Однако вновь напомнило о себе то же суеверие, что не позволило Роберте поделиться с Ги подробностями встречи в галерее. Когда определится судьба рисунков, тогда можно будет всерьез подумать о столь желанном в общем-то приглашении. Но не раньше. Сегодняшний же вечер должен быть отвергнут и по иной причине. Когда бы предназначенное судьбой ни свершилось, в одном Роберта не сомневалась: если на ней вульгарные джинсы, ничто не заставит ее вступить в свою первую ночь любви.

Она покачала головой, испытывая чувство досады из-за залившего щеки густого румянца.

— Нет, прошу тебя, — прошептала Роберта. — Не сегодня.

— Почему нет?

— Это... так неожиданно.

— Неожиданно?! Мы встречаемся каждый день уже почти три месяца. А чего ты ждала? К чему ты привыкла?

— Я ни к чему не привыкла, ты ведь знаешь. Прошу, не будем больше об этом говорить. Не сегодня.

— Но сегодня в моем распоряжении есть квартира. В следующий раз приятель может поехать в Тур через год. — Лицо Ги стало обиженным и грустным; впервые за время их знакомства Роберта ощутила, что должна хоть как-то утешить его. Она ласково провела пальцами по его руке.

— Не огорчайся так, ну пожалуйста. Может быть, в следующий раз.

— Предупреждаю, — с достоинством проговорил он, — в следующий раз брать инициативу на себя придется тебе.

— Я возьму ее на себя, — с облегчением сказала Роберта, почувствовав мгновенное разочарование от его неожиданной уступчивости. — А теперь расплатись. Мне завтра рано вставать.

Позже, ворочаясь под тяжелым одеялом на узкой и жесткой постели, Роберта долго не могла заснуть от возбуждения. «Ну и денек выдался, — думала она. — Еще чуть-чуть, и я стану художницей. Еще совсем немного, и я превращусь в женщину». Торжественная значимость фразы заставила ее едва слышно хихикнуть. Затем Роберта обхватила руками плечи, с удовлетворением ощутив под пальцами упругую и гладкую кожу. Если бы сейчас Луиза не спала глубоким сном, она рассказала бы ей все до мельчайших подробностей. Но подруга спала, на фоне противоположной стены виднелись разметавшиеся по подушке локоны, слегка поблескивало лицо, смазанное кремом от морщин, которые появятся лет через двадцать. Роберта с сожалением закрыла глаза. Такой день мог бы длиться и длиться.

Через два дня, войдя в комнату и включив свет, Роберта увидела на своей постели конверт. На нем было написано ее имя. День клонился к вечеру, в комнате было холодно и пусто. Луиза куда-то ушла, исчезла со своего обычного поста и мадам Раффат. Роберта вскрыла конверт. «Дорогая мисс Джеймс, — было написано на лежащем в нем листке, — свяжитесь со мной немедленно. У меня есть для вас важные новости». Внизу стояла подпись: «Патрини».

Роберта посмотрела на часы: ровно пять. Патрини наверняка еще в галерее. Она прошла в гостиную, к телефону. Когда мадам Раффат уходила из дома, телефон-

ный диск запирался на крошечный замочек, но разве не может она хоть раз забыть об этом? Нет, не может. Мадам Раффат никогда и ни о чем не забывает. Замочек оказался на месте. «Ведьма несносная», — трижды повторила про себя Роберта, отправившись в поисках прислуги на кухню. Кухня встретила ее темнотой, и она вспомнила, что сегодня у прислуги выходной.

Черт бы побрал эту Францию! Торопливо спустившись по лестнице, Роберта побежала в кафе на углу. У стойки бара в будочке платного телефона расположился низенький плотный человек. Прижав к уху трубку, он деловито строчил что-то на листе бумаги. Насколько Роберта смогла разобрать в гомоне голосов, мужчина участвовал в какой-то сделке по перевозке товаров: речь шла о свинцовых пломбах. В его манере держаться не было ни малейшего признака того, что разговор скоро закончится. Париж, подумала Роберта. Попробуй-ка найти здесь свободный телефон.

Она бросила взгляд на часы. Четверть шестого. Галерею Патрини закрывал в шесть. Подойдя к стойке, Роберта попросила у бармена стакан красного вина — так, успокоить нервы. Потом придется, конечно, купить пластинку жевательной резинки, чтобы перебить запах вина. В семь у нее встреча с Ги, а слушать долгую лекцию о вреде спиртного ей совсем не хотелось. Зашедшие в бар по окончании рабочего дня люди болтали и громко смеялись, никому не было дела до того, чем от них будет пахнуть сегодня вечером.

Наконец вопрос со свинцовыми пломбами разрешился, мужчина собрал свои бумаги и вышел из будочки. Заняв его место, Роберта опустила в прорезь жетон и набрала номер. Занято. Она вспомнила бесконечную беседу, которую Патрини вел по телефону, и ощутила, что ее начинает охватывать паника. Три новые попытки дозвониться не дали

никакого результата. Стрелки часов показывали двадцать пять минут шестого. Выскочив из будочки, Роберта заплатила за вино и бросилась к станции метро. Предстояло пересечь почти весь город, но другого выбора у нее не было. Всю ночь строить догадки по поводу того, что хотел сказать ей Патрини? Ну уж нет.

Несмотря на ужасный холод, Роберте было жарко, с ее лица градом катил пот, когда она, задыхаясь, поднималась по лестнице к дверям галереи. Без пяти шесть, но в окнах еще горит свет. Осталась на своем месте и лиловая стиральная машина. Роберта решительно вошла в здание. Залы галереи были пусты, однако из кабинета Патрини слышался неясный, таинственный шепот. Кажалось, хозяин галереи так и не закончил начавшийся еще позавчера перед уходом Роберты разговор. Она остановилась, чтобы отдышаться, а затем, сделав несколько шагов, замерла на пороге кабинета. Патрини поднял голову и вяло помахал рукой, продолжая нашептывать что-то в трубку. Роберта вернулась в зал и принялась рассматривать изрядных размеров полотно, где было изображено нечто весьма напоминавшее увеличенные раз в тридцать яйца малиновки. Передышка оказалась весьма кстати: можно было собраться с мыслями. Патрини, по убеждению Роберты, принадлежал к тому типу мужчин, которые неприязненно относятся к бурным проявлениям энтузиазма или благодарности. В тот момент, когда владелец галереи выйдет из своего кабинета, лицо ее должно выразить легкую скуку.

За спиной Роберты послышался негромкий звук положенной трубки. В зал Патрини выкатился абсолютно бесшумно. Он был похож на большого мягкого плюшевого медвежонка.

— Добрый вечер, дорогая мадемуазель. Сегодня утром я звонил по номеру, который вы мне оставили, но

поднявшая трубку женщина сказала, что жильцов с таким именем у нее нет.

— Такова моя квартирная хозяйка.

Это был старый прием мадам Раффат, помогавший ей бороться с «неоправданно частыми, а потому отвратительными» звонками.

— Я хотел сообщить вам вот что. Сегодня сюда заходил барон. Поскольку он так и не смог определить, какой из ваших рисунков нравится ему больше, то решил купить оба.

Чтобы скрыть наверняка появившийся в глазах блеск торжества, Роберта прищурилась: пусть Патрини думает, что ее заинтересовала картина на противоположной стене.

— Вот как? Оба? Что ж, он оказался более тонким ценителем, чем я думала.

Хозяин галереи издал какой-то странный звук, будто подавился, но Роберта его простила. В этот момент она простила бы кому угодно что угодно.

— Он также просил передать, что приглашает вас к себе на ужин сегодня. До семи вечера я должен позвонить его секретарю и сообщить о вашем решении. Предполагаете вы сегодня временем?

Роберта заколебалась. В семь свидание с Ги, а ждать он ее будет на холоде уже без четверти — из-за необъяснимой ненависти мадам Раффат к мужскому полу. Но сомнения были недолгими. «Художник не должен знать жалости, иначе он не художник, — сказала она себе. — Вспомни Гогена. Или Бодлера».

— Пожалуй, да, — небрежно ответила она. — Думаю, что найду время.

— Дом девятнадцать-бис на площади Буа-де-Булонь. Восемь часов. Ни в коем случае не заводите разговор о цене. Предоставьте это мне. Поняли?

— Я никогда не говорю о цене, — легко бросила Роберта, упиваясь своим самообладанием.

— Завтра я помещу вашу обнаженную натуру в витрину у входа.

— Может, загляну.

Роберта понимала, что должна как можно быстрее уйти, она чувствовала: если ей придется сказать фразу, состоящую более чем из пяти слов, вместо человеческой речи Патрини услышит примитивный восторженный вопль. Она повернулась и направилась к выходу. Против всяких ожиданий владелец галереи галантно распахнул перед ней дверь.

— Безусловно, леди, это не мое дело, — сказал он, — но прошу вас, будьте осторожны.

Роберта рассеянно кивнула. Она была готова простить ему даже это. Уже удалившись на значительное расстояние от галереи, она вспомнила, что так и не узнала имени барона. У Пале-Матиньон ее одолели новые проблемы. Одежда Роберта была так, как обычно, для пеших прогулок по мокрому, продуваемым ветрами парижским улицам: куртка, шарфик, юбка из шерсти в крупную клетку и свитер, на ногах — темно-зеленые вязаные чулки и спортивные туфли. Подобный туалет вряд ли подходил для ужина в особняке на Буа-де-Булонь. Но если отправиться домой, то там наверняка уже будет ждать Ги, а объяснить, что она жертвует их свиданием ради ужина в обществе пятидесятилетнего представителя французской знати, Роберта не могла: не хватало мужества. Ги обидится, начнет говорить колкости и доведет ее до слез. Последнее не составляло для него никакого труда, он делал это неоднократно. Нет, явиться на ужин с красными, заплаканными глазами и хлюпающим носом совершенно невозможно. Что ж, барону придется вытерпеть ее зеленые чулки. Уж если человек имеет дело с художниками, он должен считаться с их маленькими чудачествами.

Мысль о стоящем на холоде у ее дома Ги не давала покоя. Роберта знала, что легкие у него слабые, что каж-

дую зиму Ги страдал от острого бронхита. Зайдя в кафе, она попыталась позвонить домой, но к телефону никто не подходил. Луизы вечно нет в тот момент, когда нужна ее помощь, с досадой подумала Роберта. Наверняка завела себе третьего.

Она повесила трубку, положила в карман жетон и задумчиво уставилась на телефон. Можно было бы позвонить домой Ги, но там ей пару раз отвечала его мать высоким, полным раздражения голосом. Эта женщина делала вид, что не понимает французского Роберты. Подвергать себя такому оскорбительному отношению сегодня вечером не хотелось. Придется отложить проблему с Ги на завтра. Роберта вышла из кафе и под противным мелким дождем уверенным шагом направилась к Елисейским полям, выбросив из головы Ги. Когда человек любит, ему приходится иногда терпеть боль.

Площадь Буа-де-Булонь оказалась довольно далеко. Было уже пятнадцать минут девятого, когда, описав совершенно немислимую петлю, Роберта все же нашла ее. Дом девятнадцать-бис представлял собой угрожающих размеров замок, перед которым стояли роскошный «бентли» и несколько автомобилей поменьше. Рядом болтали двое или трое шоферов. Присутствие в особняке и других гостей удивило Роберту. В тоне предупреждавшего ее об осторожности Патрини было нечто такое, от чего в воображении предстал маленький уютный кабинет с накрытым на двоих столом, за который барон посадит свою юную протезе. По дороге Роберта со всех сторон обдумала варианты развития событий и решила при любых, даже самых неожиданных поворотах сохранять чисто парижское присутствие духа. Она была уверена, что справиться с пятидесятилетним мужчиной вне зависимости от того, сколько рисунков он купил, будет не так уж сложно.

Продрогшая Роберта нажала на кнопку звонка. Дверь открыл дворецкий в белых перчатках. Он смотрел на нее

так, будто отказывался верить собственным глазам. Роберта ступила в высокий сводчатый вестибюль со множеством зеркал, стащила с плеч мокрую куртку и вручила ее вместе с шарфиком дворецкому.

— *Dites au Baron que Mademoiselle James est là, s'il vous plaît**, — сказала она, однако он продолжал в изумлении стоять, опасливо держа в вытянутой руке ее куртку. Тогда Роберта резко добавила: — *Je suis invitée à dîner***.

— Да, мадемуазель, — ответил дворецкий и повесил куртку в стороне, так, чтобы микробы, находившиеся на ней, не перекинулись на полдюжины норковых шуб. Выходя из вестибюля, дворецкий плотно прикрыл за собой дверь.

Роберта приблизилась к зеркалу и, торопливо действуя расческой, попыталась привести в порядок напоминающие войлок клочья волос, но в этот момент на пороге распахнувшейся двери появился барон. Одетый в строгий смокинг, при виде гостыи он на какую-то долю секунды замер, но тут же тепло улыбнулся и проговорил:

— Очаровательно! Очаровательно! Очень рад, что вы смогли прийти. — Барон склонился и церемонно поцеловал Роберте руку, успев при этом рассмотреть промокшие туфли. — Надеюсь, мое приглашение не застало вас врасплох.

— Нет, но если бы я знала, что буду здесь не одна, то наверняка выбрала бы другую обувь, — чистосердечно призналась Роберта.

Барон расхохотался и крепко стиснул ее руку.

— Чепуха! Вы великолепны такая, какая вы есть. А сейчас, — он заговорщически взял Роберту под локоть, — преж-

* Доложите, пожалуйста, барону, что пришла мадемуазель Джеймс (фр.).

** Я приглашена на ужин (фр.).

де чем мы присоединимся ко всей компании, позвольте кое-что показать вам.

По отделанному деревянными панелями коридору хозяин провел ее в гостиную, где в небольшом камине пылал огонь. На противоположной стене в изящных рамках висели две написанные Робертой акварели, разделенные карандашным эскизом великого Матисса. Другая стена была отдана Сутину.

— Вам нравится? — обеспокоенно спросил барон.

Если бы Роберта сказала, какие чувства испытывает она, видя свои рисунки в окружении шедевров подлинных мастеров, то ее слова прозвучали бы как заключительные аккорды Девятой симфонии.

— Здорово, — кратко ответила она. — По-моему, здорово.

Лицо барона исказила мгновенная, почти невидимая гримаса, как если бы что-то вдруг доставило ему физическую боль. Достав из нагрудного кармана сложенный вдвое чек, он непринужденным движением вложил его в руку Роберты.

— Надеюсь, сумма не покажется вам смехотворной. Я обсудил ее с Патрини. О его комиссионных не беспокойтесь, все улажено.

С трудом отведя взгляд от акварелей, Роберта развернула чек. Первым делом она посмотрела на подпись: нужно же наконец выяснить имя барона. Однако разобрать ломаные, прыгающие буквы его почерка оказалось невозможным. При виде же проставленной на чеке суммы у Роберты расширились глаза. Двести пятьдесят новых франков! Это более пятисот долларов. Отец ежемесячно присылал ей сто восемьдесят, и их как-то хватало. «Я готова прожить во Франции целую вечность, — подумала Роберта. — Господи!»

Она почувствовала, что бледнеет; рука, державшая чек, заметно подрагивала.

— Что-нибудь не так? — с тревогой спросил барон. — Мало?

— Что вы! О такой сумме я даже не мечтала!

— Купите себе новое платье. — Окинув взглядом ее клетчатую юбку и старый свитер, барон решил, что слова его могли прозвучать довольно обидно, и тут же попытался исправить положение: — То есть поступайте с этими деньгами так, как вам заблагорассудится. А сейчас, — он вновь взял Роберту под локоть, — думаю, нас уже заждались. Но помните, если вам захочется взглянуть на свои рисунки, просто дайте мне об этом знать по телефону.

Барон учтиво провел Роберту в салон — просторный зал с развешанными по стенам картинами. Брак, Синьяк, Руо, с восхищением узнавала она. Меж предметов бесценной обстановки с изяществом двигались пары довольно пожилых, одетых в смокинги мужчин и стройных женщин, на обнаженных шеях которых поблескивали бриллианты. Негромкий, но оживленный гул голосов создавал ту волнующую, предпраздничную атмосферу, что в избранном парижском обществе достигает пика минут за пять до начала ужина.

Хозяин дома представил Роберту множеству людей, чьих имен она никогда не смогла бы повторить. Дамы дарили ее благосклонными улыбками, мужчины целовали руку. Складывалось впечатление, что для тех и других было самым обычным делом приветствовать американскую девчонку, явившуюся на званый ужин в зеленых чулках и спортивных туфлях. Двое или трое старцев весьма одобрительно отозвались об акварелях, естественно, на английском, а одна дама сказала:

— Чрезвычайно ободряет то, что американцы опять начинают писать подобным образом.

Фраза эта показалась Роберте несколько двусмысленной, но в конце концов она решила воспринять ее как похвалу.

Затем как-то вдруг Роберта оказалась в углу, рука ее сжимала бокал почти бесцветной жидкости. Барон отошел куда-то — видимо, встретить нового гостя, и она осталась в одиночестве: группы беседовавших людей распались и тут же возникали вновь. Взгляд Роберты был устремлен прямо перед собой, она считала, что если не смотреть вниз, то удастся забыть о своем туалете. А не даст ли спиртное возможности почувствовать себя в платье от Диора? Сделав храбрый глоток из бокала, Роберта ощутила совершенно незнакомый вкус и инстинктивно осознала, что впервые попробовала мартини. Напиток не понравился ей, но она все же допила его — во всяком случае, это было хоть каким-то занятием. Проходивший мимо с подносом официант предложил ей второй. Теперь Мартини уже не вызвал никаких неприятных ощущений. Спортивные туфли удивительным образом на глазах превращались в элегантные творения Манчини, а блестящие гости хотя и стояли к Роберте спиной, но говорили, безусловно, лишь о ней и в самом восторженном тоне.

Потребовать у официанта третий бокал Роберта не успела: всем предложили пройти в столовую. На длинном, покрытом кружевной скатертью столе со множеством бутылок горели свечи. «Об этом я должна обязательно написать маме, — подумала она, заметив на тарелке у самого края стола карточку со своим именем. — Я и французское общество. Как Марсель Пруст».

Соседом Роберты оказался пожилой лысый мужчина, который один раз ей улыбнулся, а потом и головы не повернул в ее сторону. Напротив сидел такой же плешивый господин, на протяжении всего ужина увлеченно беседовавший с дородной блондинкой. Барон занял место по центру стола, он бросил на Роберту дружелюбный, ободряющий взгляд и занялся другими гостями.

Выпитые бокалы мартини лишили для Роберты оживленную французскую речь почти всякого смысла, и через некоторое время она почувствовала себя как на необитаемом острове.

Из оцепенения ее вывел шепот склонившегося к уху официанта. Не разобрав ни слова, Роберта решила, что он пытается дать ей номер своего телефона.

— Comment?* — слишком громко, рассчитывая смутить его, спросила она.

— «Монтраше», mil neuf cent cinquante-cinq**, — повторил официант.

Вино оказалось удивительно вкусным, и, поедая холодного омара, Роберта выпила целых два бокала. У нее проснулся зверский аппетит. Неудивительно, ведь таких блюд она в жизни не пробовала. Однако удовольствие от изысканных яств портила нарастающая где-то внутри волна враждебности к сидевшим за столом гостям: на Роберту обращали внимания не больше, чем если бы она в одиночестве жевала сосиску где-нибудь в бистро на бульваре.

За омаром последовал суп, затем принесли фазана, на смену «монтраше» официанты разливали теперь «шато-лафит» двадцать восьмого года. Роберта с некоторым пренебрежением смотрела на гостей барона: за столом не было видно ни одного человека моложе сорока. «Что я делаю в этом доме для престарелых?» — подумала она, наблюдая за тем, как официант осторожно накладывал в ее тарелку вторую порцию фазана со смородиновым желе. Превосходная еда только разжигала исподволь зародившуюся злость. Эти галльские мещане, эти биржевые дельцы с их увещанными драгоценностями женами не заслуживают высокой чести находиться в обществе художника. Ее посадили с краю стола, чтобы накормить благотворительным ужином, и все —

* Здесь: Что? (фр.).

** Тысяча девятьсот пятьдесят пятый год (фр.).

ни взгляда, ни слова. Неизвестно почему, но Роберта была уверена: все присутствовавшие здесь мужчины были самодовольными биржевыми дельцами. Пережевывая кусочек фазаньей грудки, она с отвращением осознавала, насколько нелепо выглядит в своих зеленых чулках, с торчащими волосами. Неимоверным усилием воли Роберта заставила себя вслушаться в застольные разговоры. Обостренное презрением к соседям по столу языковое чутье помогло разобрать отдельные фразы. Кто-то говорил о том, что дождливое лето убило все надежды на недавно открывшийся охотничий сезон. Кто-то считал необходимым пойти в Алжире на самые крайние меры. Кого-то разочаровала пьеса, названия которой Роберта не расслышала, но она поняла, что второй акт сочли настоящим провалом. Дама в длинном белом платье рассказывала о своих американских друзьях, по чьим словам, президент Кеннеди окружил себя исключительно коммунистами.

— Какая чушь! — громко заявила Роберта, но в ее сторону не повернулся никто.

Она доела фазана, выпила еще бокал вина и задумалась. В голову закралось страшное подозрение: может, она просто не существует? Интересно, какие слова доказали бы присутствовавшим то, что девятнадцатилетняя художница все-таки еще жива? Похоже, здесь требуется нечто потрясающее. Мысленно Роберта попробовала произнести несколько вступительных фраз: «Только что кто-то упомянул президента Кеннеди. Волею судеб я нахожусь в достаточно близких отношениях с его семьей. Думаю, многие из сидящих за столом знают о планах президента к августу вывести из Франции все американские войска». Такая новость заставила бы их поднять на пару секунд головы от тарелок.

Хотя, вероятно, уместнее будет произнести что-нибудь более личное, скажем: «Должна извиниться за се-

годняшнее опоздание, мне звонили из нью-йоркского Музея современного искусства по поводу приобретения нескольких моих картин, но я им отказала. Хочу дождаться персональной выставки, она состоится в самое ближайшее время».

«Снобы, — решила Роберта, бросая гневные взгляды по сторонам. — Но готова поспорить, что *это* проняло бы жующих гостей».

Разумеется, она продолжала хранить молчание, запертая в ловушку своей вызывающей юности, более чем скромного одеяния и абсолютно беспомощной робости. Пруст, с горьким сарказмом подумала Роберта. Высшее общество!

Однако дух ее продолжал бунтовать. Глядя поверх хрустального бокала на гостей, рассуждавших об охоте, театральных премьерях и коммунистах в окружении президента, Роберта находила их поведение чересчур легкомысленным и фальшивым. Наибольшее отвращение вызывало у нее тщательно выбритое, холеное лицо благоухавшего дорогой туалетной водой хозяина дома. «Знаю, знаю, чего ты хочешь, — едва слышно пробормотала она в бокал, — вот только ни черта ты не получишь».

Стоявшая перед ней тарелка вновь оказалась наполненной. Роберта с удовольствием занялась едой.

Она ощущала нарастающее в груди чувство ненависти к барону. Сюда этот выскочка пригласил ее для того, чтобы позабавить своих друзей, а акварели повесил рядом с Матиссом и Сутином просто в насмешку. Через пять минут после того, как Роберта уйдет, он прикажет дворецкому в белоснежных перчатках перевесить рисунки в подвал, на чердак, в ванную для прислуги — туда, где они и должны быть.

Внезапно перед глазами Роберты проплыл образ преданного Ги, стоящего под холодным морозящим дождем у

дверей ее дома. При мысли о том, насколько лучше он расфранченных бездушных пустозвонов, сидящих с ней за одним столом, захотелось плакать. Как чиста его любовь, как глубоко его уважение, каким счастливым могла бы она его сделать легким, так сказать, движением мизинца! Роберта чувствовала, что совершает преступление, продает свою бессмертную душу, оставаясь здесь, перед тарелкой нежнейшего пюре из каштанов и бокалом «бордо».

Она поднялась. Стул от ее резкого движения непременно упал бы, если бы его услужливо не подхватил стоявший у стены мужчина в белых перчатках. За столом воцарилась полная тишина, взгляды гостей были прикованы к Роберте.

— Очень прошу извинить меня, — обратилась она к барону, — но я срочно должна позвонить.

— Конечно же, дорогая моя. — Он встал, подав другим знак не следовать его примеру. — Анри проведет вас к телефону.

С деревянным лицом к Роберте приблизился официант. Роберта выпрямилась, гордо подняла голову и последовала за ним. На полированном паркете ее мокрые туфли издавали негромкий чавкающий звук. Оказавшись за дверьми, Роберта сказала себе, что никогда больше не войдет в этот дом, не увидит этих людей. Выбор сделан. Окончательный выбор.

— *Voilà, Mademoiselle*, — проговорил официант, подводя ее к стоявшему в углу гостиной инкрустированному столику с телефоном. — *Désirez-vous que je compose le numéro pour vous?**

— Нет, — холодно ответила она по-французски. — Я сделаю это сама.

Дождавшись, когда официант выйдет из комнаты, Роберта набрала домашний номер Ги. Она считала раздавав-

* Вот, мадемуазель. Желаете, чтобы я набрал для вас номер?

шиися в трубке гудки и смотрела на противоположную стену, где висели ее акварели. Выглядели они бледными и лишенными хотя бы намека на какое-то своеобразие. Вспомнилось воодушевление, с которым она ступила в эту гостиную вместе с бароном. «Меня качает, как обычный маятник, — подумала Роберта. — Классический случай маниакально-депрессивного психоза. Будь я родом из состоятельной семьи, меня наверняка отправили бы к психиатру. Художница! Снять к черту синие джинсы и посвятить себя чисто женским заботам, научиться делать мужчину счастливым. И ни глотка спиртного впредь!»

— Алло! Алло! — послышался в трубке раздраженный женский голос.

Стараясь говорить как можно отчетливее, Роберта спросила, дома ли Ги. Его мать в очередной раз притворилась, что не понимает, поэтому Роберте пришлось повторить вопрос дважды. После краткой паузы женщина уже с гневом ответила, что да, сын ее дома, но подойти к телефону не может, поскольку простудился и лежит с высокой температурой. Роберте показалось, что трубку на том конце вот-вот положат. Необходимо было успеть сделать еще одну попытку.

— Что? Что? Кто говорит? — прозвенел в ее ухе яростный вопль.

Роберта хотела объяснить, что будет дома через час и если к тому времени Ги найдет в себе силы выбраться из постели, то пусть перезвонит ей. Но тут в трубке послышались неясные отголоски криков, принадлежавших, сомнений тут не было, мужчине. Затем раздалось какое-то сопение: похоже, возле телефона развернулась настоящая борьба. Наконец провода донесли до нее голос Ги:

— Роберта? С тобой все в порядке? Что случилось?

— Я — подлая сучка, — прошептала она. — Прости меня.

— Забудь. Где ты находишься?

— В окружении несносных и мерзких людей. Получила по заслугам. Вела себя как последняя идиотка.

— Адрес? Назови мне адрес!

— Девятнадцать-бис на площади Буа-де-Булонь. Очень жаль, что ты заболел. Я хотела встретиться и сказать тебе...

— Оставайся там. Буду через десять минут.

Откуда-то издали вновь послышалась гневная скороговорка его матери, затем трубку положили. Несколько мгновений Роберта постояла в гостиной, ощущая, как боль в душе отступает, испугавшись, по-видимому, наполненного уверенностью и силой голоса любви. «Я должна заслужить его, — с религиозной горячностью подумала Роберта о Ги. — Мне еще только предстоит заслужить его».

Она сделала пару шагов и остановилась перед акварелями. Хотелось стереть, замазать на бумаге свою подпись, но листки находились под стеклом.

Роберта прошла в вестибюль, надела куртку и повязала на голову шарф. Особняк казался ей вымершим. Не было рядом дворецкого, плотно закрытые двери служили надежной преградой явно обсуждавшим ее поведение голосам в столовой. Она бросила последний взгляд на зеркала, мрамор стен, на мягко искривившиеся меха. «Все это не для меня, — без всякого сожаления подумала Роберта. — Завтра нужно будет узнать у Патрини имя барона и послать ему дюжину роз с извинениями за свои дурные манеры. Интересно, оказывалась ли в таком положении мать, когда ей было девятнадцать?»

Роберта беззвучно открыла дверь и вышла на улицу. Дорогие автомобили терпеливо ждали своих хозяев, у фонарного столба стояла группа шоферов — меланхолических слуг знати. Прислонившись к кованой металлической ограде особняка, Роберта с жадностью вдыхала прохладный и сырой воздух парижской ночи. Очень скоро она

продрогла, однако, желая наказать себя за часы, которые Ги провел в одиночестве у ее двери, не делала никаких попыток согреться.

Рокот мотоцикла раздался куда быстрее, чем можно было рассчитывать. По узкой улочке, что вела к площади, стремительно приближался Ги. Роберта ступила в круг падавшего от фонаря света и, как только мотоцикл в двух шагах от нее остановился, бросилась на шею Ги, забыв о наблюдавших за сценой шоферах.

— Спасибо тебе, спасибо! — прошептала она. — Забери меня отсюда скорее!

Ги прижал ее к себе, нежно поцеловал в щеку. Затем помог Роберте устроиться на заднем сиденье, сел за руль и тронул мотоцикл с места. Они пересекли авеню Фош и по пустынному бульвару помчались в сторону Триумфальной арки, смутно видневшейся где-то впереди сквозь пелену густого тумана.

Обеими руками Роберта крепко держалась за талию Ги и шептала в воротник его куртки, слишком тихо, чтобы он мог расслышать:

— Я люблю тебя, я люблю тебя...

Она испытывала ощущение восхитительной чистоты, какое бывает у человека, избежавшего чудовищного грехопадения.

Уже неподалеку от площади Звезды Ги сбросил скорость и слегка повернул голову.

— Куда? — с напрягшимся лицом спросил он.

Роберта заколебалась.

— А ключи от квартиры приятеля у тебя по-прежнему с собой? Ну, того, что уехал в Тур?

Ги с такой яростью крутанул ручку газа, что мотоцикл подпрыгнул, и только каким-то чудом обоим удалось сохранить равновесие.

Направив мотоцикл к бровке, он остановил машину и повернулся к Роберте. На долю мгновения ей показалось, что спутник ее напуган.

— Ты пьяна?

— Уже нет. Так ключи у тебя есть?

— Нет. — Ги с отчаянием покачал головой. — Он вернулся два дня назад. Что будем делать?

— Можно снять номер в гостинице, — неожиданно предложила Роберта. — Разве нет?

— В какой гостинице?

— В любой, куда нас пустят.

— Ты отдаешь себе отчет в том, что собираешься сделать? — Ги стиснул ее руку чуть выше локтя.

— Конечно, — улыбнулась Роберта. Отвечать на его вопросы было для нее наслаждением, это помогало забыть о безрассудном вечере. — Я же сказала тебе, что возьму инициативу на себя. Вот она, моя инициатива.

Губы Ги дрогнули:

— Американка, ты великолепна!

Роберта ждала поцелуя, но Ги, похоже, боялся зайти слишком далеко — здесь, на мокрой, промозглой улице. Он выпрямился, отталкиваясь от асфальта ногой и включая газ. Мотоцикл мягко тронулся. Сейчас Ги правил с осторожностью человека, везущего по неверной горной дороге груз бесценного фарфора.

Они проехали восемь парижских округов, осматривая отель за отелем, но ни один из них не привлек Ги своим видом. Заметив очередной, он начинал колебаться, что-то бормотать, потом качал головой и проезжал мимо. Роберта и не подозревала, что в Париже столько гостиниц. Она ужасно замерзла, но молчала. В конце концов, это город Ги, к тому же никакого опыта в подобных делах у нее нет. Если он имел какое-то представление о том, каким должно выглядеть их первое гнездышко, она без жалоб готова кружить по улицам до самого утра.

Выехав по мосту Александра III к Дому инвалидов, Ги направил мотоцикл в лабиринт узких, плохо освещенных улочек, где за высокими стенами прятались внушительные особняки. Но и здесь на каждом шагу виднелись вывески гостиниц: больших и маленьких, роскошных и скромных, ярко расцвеченных неоном и дремавших в тусклом свете уличных фонарей. Мотоцикл несся дальше.

Наконец они очутились в тех кварталах Парижа, где Роберта не была еще ни разу. Неподалеку от авеню де Гобелен, на улочке, застроенной едва ли не трущобами, Ги остановился. Рядом сквозь туман можно было различить через одну светившиеся буквы, из которых складывалось название: отель «Кардинал». Чуть ниже облезшей краской было выведено: «Полный комфорт». Память о каком кардинале увековечивало здание, нигде не сообщалось.

— Вот оно, — сказал Ги. — Я слышал об этом местечке от друга. Здесь должно быть очень уютно.

С трудом двигая затекшими руками и ногами, Роберта ступила на тротуар.

— Выглядит довольно мило, — с притворным воодушевлением заметила она.

— Если ты посторожишь машину, я найду и улажу все формальности.

Ги старался не смотреть Роберте в глаза. У входа в отель он ощупал лежавший в кармане бумажник, как сделал бы человек, прибывший на стадион и опасавшийся карманных воришек.

Роберта по-хозяйски положила ладонь на переднее сиденье мотоцикла, мысленно пытаясь подготовиться к предстоящему. Сейчас она с удовольствием выпила бы martini. Не давал покоя засевавший в голове вопрос: неужели в номере будет зеркальный потолок, а стены расписаны нимфами в духе Ватто? Париж не открыл еще

Роберте всех своих тайн, но слышать об этом ей уже приходилось.

«Постараюсь вести себя без кокетства, с достоинством и весело, — сказала она себе. — Пусть первый опыт оставит мне лишь лирические воспоминания».

Переговоры с портье задержали Ги, а стоять на улице в одиночестве было противно. Роберту беспокоила не мысль о занятиях любовью, а то, с каким выражением на лице она пройдет мимо дежурного. В фильмах, на которые ее водил Ги, для семнадцати-восемнадцатилетних девчонок такой проблемы не существовало. Грациозные, как пантеры, страстные, как Клеопатра, они ложились в постель с естественностью крестьянки, накрывающей стол для завтрака. Само собой, все они были француженками, и это здорово им помогало. Что ж, Ги тоже француз. Это успокаивало. Впервые за несколько месяцев Роберта пожалела, что Луизы нет рядом, что она так и не задала подруге вертевшиеся на языке вопросы, когда та поздней ночью возвращалась домой, возбужденная, распираемая желанием поболтать.

Из дверей отеля появился Ги:

— Все в порядке. Мне разрешили даже закатить мотоцикл на ночь в вестибюль.

Он принялся толкать довольно тяжелую машину по ступенькам ко входу. Роберта двигалась следом, размышляя, не стоит ли помочь ему: уж слишком натужные вздохи вырывались из груди Ги.

Тесный вестибюль освещала всего одна лампа, стоявшая на столе портье, пожилого мужчины с редкими седыми волосами. Он смерил Роберту мгновенным, всезнающим взглядом, негромко бросил *soixante-deux**, протянул Ги ключ и вновь погрузился в чтение газеты.

* Шестьдесят второй (*фр.*).

Лифта в отеле не было, на третий этаж пришлось подниматься по крутой и узкой лестнице. Ступени покрывала вытертая ковровая дорожка, от которой исходил слабый запах пыли. С замком номера возникли проблемы, и, ковыряясь в нем ключом, Ги бурчал под нос едва слышные проклятия. Наконец послышался долгожданный щелчок, дверь распахнулась, и Ги включил свет. Взяв Роберту за руку, он потянул ее в комнату.

Потолок оказался самым обыкновенным, не видно было и нимф на стенах. Обстановка маленького дешевого номера состояла из простой медной кровати, желтого деревянного кресла, покрытого ветхой хлопковой скатертью стола и невысокой ширмы в углу, стыдливо прикрывавшей фаянсовое биде. Одиноко свисавшая с потолка голая лампочка заливала комнату безжизненным светом. В номере царил ужасный холод, холод беспощадных зим, навечно пропитавший покрытые пятнами стены.

— Ох, — выдохнула Роберта.

Ги обнял ее за плечи.

— Прости меня. Я забыл прихватить деньги, а в карманах было всего семьсот франков — старых франков.

— Ничего страшного, — отозвалась Роберта и слабо улыбнулась. — Ничего страшного.

Сняв куртку, Ги бросил ее в кресло.

— В конце концов это всего лишь место. Стоит ли переживать по поводу места? — Не глядя на Роберту, он попытался дыханием отогреть красные, замерзшие на ветру руки. — По-моему, тебе нужно раздеться.

— После тебя, — почти автоматически откликнулась она.

— Дорогая Роберта, всем известно, что в такой ситуации первой раздевается девушка.

— Но не я. — Роберта уселась в кресло, прямо на куртку Ги.

Вести себя без кокетства, с достоинством и весело оказалось не так просто.

Ги стоял рядом и тяжело дышал, губы его посинели от холода.

— Хорошо, я готов уступить тебе. Но только один раз. Обещай, что не будешь смотреть.

— У меня нет никакого желания смотреть.

— Подойди к окну и встань ко мне спиной.

Роберта подчинилась. Дырявые шторы пахли так же, как ковровая дорожка на лестнице, — пылью. За спиной слышался негромкий шорох снимаемой одежды. «Господи, — подумала она, — кто же мог знать, что все будет так банально и просто?» Секунд через двадцать скрипнула кровать.

— Можешь обернуться, — сказал Ги, лицо его на сероватой наволочке выглядело изможденным и темным. — Теперь твоя очередь.

— Поверни голову к стене, — сказала Роберта.

Убедившись, что Ги выполнил просьбу, она быстро разделась, аккуратно сложив свою одежду, и скользнула под одеяло. Ги лежал, вжимаясь в стену, его сотрясала дрожь. Роберта не прикоснулась к нему.

Но вот он решительно повернулся к ней, так же, впрочем, избегая прикосновений.

— Черт, а свет-то не выключили.

Оба уставились на тусклую лампочку, напоминавшую бдительный глаз ночного портье.

— Это ты забыла, — укоризненно сказал Ги.

— Да, знаю, — ответила Роберта.

— Так выключи.

— Вставать я не буду.

— Но ты же была последней.

— Ну и что?

— Это нечестно.

— Честно или нечестно, из-под одеяла я не вылезу.

У Роберты появилось странное ощущение, что слова эти она уже когда-то произносила. В памяти всплыл небольшой летний домик на берегу реки: ей шесть лет, и она яростно спорит с братом, который на два года младше. Далекое воспоминание пробудило в ней неясную тревогу.

— Но ведь ты лежишь с краю, мне придется перебираться через тебя.

На мгновение Роберта задумалась. Мысль о том, что он прикоснется к ней, пусть даже случайно, на свету, обжигала.

— Не двигайся, — сказала она, резко отбросила одеяло и одним прыжком оказалась у двери.

Щелкнув выключателем, Роберта мгновенно нырнула в постель.

Ги трясло так, что дрожь начала передаваться и ей.

— Прости, у меня уже просто нет сил, — выговорил он, поворачиваясь к Роберте лицом.

Почувствовав на плече его ледяную руку, она сделала судорожный вдох и непроизвольно отстранилась. Но куда страшнее оказалось услышать мужской плач. Вытянувшись в струнку, Роберта с ужасом ждала, когда рыдания прекратятся.

— Я... Я не виню тебя за то, что ты отодвинулась, — проговорил, справившись наконец с собой, Ги. — Все должно было быть совсем по-другому. Мне стыдно за свою неловкость, за то, что я сваял дурака. Поделом! Ведь я три месяца врал тебе...

— Врал? — спокойно переспросила Роберта. — Что ты имеешь в виду?

— Я просто надул тебя. — После рыданий голос Ги совсем сел. — Никакого опыта у меня нет, и я вовсе не будущий инженер. Я учусь в лицее, и мне всего шестнадцать лет.

— О! Зачем же тебе все это понадобилось?

— Но в противном случае ты бы на меня и не посмотрела! Разве не так?

— Так. — Роберта раскрыла глаза, ведь нельзя же в самом деле пролежать с закрытыми глазами целую вечность.

— Если бы здесь не стоял такой холод, — всхлипнул Ги, — если бы не нищенские семьсот франков, ты бы ни о чем не узнала.

— Но теперь я все знаю.

«Ничего удивительного, что он пил только сок, — подумала она. — Какой же неосторожной я была! Неужели я никогда не повзрослею?»

Ги сел в постели.

— Наверное, будет лучше, если я отвезу тебя домой, — надломленным, лишенным надежды голосом с трудом выговорил он.

Роберте очень хотелось домой. Она с тоской подумала о своей узкой девичьей кровати. Спрятаться бы сейчас под теплое одеяло, чтобы утром все начать заново — всю жизнь! Но разве сможет она забыть испуганный голос заблудившегося мальчика?

— Ложись, — нежно сказала она.

Помедлив, Ги улегся, все так же вжимаясь в стену. Роберта обняла его, и он положил голову на ее плечо, касаясь губами нежной и тонкой шеи. Всхлипнул. Она прижала Ги к себе. Через несколько минут оба согрелись. Ги сделал глубокий вдох и провалился в сон.

Погрузившись в чуткую дрему, Роберта то и дело просыпалась, каждой клеточкой ощущая доверчиво прильнувшее к ней стройное и теплое мальчишеское тело. В эти мгновения она почти с материнской жалостью целовала макушку Ги.

* * *

Утром Роберта осторожно, не потревожив спящего, выбралась из-под одеяла и бесшумно оделась. Подошла к окну, раздвинула шторы. За окном всюду светило солнце. Ги спал, лежа на спине, лицо его было счастливым и по-детски беззащитным. Кончиками пальцев Роберта с нежностью провела по его лбу. Ги раскрыл глаза.

— Уже утро, — сказала она. — Вставай, не стоит опаздывать в лицей.

На лице Ги появилась несмелая хмурая улыбка. Усевшись в постели, он принялся натягивать на себя одежду. Роберта с интересом наблюдала.

Вниз они спустились вместе. За столиком по-прежнему сидел ночной портье. Занятый своими мыслями, он едва кивнул обоим. Роберта ответила на приветствие без всякого смущения и помогла Ги выкатить мотоцикл на улицу. Через десять минут они уже были возле ее дома. Ги остановил мотоцикл. Стоя на тротуаре, он не знал, что сказать. Пару раз он попытался выдать нечто вроде «ну, я...» или «как-нибудь нужно будет...», а потом, нервно сжимая рукоятку тормоза и упершись взглядом в асфальт, проговорил:

— Ты меня ненавидишь?

— Нет, конечно. Это была лучшая ночь в моей жизни, — ответила Роберта.

Пора, пора, решила она, взрослеть и набираться осторожности.

Ги неуверенно поднял голову, опасаясь увидеть в глубине ее глаз насмешку.

— Я смогу еще встретиться с тобой?

— Разумеется. Сегодня вечером, как обычно.

— Господи, если я не уберусь сейчас отсюда, то меня опять развезет.

Роберта поцеловала его в щеку. Ги лихо вскочил в седло, и мотоцикл рванул по улице, унося в городской лабиринт своего беспечного, презирающего опасности седока.

Проводив его взглядом, Роберта вошла в дом. Движения ее были спокойными и женственными, невинными и полными тихой радости. Она поднялась по темной лестнице на третий этаж, вставила в замочную скважину ключ и какое-то мгновение помедлила. Вот оно, твердое решение: никогда, *никогда* она не скажет Луизе, что Ги всего шестнадцать лет.

Издав негромкий смешок, Роберта повернула в замке ключ и вошла.

ЛЮБОВЬ НА ТЕМНОЙ УЛИЦЕ*

Ночь — время для звонков за океан. В чужом городе после двенадцати ночи мысли человека уносятся на другой континент, он вспоминает родные, теперь такие далекие голоса, считает разницу во времени (в Нью-Йорке восемь, горят фонари, такси — бампер к бамперу), он обещает себе сэкономить на сигаретах, на ресторанах и пиве ради роскоши кратких моментов общения через три тысячи миль.

Николас Тиббел с книгой в руках сидел в квартире на узенькой улочке неподалеку от бульвара Монпарнас, но ему было не до чтения. Не давало спать беспокойство, хотелось пива, однако мысль о том, что ради этого придется еще раз выйти на улицу, внушала отвращение. Конечно, пиво следовало купить заранее, но днем Николас как-то не подумал об этом. Квартирка, которую он снял у немца-фотографа на полгода, состояла из двух мерзких, со скудной мебелью комнат, где по стенам висели снимки худосочных обнаженных женщин, принявших по воле немца весьма рискованные позы.

Тиббел старался как можно меньше времени проводить в своем жилище. Через шесть месяцев компания,

* Love on a Dark Street. © 2001. Ю.Г. Кирьяк. Перевод с английского.

где он работал, огромный химический концерн, который вел дела по обе стороны Атлантики, решит, остаться ему в Париже или вновь собирать чемоданы. Если придется остаться, необходимо будет подыскать более приличное жилье. Квартира была для Тиббела лишь ночлежкой. Сейчас он пытался отогнать царапающую душу тоску по дому, которая ночами частенько посещала его в безобразной гостинной.

Слушая рассказы живших в Париже молодых американцев, Тиббел никогда не задумывался о том, сколько одиноких, наполненных неясным томлением ночей ждет его там. Будучи робким в общении с девушками и не умея поддержать компанию мужчин, он открыл для себя, что робость и неловкость запросто пересекают границы, не считаясь ни с какими таможенными ограничениями. Человек, неприметный в Нью-Йорке, не привлекал внимания и в Париже. Всякий раз после скромного ужина с книгой вместо сотрапезника Тиббел — аккуратная прическа, чистенький костюм, полные наивного удивления голубые глаза — отправлялся по Сен-Жермен-де-Пре, останавливаясь у каждого уличного кафе. Казалось, еще одна ночь, и его заметит какая-нибудь группа беспечной молодежи, им восхитятся, его оценят и позовут с собой. Тогда и начнутся его приключения, сулящие восхитительную свободу, в клубе «Эпи» и полных сладкого греха крошечных гостиницах зеленых пригородов.

Но ночь эта так и не приходила. Лето уже закончилось, а Тиббел был все так же одинок, все так же пытался читать у открытого окна, вслушиваясь в приглушенный шум жизни огромного города, вдыхая слабые запахи речной воды и пыльной сентябрьской листвы. Мысль о сне даже после полуночи пугала своей безысходностью.

Закрыв книгу («Мадам Бовари» — ради совершенствования в чужом языке), Тиббел подошел к окну. Он давно поймал себя на том, что, находясь в квартире,

большую часть времени проводит у окна. Смотреть было в общем-то не на что: серая стена дома напротив с наглухо закрытыми ставнями, узенькая, приготовившаяся, похоже, к бомбежке, улочка, где даже в час пик редко увидишь машину. Погруженная в тишину, она оставалась пустынной. Только возле двери подъезда, чуть наискосок от окна Тиббела, стояла влюбленная парочка.

Какое-то время он наблюдал за ними с восхищением и завистью. Вот что значит быть французом и не стыдиться своих чувств и желаний, спокойно выставляя их на всеобщее обозрение. Если бы подростком его отправили в Париж, а не в Эксетер!*

Тиббел отвернулся от окна. Целовавшиеся под аркой дома любовники раздражали.

Он вновь пробежал глазами уже прочитанные строки: «Une exhalaison s'échappait de ce grand amour embaumé et qui, passant à travers tout, parfumait de tendresse l'atmosphère d'immaculation où elle voulait vivre»**.

Закрытая книга легла на стол. Себя Тиббелу было куда более жаль, чем Эмму Бовари. Урок французского подождет.

— К черту!

Тиббел снял трубку телефона, стоявшего на забитом немецкими книгами стеллаже, и медленно, осторожно выговаривая цифры, продиктовал телефонистке нью-йоркский номер Бетти — французский он учил два года в Эксетере и четыре — в Суортмуре, но так и не научился говорить свободно. Его попросили подождать: если линия не перегружена, то соединиться удастся быстрее. В предвкушении разговора с Бетти Тиббел ощутил приятную истому. Сегодня он скажет что-то незаурядное,

* Один из старейших колледжей Оксфордского университета; основан в 1314 г.

** Благоуханный запах этой огромной любви пропитывал все вокруг, наполняя мир, в котором ей хотелось жить, чарующим ароматом нежности (фр.).

что-то историческое. Николас выключил свет: в темноте ему будет легче выразить мысли.

Но в этот момент телефонистка сообщила, что ожидание затянется. Тиббел бросил взгляд на часы, прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла, мечтая о том, что вот-вот через тысячи миль до него донесется голос Бетти. Он даже представлял, как она сидит, уютно устроившись на кушетке в крошечной, расположенной на двенадцатом этаже квартире. При воспоминании о маленькой хрупкой фигурке Николас улыбнулся. С Бетти он был знаком всего восемь месяцев, и если бы не отъезд в Париж, то судьба наверняка уже предоставила бы ему момент обратиться к девушке с просьбой стать его женой. Совсем скоро Тиббелу исполнится тридцать, и если он намерен завести семью, то делать это нужно в ближайшее время.

Прощание их вышло совсем грустным. Николасу потребовалось все его самообладание, чтобы в последний вечер сдержаться и не упрашивать Бетти утренним рейсом вылететь за ним в Европу. Тиббел всегда гордился своим здравомыслием, а человек здравомыслящий не рискнул бы отправиться с молодой женой в далекую страну на новую и, вполне возможно, временную работу. Мысли о Бетти дарили ему тихую радость; сегодня он решится сказать ей все, на что раньше не хватало мужества. Вплоть до этого момента он ограничивался письмами, правда, поздравил ее по телефону с днем рождения. Однако этой ночью Николас твердо вознамерился не только услышать знакомые интонации, но и вслух заявить о своей любви.

С улыбкой он терпеливо ждал звонка телефонистки, мечтая о том, как здорово было бы, если бы Бетти сидела сейчас рядом, представлял, что бы говорили они друг другу, держась за руки, не разделенные тремя тысячами миль гудящих проводов. В ушах звучал быстрый шепот

их прежних разговоров, Тиббел начал представлять, о чем еще они побеседуют, как вдруг с улицы до него донеслись резкие, взволнованные голоса. Поднявшись, он подошел к окну.

В свете уличного фонаря о чем-то спорили трое, голоса их то опускались до шепота, то звучали гневно, высоко и пронзительно. Тиббел хорошо видел мужчину лет шестидесяти, с проседью и лысиной на макушке, безутешно рыдавшую в носовой платок молодую женщину и довольно молодого человека в ветровке. На женщине было яркое, цветастое платье, белокурые волосы уложены в высокую прическу а-ля Брижит Бардо. Издали она походила на аккуратного фаршированного поросенка. Пожилой мужчина напоминал почтенного инженера или правительственного чиновника с зачатками интеллекта на пышущем здоровьем лице. Все трое стояли почти под окном Тиббела. Время от времени молодой человек похлопывал ладонью по сиденью мотоцикла, словно желал убедиться, что на крайний случай средство спасения у него под рукой.

— Повторяю, месье, — громко и отчетливо произнес старший из мужчин, — вы — *негодяй*.

Прозвучало это столь торжественно, будто говоривший обращался к высокому собранию.

— Еще раз заявляю вам, месье Банари-Куанто, — так же громко ответил ему молодой человек, — я *не* негодяй.

Это был язык человека улицы — раздраженного и привыкшего за двадцать пять лет жизни к бесконечным спорам с согражданами. Судя по внешности, парень мог быть студентом, помощником аптекаря или лаборантом.

Женщина продолжала рыдать, теребя руками большую кожаную сумку.

— Еще какой! — не отступал пожилой мужчина. — Вы худший из негодяев. Нужны доказательства? — Вопрос был, конечно, риторическим. — Я вам их предоставляю. Моя дочь беременна. Вашими стараниями. И как вы

поступаете сейчас, когда она в таком положении? Бросаете ее. А чтобы сделать боль невыносимой, вы решаете завтра жениться. На другой.

Парижанин отнесся бы к их спору совершенно иначе, однако разговорный французский в голове Тиббела невольно перетекал в такие английские фразы, которыми школьник мог бы излагать взгляды Расина или Цицерона. Николас считал всех французов излишне склонными к архаике и пафосу — так выступавшие на римском Форуме обращались к сенаторам, так на суде в Афинах звучало обвинение в адрес Сократа. Подобная манера речи несколько не раздражала, наоборот, она придавала некое очарование его контактам с местными жителями, и в тех редких случаях, когда Тиббелу удавалось правильно угадать смысл отдельных идиом, он испытывал гордость и наслаждение.

— Если человек, способный на подобное, не заслуживает того, чтобы его назвали *негодяем*, — продолжал между тем месье Банари-Куанто, — я бы с удовольствием выслушал мнение непредвзятого стороннего наблюдателя.

Стоявшая рядом с ним и пока еще не похожая на беременную молодая женщина заплакала громче.

Под аркой, где пряталась влюбленная парочка, слышалась возня, мелькнула обнаженная нога, поцелуй, судя по звуку, пришелся не в губы, но в ухо, а мускулистая рука сменила положение, однако что было тому причиной — сцена под окном или инстинктивное стремление продлить мгновения любви, — Тиббел не знал.

В конце улицы появился автомобиль. Осветив на мгновение стены домов яркими лучами фар, он остановился у закрытых на замок дверей прачечной. Фары погасли, смолкло по-итальянски мелодичное урчание двигателя. Спорщиков никто не потревожил.

— Если завтра я и женюсь, — с вызовом бросил парень, — то по ее вине! — Указательным пальцем он ткнул в сторону молодой женщины.

— Запрещаю вам продолжать в том же духе! — с достоинством произнес месье Банари-Куанто.

— Я пытался, делал все, что было в моих силах! Я прожил с ней год, разве нет? — Молодой человек говорил так, будто ждал благодарности за самопожертвование. — Но в конце концов стало ясно: если мне понадобится тихий и спокойный дом, чтобы растить в нем своих детей, то ваша дочь дать его не в состоянии. Пришло время объясниться начистоту, месье. Ваша дочь ведет себя абсолютно невыносимым образом. Невыносимым. К тому же у нее омерзительный характер.

— Будьте осторожнее в выборе слов, молодой человек, — потребовал оскорбленный отец.

— Омерзительный, — повторил парень, подчеркивая категоричность своего заявления резким движением руки. На его лоб упала прядь черных волос, усилив впечатление исходившей от всей его фигуры ничем не сдерживаемой ярости. — Не буду вас как ее отца убивать деталями, позволю себе лишь заметить, что никогда еще мужчина не испытывал таких унижений от женщины, которая прожила с ним под одной крышей целый год. Смеяться хочется, — без намека на улыбку проговорил он. — При словах «под одной крышей» перед глазами встает женщина, хотя бы время от времени присутствующая в доме, ну, скажем, для того чтобы приготовить обед или встретить пришедшего после тяжелого трудового дня мужчину. Если вы, месье Банари-Куанто, думаете, что ваша дочь делала это, то жестоко ошибаетесь. За прошедший год я куда чаще видел собственную мать, живущую в Тулузе тетку, да что там — торговку газетами на бульваре Мадлен, — чем вашу дочь, смею уверить! Постучите в дверь днем или ночью, летом или зимой и спросите: где она? Нету!

— Рауль, — выдавила сквозь рыдания женщина, — как ты можешь! Я хранила тебе верность от начала и до самого конца.

— Верность! — презрительно фыркнул Рауль. — Да кому нужна такая верность? Женщина говорит о своей верности и считает, что этим можно искупить все, от поджога до убийства матери. Чем обернулась для меня твоя верность? Тебя никогда не было дома. Парикмахерская, кино, галерея Лафайетт, зоопарк, теннис, бассейн, портниха, Елисейские поля, подружка в Сен-Клу — что угодно, только не дом. Месье, — повернулся к ее отцу Рауль, — не знаю, что повлияло на характер вашей дочери в детстве. Могу судить лишь о результатах. Она превратилась в женщину, испытывающую живейшее отвращение к дому.

— Одно дело — дом, месье, — дрожащим голосом возразил старик Банари-Куанто, — и совсем другое — незаконное сожительство. Между ними такая же разница, как между церковью и... и... — он не сразу нашел подходящее сравнение, — между церковью и ипподромом. — Собственное красноречие заставило месье Банари-Куанто самодовольно улыбнуться.

— Клянусь, Рауль, — простонала его дочь, — если ты женишься на мне, я не сделаю из кухни ни шагу!

— Все вы готовы пообещать что угодно, если мужчина женится на другой. Вот мое последнее слово, — вновь обратился Рауль к отцу. — Мне жаль того, за кого ваша дочь выйдет замуж. Как сознательный гражданин и добропорядочный христианин письмом без подписи я должен был предупредить этого человека и не дать ему совершить роковой шаг.

С душераздирающим криком молодая женщина бросилась на грудь отцу.

— Успокойся, успокойся, Муму. — Он легонько похлопал ее по спине.

— Я люблю его! Люблю! Я жить не могу без него! Если он оставит меня, я брошусь в реку!

— Видите, неблагодарный! — осуждающе воскликнул месье Банари-Куанто. — Она жить без вас не может.

— Просто беда, — срывающимся голосом бросил Рауль. — А я не могу с ней.

— Предупреждаю, — перекрывая рыдания дочери, громко заявил старик. — Если она бросится в реку, отвечать будете вы лично. Я, ее отец, клянусь в этом!

— В реку! — Рауль расхохотался. — Когда это произойдет, позовите меня, составлю ей компанию — лично! В воде ваша дочь чувствует себя как рыба. Удивляюсь: чтобы человек ваших лет верил в подобную чушь!

Последние слова Рауля привели Муму в иступление. Со стенанием, напоминавшим вой сирены воздушной тревоги, она вырвалась из объятий отца и бросилась на молодого человека, выталкивая его на середину улицы. Движениями спортсмена, участвующего в соревнованиях по метанию молота, Муму вращала над головой сумку. По звуку, с которым сумка опускалась на плечи или спину Рауля, Тиббел определил, что весила она не менее десяти фунтов и была набита стеклянной и металлической посудой. Молодой человек, воздев к небу руки, осторожно пятясь к стене, кричал:

— Муму! Не забывайся!

Увертываясь от мощных ударов, он смог обхватить Муму и зажать ее руки, однако она стала наносить ему удары ногами в туфлях на шпильках с заостренными носками. Тиббелу из окна казалось, что в свете фонаря безумная пара исполняет невиданную первобытную пляску. По стене напротив металась уродливые тени.

— Муму, Муму! — хрипло выкрикивал Рауль, высоко подбрасывая ноги, чтобы избежать болезненных уколов ее каблуков. — Ну что ты делаешь? Ведь своих проблем этим ты не решишь! Остановись!

Однако останавливаться Муму не собиралась. Накопившиеся в ней обиды и несбывшиеся мечты искали выхода и превращались в град ударов, обрушивавшихся

на вероломного приятеля. Страстные вздохи, приглушенные стоны и звучавшие в них триумф и боль никак, по мнению Тиббела, не соответствовали нормам поведения в общественном месте. Чувствуя себя не только иностранцем, но в первую очередь американцем, Николас очень не хотел вмешиваться. В Нью-Йорке он со всех ног бросился бы разнимать дерущихся мужчину и женщину, однако здесь, в этой непонятной Франции, где вопросы взаимоотношения полов оставались будоражащей кровью тайной, Тиббел мог только наблюдать и надеяться на лучшее. К тому же по всем признакам победа должна была остаться за женщиной — залогом тому служила ее агрессивность. Единственную неудачу Муму потерпела, когда, попытавшись укусить Рауля, она с силой впечаталась лбом в его затылок.

Отец, казалось бы, должен был принять близко к сердцу драку, в которую вступила его дочь с бывшим любовником в первые часы наступавшего утра. Однако месье Банари-Куанто просто описывал круги вокруг поля схватки, с интересом вглядываясь в ее участников. Он действовал как рефери на ринге, считая, что не вправе вмешиваться до тех пор, пока противники не вошли в клинч, а удары ниже пояса могут считаться случайными.

Шум и крики разбудили спящих жителей, кое-где начали открываться окна. Тиббел увидел несколько высунувшихся на улицу голов. Лица выражали присущую французам смесь беспристрастия, любопытства и осторожности — последняя заставила бы зрителей мгновенно захлопнуть ставни при появлении жандарма.

К этому времени Муму оттеснила Рауля футов на пятнадцать, и оба теперь оказались напротив по-прежнему занятой бурными утехами парочки под аркой. Осознав, что уединение их может быть в любую минуту нарушено воюющими сторонами, пара разделилась, и мужчина прикрыл

своим телом девушку, которую за мгновение до этого сжимал в объятиях. Стало видно, что он невысокого роста, плотный, одет в спортивную куртку.

— Эй, эй, — негромко бросил крепыш, делая шаг вперед и хватая Рауля за локоть. — Хватит! Ступай домой, проспись!

Появление новой фигуры привлекло на минуту внимание Муму.

— Не высовывайтесь из своей пещеры, месье! Ваши советы никому здесь не нужны!

В этот момент Рауль со всех ног бросился прочь.

— Трус!

С неожиданной для ее шпилек резвостью Муму кинулась ему вслед, угрожающе размахивая сумкой. Расстояние между бегущими на глазах сокращалось. Рауль в отчаянии нырнул за угол, разгневанная фурия последовала за ним.

Под окнами воцарилась гнетущая тишина, до Тиббела донесся приглушенный стук закрываемых ставней. Однако отец Муму так и остался стоять, печально и устало глядя на угол дома, за которым скрылась его дочь. Затем он медленно повернул голову к крепышу в спортивной куртке, который говорил своей девушке:

— Тоже мне парочка. Варвары!

— Месье, — хмуро обратился к нему Банари-Куанто, — кто просил вас вмешиваться в чужие дела? Ничего в нашей несчастной стране не изменилось: люди по-прежнему суют свои носы куда попало. Личная жизнь канула в прошлое. Неудивительно, что общество оказалось на грани анархии. Они уже почти договорились, а вы все испортили!

— Послушайте, месье, — воинственно произнес в ответ крепыш, — по натуре человек я простой, но понятие о чести имею. Я не могу оставаться равнодушным, когда вижу, что мужчина и женщина начинают размахи-

вать кулаками. Остановить их — мой долг, и, если бы не ваш возраст, я бы сказал, что вам еще станет стыдно за то, что вы не сделали этого раньше.

Банари-Куанто смерил простого, но имеющего понятие о чести человека взглядом пытливого ученого, как бы беспристрастно взвешивая на точных весах последнюю фразу. Вместо ответа он повернулся к девушке — та пыталась поправить прическу в царившей под аркой темноте.

— Мадемуазель, — громко проговорил месье Банари-Куанто, — видите ли вы, что ожидает вас в будущем? То же, что произошло и с моей дочерью. Вы вспомните мои слова, когда забеременеете, а этот, — последовал обвиняющий жест в сторону крепыша, — сбежит от вас, как заяц.

— Симона, — обратился к своей спутнице мужчина в спортивной куртке, не дав ей ответить, — у нас есть более приятный способ провести время, чем болтать с выжившим из ума чудаком.

С этими словами он нажал кнопку в стене, и дверь, плечом к которой прислонялась девушка, медленно, с тихим электрическим гудением открылась. Крепыш с достоинством взял девушку за руку и скрылся с ней в темном внутреннем дворе. Тяжелая деревянная дверь закрылась за ними с легким щелчком.

Старик пожал плечами. Он исполнил свой долг — предупредил эту беззаботную молодежь, а там пусть поступают по-своему. На пустынной улице не было видно ни души, с которой стоило бы поделиться взглядами на жизнь. Даже Тиббел отступил от окна — из страха выслушать очередное пророчество.

Лишившись аудитории, месье Банари-Куанто вздохнул и медленно зашагал к углу, за которым исчезла его дочь. Там он застыл — одинокий, растерянный человек в жесткой каменной геометрии перекрестка, беспомощно вглядывающийся в пустынную даль улицы.

Где-то внизу послышался стук ставен и как из-под земли зазвучали голоса двух пожилых женщин: глуховато, но достаточно отчетливо.

— Ах, — донесся голос с нижнего этажа дома напротив, — город становится невыносимым. Люди теперь вытворяют на улице такое! Вы слышали, мадам Аррес?

— Каждое слово, — отозвалась дама под окном Тиббела. Это был хриплый, со сварливыми интонациями шепот консьержки. — Подонок и вор. Он пытался вырвать у нее сумочку. После прихода к власти де Голля парижанки вечерами уже не чувствуют себя в безопасности. А полиция имеет наглость требовать прибавки к зарплате!

— Да нет же, мадам! — раздраженно произнесла первая женщина. — Я собственными глазами видела, как она ударила его своей сумкой. Ему было от силы лет тридцать, не больше. Весь в крови, хорошо еще, если жив остался. Хотя, честно говоря, и поделом, ведь она-то беременна!

— Ах, негодяй!

— Но и сама она немногим лучше: вечно нет дома, флиртует направо, а о замужестве вспомнила лишь тогда, когда было уже слишком поздно. Залетела!

— Чего вы хотите от нынешних вертихвосток, — посоветовала мадам Аррес. — Они получают то, что заслужили.

— Совершенно верно. Знали бы вы, что происходит в нашем доме!

— Знаю. У нас то же самое, и так по всей улице. Как подумаю о тех, кому приходится объяснять, что месье Бланшар живет на третьем этаже, направо, сама удивляюсь, что до сих пор хожу слушать мессу!

— А вот старика мне жаль, — заметила первая дама. — Ее отца.

— Пустое, — откликнулась мадам Аррес. — Скорее всего он же и виноват во всем. Авторитета недостает.

Когда мужчине не хватает авторитета, он должен ждать от своих детей чего угодно. Не сомневаюсь, что он сам завел себе куколку лет шестнадцати. Помните, как тот грязный адвокатишка из Женевы? Я тогда хорошо его рассмотрела, я знаю этот тип мужчин.

— Старый потаскун.

С улицы донесся звук шагов, и Николас осторожно приблизился к окну. Ставни внизу почти без скрипа закрылись. По неровному асфальту устало брел месье Банари-Куанто. Дыхание его было тяжелым, как у астматика. Под окном Тиббела он остановился, печальным взглядом окинул дом, покачал головой и уселся на серый камень бордюра. Руки его беспомощно подрагивали на коленях. Николасу захотелось спуститься вниз и успокоить расстроенного папашу, однако он не был уверен в том, что месье готов принять утешения какого-то иностранца.

Тиббел собрался было закрыть окно и оставить пожилого француза с его проблемами, как вдруг заметил появившуюся из-за угла Муму. Покачиваясь на высоких каблуках, та все еще давилась рыданиями, сумка, которой она бесстрашно атаковала Рауля, мертвым грузом свисала с ее плеча. С ревматическим кряхтеньем Банари-Куанто поднялся навстречу ей. Увидев отца, Муму зарыдала громче. Заключив дочь в объятия, он неловко погладил ее по спине.

— Рауль ушел! Больше я его не увижу!

— Может, это и к лучшему, малышка. На таких людей никогда нельзя положиться.

— Я люблю его! Люблю! — сквозь слезы повторяла она. — Я убью его!

— Ну же, Муму, успокойся... — Месье Банари-Куанто с тревогой посмотрел по сторонам, сознавая, что из-за прикрытых ставен за ними наблюдает множество любопытных глаз.

— Я ему еще покажу! — в отчаянии воскликнула дочь. Вырвавшись из объятий отца, она подошла к дому, с ненавистью уставилась на мотоцикл. — На этой штуке мы ездили с ним на берег Марны, когда только познакомились. — Голос ее задрожал при воспоминании о былой нежности и невыполненных обещаниях. — Я ему покажу.

Не успел отец сделать и шагу, как Муму сняла с правой ноги туфлю и с размаху ударила острым каблучком по фаре. Сквозь звон разбитого стекла послышался резкий женский возглас.

— Что случилось? — встревожился месье Банари-Куанто. — В чем дело?

— Я порезалась. Вскрыла себе вену! — С протянутыми вперед руками Муму походила на леди Макбет.

Тиббел рассмотрел полоску крови.

— Ох, бедняжка! Подними руку повыше! Я посмотрю...

Однако Муму на одной ноге проворно затанцевала вокруг мотоцикла, размахивая порезанной рукой, стараясь щедро оросить кровью его колеса, сиденья и руль.

— Вот тебе! Ты хотел моей крови, так получи ее! Надеюсь, она принесет тебе удачу!

— Муму, не горячись! Ты сделаешь хуже себе самой, — попытался увещевать ее отец. В конце концов ему удалось поймать окровавленную руку. — Господи, как же тебе больно! Подожди. — Вытащив из кармана носовой платок, он обмотал его вокруг кисти дочери. — Пойдем-ка домой. Тебе нужно заснуть, а утром ты выбросишь из головы воспоминания об этом негодяе.

— Нет. — Муму с упрямством прижалась спиной к стене дома напротив. — Он вернется за мотоциклом, и я убью его. А потом убью и себя.

— Муму... — вздохнул ее отец.

— Ступай домой, папа.

— Я не могу оставить тебя здесь.

— Даже если мне придется стоять до утра, я дождусь его. — Муму развела руки в стороны, вцепившись пальцами в стену, как бы из страха, что отец уведет ее силой. — Прежде чем отправиться в церковь, он наверняка явится сюда. Возвращайся, я сама с ним справлюсь.

— Одну, да еще в таком состоянии, я тебя здесь не брошу.

— Я хочу умереть.

На улице установилась недолгая тишина. Внезапно дверь, за которой скрылась влюбленная парочка, распахнулась. Свет фонаря выхватил из тьмы спортивную куртку крепыша, чья рука покоилась на талии девушки. Парочка неторопливо прошла под окном Тиббела, не обратив никакого внимания на отца с дочерью. Месье Банари-Куанто с сожалением посмотрел им вслед.

— Запомните мои слова, мадемуазель! Извлеките пользу из того, что видели сегодня своими глазами. Еще не поздно! Вернитесь домой, говорю это вам как друг.

— Послушайте, вы, живая руина, — угрожающе навис над пожилым человеком крепыш, — вы наболтали тут уже достаточно. Никому не позволю обращаться так к...

— Оставь его, Эдуард, — потянула своего спутника за рукав девушка. — Не время заводить ссоры.

— Вы для меня не существуете, месье, — бросил Эдуард перед тем, как последовать за девушкой.

— Позвольте, позвольте... — Месье Банари-Куанто решил оставить последнее слово за собой, но молодые люди уже скрылись за углом.

Тиббел с нетерпением ожидал момента, когда здравый смысл заставит отца с дочерью тоже отправиться домой. С мыслью о том, что эти два разочарованных, обуреваемых мезтью существа готовы до утра ждать здесь страшной развязки драмы, ему все равно не заснуть.

Николас собирался отвернуться от окна, но тут вдруг услышал, как хлопнула дверца автомобиля. От припаркованной почти у самого перекрестка машины к его дому быстро приближалась женщина. Водитель включил фары, и машина тронулась вслед за едва ли не бегущей дамой. Да, она явно спасалась бегством. В ярком свете фар ее платье казалось ядовито-лимонным. Новенькая красная «альфа-ромео» резко остановилась рядом с сидевшим на бордюре отцом Муму. Банари-Куанто с подозрением посмотрел на женщину. Видно, он подумал, что она взвалит на его немощные плечи тяжкое бремя очередных неприятностей. Простучав каблучками мимо него, дама бросилась под арку, к двери, но нажать на кнопку замка так и не успела: выпрыгнувший из машины мужчина в черном костюме догнал ее и схватил за запястье.

Тиббел без всякого удивления смотрел на разворачивающуюся перед ним новую сцену. Он понял, что улица внизу самой жизнью предназначена быть полем битвы. Азенкур*. Фермопилы. Одна схватка тут же сменяется другой, как в круглосуточно работающем кинотеатре.

— Нет-нет! — сквозь зубы процедил мужчина. — Так просто ты не уйдешь!

— Отпусти меня! — Дама сделала попытку высвободиться, но у нее ничего не вышло.

Дыхание ее прерывалось, на лице застыл испуг. Тиббел решил, что ему все же придется спуститься вниз и принять участие в боевых действиях — опоздавший спартанец, неспешный волонтер Генриха V.

— Я отпущу тебя после того, как вернешь мои триста франков, — громко заявил мужчина в черном костюме.

* Городок во Франции, под которым в 1415 г. состоялась битва между французами и англичанами. Выиграли ее под предводительством короля Генриха V английские войска. Об этой победе упоминал в одной из своих пьес У. Шекспир.

Он был молод и строен. В свете фар Николас рассмотрел небольшие усики и длинные, тщательно расчесанные волосы, спускавшиеся ниже белоснежного воротничка рубашки. Мужчина напомнил Тиббелу тех типов, которых часто можно видеть в барах на площади Пигаль, а лицо его вполне уместно смотрелось бы на газетном листе под шапкой «Разыскивается за ограбление ювелирного магазина».

— Я не должна тебе и одного, — ответила женщина.

В голосе ее слышался акцент — испанский, как показалось Тиббелу. Она действительно была похожа на испанку, с роскошными черными волосами на обнаженных плечах. Осиную талию плотно облегал широкий, блестящий пояс из черной кожи, короткая юбка почти не прикрывала коленей.

— Не смей лгать! — со злостью бросил мужчина, трянув руку дамы. — Я вовсе не собирался их покупать.

— А я вовсе не просила тебя тащиться за мной до самого дома. Отпусти мою руку, ты уже достаточно надоед мне сегодня!

— Не раньше, чем ты вернешь триста франков.

— Не отпустишь — позову полицию!

Мужчина разжал стискивавшие запястье дамы пальцы и вlepил ей звонкую пощечину.

— Эй, эй! — поднимаясь с бордюра, подал голос месье Банари-Куанто, со скорбным интересом наблюдавший за развитием событий.

Погруженная в горестные раздумья Муму не обратила на происходящее никакого внимания.

Мужчина в черном костюме и испанка стояли почти вплотную друг к другу, и вид у обоих был самый нерешительный. Похоже, пощечина внесла в их отношения новую проблему, которая сбивала с толку, лишала возможности продумать последующие действия. Затем, раздвинув в недоброй усмешке губы, молодой человек вновь медленно занес руку.

— Хватит и одной, — бросила женщина, отступая к отцу Муму. — Вы видели, месье, как он меня ударил.

— Уж больно слабый здесь свет, — ответил месье Банари-Куанто, инстинктивно не желая давать хотя бы формальный повод для знакомства с полицией. — Да и смотрел-то я в другую сторону. Остановитесь! — Он повернул голову к надвигавшемуся на испанку мужчине. — Позвольте напомнить, что пощечина даме в некоторых кварталах города расценивается как самое тяжкое преступление.

— Вверяю себя под вашу защиту, месье. — Испанка нырнула за спину старика.

— Не беспокойтесь, — презрительно процедил молодой человек. — Больше я ее не ударю. Она не стоит даже моей злости. Пусть лишь вернет триста франков.

— Что можно сказать о мужчине, который сначала покупает даме цветы, а потом требует возмещения расходов? — поинтересовалась из-за плеча Банари-Куанто испанка.

— Давайте раз и навсегда внесем ясность, — обратился к старику молодой человек. — Никаких цветов я ей не покупал. Когда я зашел в туалет, она сама вытащила их из корзинки цветочницы, а та пожелала содрать с меня триста франков. Естественно, чтобы не поднимать скандала, я...

— Простите. — Банари-Куанто против воли почувствовал интерес. — Уж слишком все запуталось. Если бы вы рассказали с самого начала, думаю, я смог бы помочь.

Тиббел преисполнился благодарности к старику: пытаясь угадать, что привело молодого щеголя в ярость и завершилось оскорблением действием, он наверняка бы до утра не заснул. Ни разу в жизни Николасу не приходилось поднимать руку на женщину, подобного он и представить себе не мог, а уж из-за трехсот франков, что в пересчете составляло примерно шестьдесят центов...

— Извольте, — торопливо произнес мужчина в черном костюме, лишив гордую испанку возможности пролить свет правды на истоки конфликта. — Она сидела в баре и ждала, пока ее кто-нибудь подцепит.

— Я не ждала, пока меня подцепят! — возмутилась дама. — Я возвращалась домой из кино и зашла в бар, чтобы выпить глоток пива...

— Но в конечном итоге, — с жаром прервал ее мужчина, — тебя все-таки подцепили. Если мы будем спорить и по поводу терминологии, то проведем здесь всю ночь.

— Я позволила тебе заплатить за мой бокал пива, а то, как ты это понял, меня совершенно не касается.

— Кроме того, ты позволила мне заплатить триста франков за забывки.

— Из вежливости, — снисходительно бросила дама. — В Испании женщины привыкли к тому, что мужчины ведут себя как джентльмены.

— А затем ты согласилась сесть в мою машину, чтобы чуть позже распалить меня поцелуями.

— Его слова, — трагическим голосом произнесла дама, обращаясь к отцу Муму, — чудовищная ложь.

— Ложь? А как насчет этого? — Мужчина сорвал с шеи накладной воротничок и протянул его Банари-Куанто.

Тот близоруко прищурился:

— Что тут такое? Здесь слишком темно, я ничего не вижу.

— Губная помада, — пояснил мужчина. — Взгляните! — Взяв пожилого мужчину за руку, он подвел его к фонарю.

— Вне всяких сомнений, — склонив к воротничку голову, подтвердил отец Муму. — Губная помада.

— Ага! — Мужчина в черном костюме бросил на испанку взгляд, полный злорадного торжества.

— Но не моя, — холодно заметила дама. — Кто знает, где этот джентльмен привык проводить время и сколько раз в неделю он меняет сорочку?

— Предупреждаю, — звенящим от ярости голосом произнес тот, — ты меня оскорбляешь.

— Какая разница, чья это помада? Ты мне просто неприятен. Сейчас я хочу одного — спокойно добраться до дома.

— Ах, — подняла голову разочарованная Муму, — если б только это было возможно — спокойно добраться до дома!

Несколько мгновений все, включая и ее отца, с недоумением смотрели на застывшую у стены мрачную фигуру, ощущая себя так, будто фраза вырвалась из уст каменного изваяния.

— Дорогой мой, — обратился месье Банари-Куанто к мужчине в черном костюме, — дама предельно ясно высказала свои мысли. — В сторону испанки последовал легкий поклон, в ответ на который та учтиво кивнула. — Она требует не слишком многого: лишь спокойно и мирно добраться до дома. Почему бы не позволить ей это?

— Может убираться на все четыре стороны! — процедил мужчина. — Но сначала пусть вернет триста франков.

Лицо отца Муму выразило осуждение.

— Месье, — довольно резко заметил он, — я, право, удивлен, что такой мужчина, как вы — владелец роскошного автомобиля! — способен поднять шум из-за жалких...

— Дело вовсе не в трехстах франках. — Подозрение в мелочности задело мужчину, голос его напрягся. — Даже если бы речь шла о пятидесяти тысячах франков, дело здесь не в деньгах! Это вопрос принципа. Меня поманили, воспламенили мои чувства, вдохновили раскрыть кошелек, причем, уверяю вас, расходы не имеют абсолютно никакого значения, — и все это оказалось деше-

вой игрой! Я человек щедрый, у меня довольно широкие взгляды на жизнь, но мне ужасно не хочется, чтобы какая-то путана цинично делала из меня дурака.

— Остыньте, прошу вас, — строго сказал Банари-Куанто.

— Более того, посмотрите на ее руку! — Мужчина поднял кисть дамы к свету. — Видите? Обручальное кольцо! Быть надутым путаной, которая еще и замужем!

Зачарованно ловивший каждое слово Тиббел был не в состоянии понять, почему то, что дама оказалась связана с кем-то узами брака, приводило мужчину в такое исступление. Уж не испытал ли он в прошлом жуткое разочарование, связанное с изменой другой замужней женщины? Не старая ли обида так распалила огонь его ярости?

— Нет на свете более позорного зрелища, чем испанская шлюха с обручальным кольцом! — на всю улицу объявил мужчина.

— Довольно, месье. Вы сказали достаточно, — властно произнес Банари-Куанто в тот момент, когда из груди дамы вырвалось рыдание. Женских слез в эту ночь он уже насмотрелся, и грозивший обрушиться на него новый их водопад вызывал досаду и отвращение. — Не могу позволить вам пользоваться такими выражениями в присутствии дам, одна из которых является моей дочерью. Будет лучше, если вы немедленно оставите нас.

— Как только получу свои триста франков. — Мужчина с вызовом скрестил на груди руки.

— Держите! — Месье Банари-Куанто со злостью извлек из кармана пригоршню монет и швырнул к ногам молодого человека.

Монеты со звоном раскатились по асфальту. Мужчина в черном костюме живо собрал их и бросил пожилому мужчине в лицо.

— Будьте осторожнее, месье, — с достоинством произнес старик, — в противном случае вы рискуете получить в нос.

Мужчина сжал кулаки и стал в позу, какую в Англии принимали любители рукопашного боя в начале восемнадцатого века.

— Атакуйте же, месье, — вежливо предложил он.

Женщины зарыдали в унисон.

— Хочу предупредить вас, месье. — Отец Муму сделал шаг назад. — Мне шестьдесят три года, у меня большое сердце, и к тому же, как вы видите, я в очках. У полиции будут все основания задать вам весьма неприятные вопросы.

— Полиция? Отлично. Это первая умная вещь, которую я сегодня слышу. Предлагаю сесть в машину и ехать до комиссариата.

— Я в эту машину больше не сяду! — решительно заявила испанка.

— Пока Рауль не вернется, и шагу отсюда не сделаю, — поддержала ее Муму.

За спиной Николас услышал звонок. Внезапно он осознал, что слышит его уже довольно долго. Телефон! Пробравшись в темноте к стеллажу, он снял трубку. Разговор за окном звучал не громче шороха листьев. Интересно, кто в это время может ему звонить?

— Алло?

— Это Литтрэ двадцать пять семьдесят шесть? — нетерпеливой скороговоркой спросила молодая женщина.

— Да.

— Вы заказывали Нью-Йорк. Соединять?

— Да, пожалуйста. Я жду.

Про звонок Бетти Тиббел совершенно забыл. Он попытался собраться, вновь ощутить ту нежность, что испытывал несколько часов назад, когда решил позвонить в Нью-Йорк.

— Минуту.

В трубке послышался треск электрических разрядов, видимо, в Атлантике было беспокойно. Повернувшись к окну, Тиббел напряженно старался разобрать, что происходит под фонарем, но до него донесся лишь звук отъезжающего автомобиля.

Он собирался сказать Бетти о своей любви, о том, как соскучился, вспоминал Николас, стоя у стеллажа. Если разговор пойдет в нужном направлении, то трех минут должно хватить и на то, чтобы попросить Бетти стать его женой. Вдруг ему стало трудно дышать, мысли смешались. Мучительно обдумывая первую фразу, Тиббел никак не мог отделаться от стоявших в ушах слов: «Нет на свете более позорного зрелища, чем испанская шлюха с обручальным кольцом».

— Еще минутку, — раздалось в трубке. — Набираю ваш номер.

Опять послышались шорохи и треск. Николас усилием воли заставив себя не думать о злополучном кольце.

— Мисс Томпсон нет дома, — отчетливо и уверенно прозвучал настоящий американский голос. — Сказала, что вернется через час. Вы перезвоните?

— Я... Я... — Тиббел заколебался, в памяти всплыло предупреждение старика: «Извлеките пользу из того, что видели сегодня своими глазами».

— Вы слышите меня, сэр? — вновь раздался в трубке голос Нового Света. — Мисс Томпсон будет дома через час. Хотите перезвонить?

— Я... нет. Снимите заказ. Позвоню как-нибудь в другой раз.

— Благодарю вас. — На этом Америка отключилась.

Николас осторожно опустил трубку на рычаг, подошел к окну, выглянул. Пустынная улица погрузилась в тишину. Убрали уже тела погибших в Фермопилах, ждет плуга паш-

ня под Азенкуром. Неоконченный, нескончаемый, нерешенный, неразрешимый конфликт ушел во тьму, оставив после себя лишь эхо пророчеств, предостерегающе воздетый палец тающего на глазах привидения.

Внезапно Тиббел различил на противоположной стороне улицы крадущуюся вдоль стены дома фигуру. Рауль. Вытолкав мотоцикл под фонарь, парень осмотрел его, с досадой плюнул на осколки фары и махнул рукой кому-то, скрывавшемуся за углом. Выбежавшая оттуда девушка в белом платье в темноте была похожа на невесту. Она села за спину Рауля, обвила его руками и тихонько рассмеялась. Смех ее веселым облачком поднялся к окну Тиббела. Рауль повернул ключ зажигания, мотор с фальшивой мощностью взревел, и, взметнув на прощание, как флаг, подол белого платья, мотоцикл через мгновение скрылся за углом. Николас вздохнул и мысленно пожелал молодым людям счастья.

Под окном скрипнули ставни.

— Испанцы... — сказал кто-то ворчливо. — Чего можно ждать от испанцев?

Тиббел закрыл окно. Впервые в жизни он был благодарен судьбе за то, что образование она дала ему в стенах Эксетера и Суортмура.

ПЯТНО СВЕТА*

В низко висевшем густом тумане лучи фар походили на потоки молока. Было около часу ночи, и на узкой, поднимавшейся к вершине холма дороге они не обогнали ни одной машины. Между лентой шоссе и домом Уилларда стояло только четыре особняка; ни в одном из них не светились окна.

Все трое поместились на переднем сиденье: Мартин и его сестра с мужем. Держа на коленях приемник, Линда тихонько подпевала в такт музыке:

— «Не подходит ни место, ни время...»

Джон Уиллард уверенно сидел за рулем, давил на газ и улыбался, когда Линда, дурачась, выводила ему на ухо со страстью певички из кабаре:

— «Та-а-а-кое милое лицо-о-о...»

— Имей в виду, — бросил он, — ты меня отвлекаешь.

— В прошлом году по этой причине на дорогах было больше аварий, — заметил Мартин, — чем из-за отказа тормозов, пьяных водителей и праздничных пробок.

— Кто тебе сказал? — вызывающе спросила Линда.

— Это сухая статистика.

— Плевать. Обожаю петь шоферу.

Уиллард фыркнул.

* Circle of Light. © 2001. Ю.Г. Кирьяк. Перевод с английского.

— Чтоб я не видела больше этой наглой ухмылки, — строго сказала Линда.

Уиллард рассмеялся, а Линда, продолжая мурлыкать песню, положила голову на плечо Мартину. На ее с виду молодое и беззаботное лицо, обрамленное свободно падавшими темными волосами, падал мягкий отсвет приборной доски.

«Хорошо бы, — подумал Мартин, скосив глаз на сестру, — и мне лет через десять так же возвращаться с женой из ночного клуба».

Он приехал из Калифорнии ближе к вечеру, сообщив предварительно телеграммой, что ушел с работы и по пути в Европу рассчитывает повидаться. Линда встретила его в аэропорту. Она ничуть не изменилась за два года. Они заехали в офис к Уилларду, а затем великолепно поужинали втроем и распили в честь приезда Мартина бутылочку доброго вина. Поскольку была пятница и Уиллард мог выбросить из головы мысли о работе, остаток вечера они провели в ночном клубе, где девушка в белом платье пела грустные французские песни. Мартин и Уиллард по очереди танцевали с Линдой, а та говорила: «Как удачно все сложилось! Слава Богу, что телеграмма оказалась такой короткой и мне не пришлось искать для тебя подругу. Вчетвером было бы совсем не то. Цифра «четыре» вызывает у меня отвращение».

Мартина, бывшего семью годами моложе ее, Линда считала любимым братом. Студентом колледжа он почти каждое лето проводил с сестрой и ее мужем, легко входя в компанию их друзей. Линда говорила, что обоим ее маленьким сыновьям постоянно грозит опасность: Мартин учил мальчишек плавать, нырять, кататься на велосипеде и падать с деревьев.

— Господи, — сказала Линда, когда машина проехала через огромные каменные ворота, — два года — ужасно длинный срок, Мартин. Как мы обойдемся без тебя, пока ты будешь в своей Европе?

— Приезжайте навестить.

— Нет, вы только послушайте его!

— Всего-то ночной перелет.

— Ты уже нашел кого-то, кто купит нам билеты? —

Она махнула рукой в сторону темневшего за стеклом машины леса. — Мы расплатимся за землю только через десять лет.

— Зато у вас здесь прекрасные места. Идиллия.

— Как же! Семнадцать акров непроходимого кустарника.

— Но ведь часть можно расчистить и посадить что-нибудь стоящее.

— Налоги, — кратко пояснил Уиллард, выехав из зарослей и направляя машину к едва различимому из-за тумана большому кирпичному дому с белыми колоннами.

В окнах первого этажа не было ни огонька, только на втором через узкую щель между шторами пробивалась полоска света. Все вокруг было погружено во тьму.

— Почему бы не оставлять фонарь хотя бы у входа? — спросил Уиллард.

— Это все новая прислуга, — объяснила Линда. — Я тысячу раз напоминала, но она помешана на экономии.

Уиллард выключил двигатель, они выбрались из машины. Мартин подхватил сумку с заднего сиденья.

— Обрати внимание на архитектуру, — сказала Линда, когда они поднимались по ступеням. — Чем не Греция?

— Лучше посмотри, что внутри, — посоветовал Уиллард, распахивая дверь и включая свет. — А какое приволье ребятам во дворе!

— Есть и еще одно преимущество. — Линда вошла в просторную прихожую, стены которой были оклеены дорогими обоями, и бросила пальто в кресло. — Телеантенна здесь такая, что на экране почти ничего не видно.

Они прошли в гостиную. Уиллард плеснул в стаканы виски — за знакомство Мартина с домом. Гостиная пред-

ставляла собой большую, но уютную, полную воздуха комнату с акварелями на стенах, множеством книг и казавшихся бесполезными вещиц. Мартин улыбнулся, узнавая в сочной разноголосице цветов, мешанине антикварных безделушек и нарочитом беспорядке неприятзательные и такие милые вкусы и привычки сестры.

Линда сняла туфли и с ногами устроилась на широкой кушетке: Согревая в ладонях бокал с виски, она с удовольствием смотрела на мужчин, почти сонная, но еще не готовая разрушить хрупкую атмосферу семейного единения.

— Мартин, — негромко обратилась она к брату, — неужели ты всерьез сказал, что не сможешь задержаться хотя бы на неделю?

— В понедельник мне нужно быть в Бостоне, на среду я взял билет до Парижа.

— Мальчишки страшно обидятся. У нас три приглашения на выходные. Познакомишься там с кем-нибудь, глядишь, придется вносить в планы коррективы.

— Тогда слава Богу, что я уезжаю, — рассмеялся Мартин. — В Бостоне хоть можно будет отдохнуть от веселья.

Линда повертела бокал в руках.

— Джон, по-моему, сейчас самое время прочитать ему небольшую лекцию.

— А тебе не кажется, что уже несколько поздновато? — смущенно заметил Уиллард.

— Какую лекцию? — с недоумением спросил Мартин, поневоле ощутив себя младшим братом.

— Понимаешь, — начал Уиллард, — получив телеграмму, мы с Линдой задумались: по окончании колледжа ты в третий раз меняешь работу, так?

— В четвертый.

— Сначала был Нью-Йорк. — В голосе Уилларда слышалась забота родственника, друга и добропорядочного

гражданина, верой и правдой проработавшего в юридической фирме целых пятнадцать лет. — Затем Чикаго. Оттуда ты направился в Калифорнию. Теперь Европа. В твоём возрасте пора подумать о какой-то стабильности, нет?

— Не дави на него слишком, — встревожилась Линда, заметив, как напряглось лицо брата. — Со стороны, Джон, это звучит, будто обращение генерала Паттона* к своим солдатам или торжественная речь в Массачусетском технологическом. Мы говорили, — повернулась она к Мартину, — что наступит день и ты поймешь: тебе уже тридцать, а жизнь проходит мимо.

— Судишь по себе? — улыбнулся Уиллард.

— Годы все равно что песок сквозь пальцы. — Линда издала негромкий смешок, и лицо Мартина смягчилось. — Но Джон прав. Молодому человеку легко потерять голову, особенно в Париже.

— Для этого у меня слишком плохо с французским, — бодро отозвался Мартин.

Он поднялся и направился к низкому столику, на котором стояло ведро со льдом. По пути Мартин ласково коснулся волос сестры.

— Мы просто хотим предостеречь тебя, — сказала Линда. — Не вижу ничего хорошего в том, чтобы...

— Подожди. — Мартин пристально смотрел в окно. — Вы ждете гостей?

— Гостей? — удивился Уиллард. — В этот час?

— Там человек. — Мартин повернул голову, пытаясь рассмотреть угол дома. — Хочет заглянуть в окно. А к балкону приставлена лестница... Скрылся...

— Лестница! — Линда вскочила с кушетки. — Ребята!

Она бросилась на второй этаж. Мужчины поспешили за ней.

* Паттон, Джордж (1885—1945) — генерал, один из командующих войсками союзников во Второй мировой войне. Был военным командантом Баварии. Погиб в авткатастрофе в Германии.

В коридоре перед открытой дверью детской горела лампа, в ее неярком свете Мартин увидел две стоящие друг против друга кровати. Мальчишки спокойно спали. Из соседней комнаты доносился храп экономки.

Уиллард с Линдой склонились над детьми, а Мартин подошел к окнам. Они были раскрыты, но от балкона детскую надежно отделяли опущенные до пола деревянные жалюзи. Подняв их, он ступил на опоясывающий весь этаж балкон. Туман еще более сгустился, и рассеянный свет из нижних окон только сбивал с толку. Мартин перегнулся через перила. Откуда-то слева донесся неясный звук. На фоне темной массы деревьев мелькнуло что-то белое. Вернувшись в спальню мальчиков, Мартин шепнул Уилларду:

— Он там, внизу. Слева от дома.

Перепрыгивая через несколько ступенек, оба стремительно спустились на первый этаж, Уиллард рванул входную дверь и бросился через посыпанную гравием дорожку за угол. В руках у него был фонарик, однако батарейки, видимо, уже сели: бледно-желтое пятно переместилось, выхватив из тьмы участок мокрой травы и переплетенные кустарником стволы, за которыми скрылся пришелец.

Без особой надежды, исцарапавшись и обрушив на себя дождь капель, они исследовали заросли. Обоих переполняла злость. Вторгшемуся, если бы его обнаружили, наверняка пришлось бы воспользоваться оружием, чтобы унести ноги от двух разгневанных мужчин. Но в кустах царила полная тишина.

Поводив вокруг бесполезным фонариком, Уиллард сдался:

— Ни черта не видно! Возвращаемся.

На обратном пути не было произнесено ни слова. Когда они вышли на лужайку, то в свете, падавшем из окон детской, увидели стоявшую в углу балкона Линду.

Она пыталась оттолкнуть ногой лестницу. Еще мгновение, и лестница с глухим стуком упала на землю.

— Нашли кого-нибудь? — спросила она.

— Нет. — Уиллард покачал головой.

— В комнатах ничего не тронута, значит, в дом он так и не попал. Лестница наша, днем ею пользовался садовник. Наверное, забыл убрать.

— Войди в дом, — посоветовал Уиллард. — Простудишься.

Бросив последний взгляд на темную лужайку и стену зелени, мужчины дождались, пока Линда скроется в детской и опустит жалюзи. Затем они поднялись на крыльцо. Уиллард отправился еще раз взглянуть на сыновей, Мартин остался в гостиной. Теперь она не казалась ему полной безмятежного уюта.

Спустившиеся в гостиную Линда и Уиллард увидели, что он стоит у окна.

— «Вы ждете гостей?» — ехидно протянул Уиллард. — Какой идиотизм. В три часа ночи?

— Да, Мартин, — заметила Линда, — сразу чувствуется, что ты еще не пришел в себя от перелета.

— Мне бы, конечно, надо было не тревожить вас, а просто тихо выйти через заднюю дверь...

— Такие умники встречаются только в кино. А в жизни мы обычно задаем вопрос: к вам гости?

— Знаете, — мысли Мартина прояснились, — я бы, пожалуй, смог узнать его. Он же стоял метрах в трех от меня, да еще напротив освещенного окна.

— Он походил на бродягу или вора? — спросила Линда.

— В такое время любой кажется бродягой.

— Позвоню-ка я в полицию, — сказал Уиллард и направился в прихожую, к телефону.

— Джонни, — остановила мужа Линда, — не лучше ли подождать до утра?

- Хочешь, чтобы его оставили безнаказанным?
- Просто поиски сейчас абсолютно бесполезны.
- Разумно, — заметил Мартин.
- А потом они захотят подняться наверх, осмотреть детскую, разбудят ребят, напугают их... — нервной скороговоркой выпалила Линда. До этого она держала себя в руках, но тут выдержка изменила ей. — Какой смысл? Не валяй дурака!
- Это кто же валяет дурака? — удивился Уиллард. — Я лишь намеревался дать знать полиции. Мои слова тебе тоже показались глупостью, Мартин?
- Понимаешь, — Мартину хотелось успокоить сестру, — я думаю...
- Но Линда не дала ему договорить:
- В конце концов, он же ничего не сделал, разве не так? Ну, хотел посмотреть в окно. Стоит ли портить остаток ночи из-за какого-то любопытного прохожего? Уверена, это вовсе не грабитель...
- Как тебя понимать? — резко спросил Уиллард.
- А чем он мог бы здесь поживиться? Драгоценностей у меня нет, единственной шубе уже семь лет, и ни один вор, если только он в здравом уме...
- Так что же он делал у чертовой лестницы?
- Всего лишь хотел подсмотреть.
- Всего лишь! — Уиллард сделал большой глоток виски. — Вечно ты расхаживаешь перед окнами почти нагишом...
- Не будь таким занудой. Кому я здесь нужна? Бурндукам и белкам?
- Не только здесь. Где бы мы ни жили, ты не меняешься. В наше время женщины... — Он повернулся к Мартину. — Когда женишься, быстро поймешь, что полдня у тебя уходит на то, чтобы задернуть шторы. Желających понаблюдать за тем, как твоя жена раздевается, у нас хоть отбавляй.

— Это смешно, Джон! — Линде пришлось повыситься голос. — Кому в нашей глуши придет в голову...

— Мне. И тому парню возле лестницы тоже. Разве я не прав?

— Откуда тебе знать, о чем он думал? Ладно, предположим, ты прав. Впредь я и близко не подойду к окну. Но это же ужасно! В собственном доме держать все на запорах!

— Надевать время от времени халат еще не значит держать все на запорах.

— Джон, — с отчаянием произнесла Линда, — ты обладаешь отвратительной способностью доводить всякую мелочь до абсурда!

— Эй, — подал голос Мартин, — я ехал к вам, как на праздник.

— Извини, — кратко бросил Уиллард, а Линда заставила себя рассмеяться.

— Вам следовало бы завести пса.

— Джон ненавидит собак, — пояснила Линда, выключая свет. — Он вообще предпочел бы жить в сейфе.

На этом спор закончился. Все отправились спать, оставив на всякий случай горящую лампу в коридоре второго этажа. Каждому было ясно, что бродяга больше не появится — по крайней мере этой ночью.

Утром Уиллард все же позвонил в полицию, и дежурный пообещал ему выслать наряд. Линда ломала голову, пытаясь придумать, под каким предлогом отправить сыновей куда-нибудь до обеда: ей не хотелось, чтобы они видели полисменов и задавали ненужные вопросы. Мальчишки никак не могли понять, почему им нельзя провести утро с любимым дядей, а Мартин был не в силах объяснить, что должен описать детективу внешность человека, который ночью пытался забраться к ним в спальню.

Когда к дому подъехал полицейский автомобиль, дети были уже далеко. Два полисмена детально осмотрели балкон и лестницу, двор и заросли, не забывая при этом отмечать что-то в блокнотах. Мартин и сам не ожидал, что портрет неожиданного визитера окажется столь неполным; краткость его рассказа, казалось, разочаровала блюстителей порядка.

— Я почти уверен, что смогу при встрече опознать того человека. Честно говоря, в его внешности не было ничего примечательного. Я имею в виду шрамы, сломанный нос или повязку на глазу.

— А возраст? — поинтересовался старший наряда, Мэдден.

— Я бы сказал, средний, сержант. Между тридцатью и сорока пятью, пожалуй.

Уиллард усмехнулся; Мартин заметил, что Мэдден тоже пытается скрыть улыбку.

— Вы поняли? Между, — повторил он.

— На цвет лица, мистер Брэккетт, вы не обратили внимания?

— Ну-у-у... В тумане, да еще при таком освещении... — Мартин колебался. — Думаю, лицо было бледным.

— Не лысый? Что у него с волосами? Пышная шевелюра? — Мэдден сделал пометку в блокноте.

И вновь Мартин не был уверен.

— Кажется, я заметил головной убор.

— Какой?

— Шляпу. — Он пожал плечами.

— Может, кепку? — предположил Мэдден.

— Нет. Наверное, все-таки шляпу.

— Ее форма? — Полисмен методично записывал ответы. — Высокая, примятая?

— Боюсь, от меня мало толку, — смущенно покачал головой Мартин. — Человек стоял прямо под окном, свет

падал сверху. Трудно сказать. Выглядел он, если напрячь память... довольно солидно.

— У вас есть какие-нибудь соображения, сержант? — поинтересовался Уиллард.

Полисмены переглянулись.

— Видите ли, мистер Уиллард, — со значением начал Мэдден, — в каждом городке найдется пара-тройка любителей бродить по ночам. Мы все проверим. У реки возводят новый торговый центр, на стройку приехало немало народу из Нью-Хейвена, люди самые разные. — Полисмен явно был не очень высокого мнения о приезжих. — Если мы что-нибудь выясним, обязательно дадим вам знать.

— Уверен, что опознаю его при встрече, — повторил Мартин, желая восстановить пошатнувшийся в собственных глазах авторитет.

— Вполне вероятно, мы обратимся к вам с просьбой взглянуть на того или иного человека, — заверил его Мэдден.

— Завтра вечером я уезжаю, — сообщил Мартин. — Во Францию.

Полисмены вновь обменялись взглядами, в которых читалось сдержанное негодование: американец стал свидетелем преступления, но предпочитает побыстрее убраться в Европу.

— Ладно, — без всякого оптимизма заметил Мэдден, — посмотрим, что удастся сделать.

Машина отъехала.

— Удивительная штука, — сказал Уиллард, глядя ей вслед. — Как легко копы дают нам почувствовать свою вину!

Они прошли в дом, и Уиллард сразу же снял телефонную трубку, чтобы сообщить Линде о завершении неприятной процедуры.

— Полиция убралась, можно везти детей назад, — сказал он.

Вечером друзья позвали их на коктейль, а на следующий день поступило новое приглашение. Поначалу Линда отказывалась идти, заявив, что после ночного происшествия не может оставить детей дома одних. Уиллард заинтересовался, что, собственно говоря, она намерена делать — сидеть с мальчишками до тех пор, пока им не исполнится двадцать? В любом случае тот человек напуган и впредь постарается обходить их дом стороной. Линда нашла доводы мужа разумными, но сочла своим долгом предупредить экономку. Было бы непорядочно, сказала она, оставлять пожилую женщину в неведении относительно их планов. Вполне вероятно, та просто соберет вещи и уйдет. Экономка работала у них всего полтора месяца, и возраст, заметила Линда, не сделал ее более уживчивой. Линда отправилась на кухню, а Уиллард нервно расхаживал по комнате.

— Мне становится тошно от перспективы подыскивать новую экономку, — объяснил он Мартину. — За то время, что мы здесь живем, сменили уже пять.

Но вернувшаяся Линда с улыбкой сообщила, что экономка оказалась очень покладистой и восприняла известие с абсолютным спокойствием.

— Сказала, что слишком стара для насильников и обожает возиться с детьми.

Убрав лестницу в гараж, Уиллард запер его и проверил задвижки на окнах и дверях в детской, обеих спальнях и располагавшейся между ними ванной комнате: все помещения имели выход на балкон.

На вечеринке, оказавшейся точной копией обычного субботнего празднества, которое устраивалось едва ли не в каждом доме в радиусе ста миль от Нью-Йорка, Уиллард с Линдой рассказали о бродяге, а Мартину вновь

пришлось описать его внешность. Как и в разговоре с полисменами, он опять немного стыдился того, что почти полное отсутствие деталей делает его в глазах слушателей человеком не слишком сообразительным.

— Шляпа была сдвинута почти на самые брови, на бледном лице никакого выражения. Выглядел он довольно напряженным, я так и сказал сержанту...

Мартин и сам заметил, как к портрету незнакомца добавились новые черты. Читавшаяся в нем напряженность была открытием: примитивное лицо бродяги представало теперь исполненным символической значимости ликом призрака, взглядывавшегося из мрака в световое пятно окна комнаты, где царила хрупкая умиротворенность.

Рассказ о загадочном посетителе вызвал в компании поток воспоминаний о грабителях, ночных убийцах и похитителях детей.

— ...и вот этот тип устоялся на него сверху, а стояло лето, и на фоне еще светлого неба отчетливо виднелась его голова. Дело было на Двадцать третьей улице. Мой приятель бросился на крышу, каким-то чудом ему удалось загнать того типа в угол, но тот выхватил нож. Потребовалось пять переливаний крови... Само собой, полиция никого не нашла...

— ...сорок пятого калибра, заряженный. Он всегда у меня под подушкой. Вы же понимаете, в наше время, когда сумасшедших пруд пруди. Нежданный визитер получит в моем доме самый радушный прием. Уж я-то не побоюсь выстрелить...

— ...дверную цепочку. Из ящиков шкафов все было вывалено на ковер. Не знаю, что они там еще сделали, но можно представить — такой сброд... Обычное дело, сказали в полиции, особенно, если добыча их разочаровала. Тут нечему удивляться, когда живешь в окружении этих пуэрториканцев.

— ...старая история. Тогда у него еще был собачий питомник, но на следующий день после похищения сына Линдберга* он продал всех своих псов, причем в три раза дешевле, чем они стоили...

Держа в руке стакан, Мартин вежливо слушал, с удивлением понимая, что всех этих добропорядочных, солидных граждан, чей быт так незыблем и спокоен, терзает страх. Рассказ о человеке, которого он увидел из окна Уилларда, напомнил им о готовых обрушиться на их головы бедах: несмотря на запоры, хранившиеся под рукой «кольты» и полицию, они чувствовали себя уязвимыми и беззащитными.

— От твоих слов у них бодрящий холодок по спине пробежал, — негромко заметила приблизившаяся к брату Линда.

— Не такой уж и бодрящий, — задумчиво сказал Мартин, окидывая взглядом серьезные лица состоятельных домовладельцев.

Он видел, что Линда после изматывающей ночи и неприятностей с полицией все же довольно спокойно вспоминает о случившемся. Но восхищение сестрой не могло заглушить беспокойства: как оставить ее одну в огромном, окруженном дикими зарослями доме, ведь Уилларду частенько приходится возвращаться за полночь? В конце концов, что помешает так и не пойманному незнакомцу явиться еще раз — через неделю, через месяц? Дожливой ночью, когда луна будет скрыта тучами?

— Пожалуй, нам пора. — Линда бросила взгляд на часы. — Нас ждут в половине девятого к ужину. — Она обвела глазами комнату. — Ты никого не хочешь пригласить? Чарлз сказал, что, поскольку у них лишь легкая закуска, ты волен...

* Линдберг, Чарлз (1902–1974) — летчик, совершивший в 1927 г. первый беспосадочный перелет через Атлантику. В 1932 г. Америку потрясла весть о похищении и убийстве его полугодовалого сына.

— Нет, спасибо. — Мартин улыбнулся. — Очень приятные люди, но... — Он не договорил.

Вошедшая в комнату высокая блондинка в темно-синем платье направилась к хозяйке, чтобы принести извинения за опоздание. Собранные на затылке в тяжелый пучок волосы придавали ее облику вид горделивый и старомодный. Голос молодой женщины звучал низко и мелодично, а сама она была, бесспорно, настоящей красавицей.

— Так. — Мартин повернулся к сестре. — Разве что эту. Дай мне десять минут.

— Ничего не выйдет, братец, — покачала головой Линда. — Энн Боумэн замужем, и супруг стоит у двери.

Продолжая держать стакан, она указала на рослого мужчину в прекрасно сшитом темном костюме. Он увлеченно беседовал с Уиллардом и хозяином дома.

— В таком случае, — Мартин еще раз взглянул на очаровательную миссис Боумэн, — можно идти.

— Ты увидишь ее завтра, — обронила по пути к двери Линда. — Если не ошибаюсь, Уиллард уже договорился об утренней партии в теннис.

Они осторожно пробирались сквозь толпу гостей к Уилларду, все еще занятому разговором с хозяином. Боумэн успел присоединиться к группе обсуждавших что-то мужчин.

— Уже идем? — спросил Уиллард. — Господи, время-то! — Сделав шаг, он хлопнул Боумэна по плечу. — Гарри, познакомься с братом моей супруги. Завтра мы с ним явимся к вам сыграть в теннис.

Боумэн стоял к ним спиной, и за мгновение до того, как он обернулся, его собеседники разразились хохотом.

— Очень рад. Наслышан, наслышан. Ваша сестра делится со мной всеми секретами, — с улыбкой на бледном ухоженном лице Боумэн протянул руку Мартину. — Это правда, что вы, как она говорила, однажды чуть не выиграли у Герба Флэма?

— Тогда нам обоим было по двенадцать. — Мартин изо всех сил старался сохранять невозмутимость: ведь это было обычное знакомство перед уходом с банальной вечеринки. Но оставаться спокойным оказалось невыносимо трудно. Всмотревшись в честное, тонкое лицо преуспевающего джентльмена, он готов был поклясться, что именно Боумэна видел ночью в пятне света.

— Желаю вам крепкого сна. Завтрашняя игра обещает быть интересной. Спуску не ждите! — Он по-приятельски чмокнул Линду в щеку. — Не забудь привести ребят, они не помешают. Пусть поваляют дурака вместе с нашими.

Махнув на прощание рукой, Боумэн повернулся к друзьям. Изящный, со вкусом одетый, уверенный в себе, он производил впечатление энергичного, только что разменявшего четвертый десяток мужчины, каких можно увидеть на встрече выпускников хорошего колледжа или в креслах вице-президентов известных компаний, где кабинеты устланы мягкими коврами, а о деньгах говорят спокойным, выдержанным тоном и лишь при закрытых дверях.

Мартин молча вышел вслед за Линдой и ее мужем из дома, никак не отреагировав на брошенную Уиллардом фразу:

— Он великолепный игрок, особенно в паре. Ни одного лишнего движения.

В машине по дороге к дому Чарлза, где их ждали на ужин, Мартин тоже молчал, пытаясь сложить из обрывков воспоминаний нечто цельное. Но для этого ему требовалось одиночество. Из головы не шла открытая улыбка Боумэна, крепкое пожатие сухой ладони тренированного игрока, буднично-фамильярный поцелуй, запечатленный на щеке Линды.

— Линда, — Уиллард оторвал взгляд от узкой дороги, — ты должна пообещать мне кое-что.

— И что же это?

— Всякий раз, когда мы будем собираться на вечеринку, ты должна громко напоминать мне: «Уиллард, в твоём возрасте джин — непозволительная роскошь».

Тем гостям, кто не был у Слокумов, Мартин во время ужина был вынужден повторить описание человека, которого он видел из окна. На этот раз ему хотелось сделать портрет как можно более расплывчатым, и задача оказалась нелегкой. Лицо и фигура Боумэна (лет сорок, голубые глаза, коротко подстриженные волосы пшеничного цвета, добродушная улыбка, ровные белые зубы, рост около шести футов, вес — примерно сто семьдесят пять фунтов, широкие плечи производили впечатление достойного гражданина, отца семейства и удачливого бизнесмена) продолжали стоять перед глазами, узнаваемые и четкие. Мартин с трудом вспоминал общие фразы, которыми обходился прежде. «Какой смысл, — подумал он, — возводить напраслину на человека?» Если хотя бы одно неосторожное слово бросит на Боумэна тень подозрения до того, как станет абсолютно ясно, что именно он стоял той ночью у окна, неприятностей не избежать.

Мартин раздумывал об этом по дороге домой и, когда Уиллард с Линдой предложили выпить перед сном по стаканчику, решил ничего не говорить им. Глядя на сестру, Мартин вспоминал, с какой тревогой отнеслась она к предложению вызвать полицию, как спорила с Уиллардом, как прижалась к плечу Боумэна, когда тот поцеловал ее на прощание. Он помнил, что спала Линда отдельно от мужа, что раза три-четыре в неделю Уиллард допоздна задерживался в городе... Это направление мыслей смущало Мартина, но поделать он ничего не мог. Линда — его сестра, он любит ее, однако что ему известно о том, как она живет? Они не встречались столько лет! На собственном опыте испытыв силу чувственных порывов, он не раз совершал поступки,

о которых потом приходилось сожалеть. Линда — его сестра, значит, в ней течет та же кровь. Нет, пришел к выводу Мартин, необходимо подождать.

В одиннадцать утра они были на теннисном корте, где их уже ждали Боумэн и его приятель Спенсер, довольно сильный на подаче, но не более того. Боумэн оказался проворным и ловким, игра доставляла ему наслаждение вне зависимости от счета.

Мальчишки Уилларда возились сбоку от площадки с детьми Боумэна — двумя сыновьями и дочерью, которые показались Мартину слишком спокойными и сдержанными для своего возраста: старшему было одиннадцать, младшей — шесть.

После второго сета из дома появилась миссис Боумэн с подносом, на котором стояли кувшин апельсинового сока и несколько стаканов. Ее наряд — темное платье с белым воротничком — выглядел здесь неуместно, а сама она держалась отчужденно. Некоторое время миссис Боумэн наблюдала за игрой, и, поглядывая на нее, Мартин совершал ошибку за ошибкой. Ему почему-то хотелось, чтобы супруги обменялись хотя бы взглядом, знаком... Но женщина сидела неподвижно, не проронив ни слова по поводу хорошего или неудачного удара. Нисколько не занимали ее и пятеро детей. Минут через десять она встала, высокая, изящная, безучастная, и по аккуратно подстриженному газону направилась к большому красивому дому.

Поднявшийся ветер заставил мужчин прекратить игру. Пожав друг другу руки, они подошли к столику с подносом. Сыновья Уилларда тут же вскарабкались на отца, требуя соку. Дети Боумэна молча стояли в стороне и приблизились лишь тогда, когда тот налил каждому по стакану и позвал их. Вежливо поблагодарив, они взяли сок и вновь отошли.

— Жаль, что ты не пробудешь здесь все лето, — обратился Боумэн к Мартину, когда они уселись прямо на траву. — С твоей помощью наши теннисисты изрядно подняли бы свой уровень. Глядишь, и твой родственничек стал бы поживее! — Он доброжелательно хмыкнул, подмигнул Мартину и полотенцем вытер со лба пот.

— В конце недели мне нужно быть в Париже. — Мартин не сводил глаз с лица Боумэна.

Тот, невозмутимо улыбаясь, приложил полотенце к щекам.

— Нам будет не хватать тебя, особенно по выходным. Но хотя бы поужинать с нами ты не откажешься?

— Он рассчитывает успеть на шестичасовой рейс в Нью-Йорк, — вставил Уиллард.

— Какая досада! А мы собираемся в саду жарить на решетке мясо, если, конечно, дождя не будет. Задержись еще на день. По воскресеньям Нью-Йорк вымирает, тоска там ужасная. — Голос Боумэна звучал тепло, по-дружески.

— А что, — внезапно решил Мартин, — почему бы и нет?

— Отлично! — одобрительно воскликнул Боумэн, а Уиллард взглянул на Мартина с удивлением. — Мы позаботимся о том, чтобы ты не скучал. Я дам знать нашей деревенщине, уж они постараются. Дети! — Он повернул голову. — Пора обедать!

— Что заставило тебя передумать, шурин? — поинтересовался Уиллард по пути домой. — Миссис Боумэн?

— Она просто великолепна, не правда ли? — решил подыграть Мартин.

— К ней подкатывал каждый местный донжуан, — ухмыльнулся Уиллард. — Пустое дело.

— Пап, — протянул сидевший на заднем сиденье старший сын, — а кто такой Дон-Жуан?

— Так звали одного человека, который жил много лет назад.

До самого вечера Мартин старался как можно больше разузнать о чете Боумэн. Выяснилось, что женаты они уже четырнадцать лет, что не стеснены в средствах (родителям Энн принадлежало несколько хлопкопрядильных фабрик, а сам Боумэн руководил их главным офисом в Нью-Йорке), что любят принимать гостей и пользуются всеобщим уважением. Уиллард и Линда бывают у них два, а то и три раза в неделю. В отличие от большинства мужчин в округе Боумэн никогда не интересуется юбками.

Одеваясь к ужину, Мартин заключил, что совершенно сбит с толку. Встретив Боумэна на вечеринке, он был уверен, что видит того же человека, который ночью стоял у окна гостиной. На теннисном корте эта уверенность лишь окрепла. Однако дом, жена, дети, слова Уилларда и Линды, дружелюбие и искренность Боумэна, его мягкий юмор заставили Мартина сомневаться. Если в ту ночь под балконом и в самом деле был Боумэн, он не мог не узнать Мартина и почти наверняка понял, что тоже узнан. Ведь они тогда в упор смотрели друг на друга — при ярком свете секунд десять с расстояния не более двух метров. Боумэну ничего не стоило отменить игру: набрать номер и сказать, что у него болит голова, что слишком силен ветер, да мало ли предложений...

— Черт, — пробормотал Мартин, завязывая перед зеркалом узел галстука.

Необходимо что-то делать, и не откладывая, сегодня же вечером. Но что? Не обернется ли все гротеском, не могут ли необдуманные поступки привести к трагическим последствиям?

Спустившись в гостиную, Мартин увидел Уилларда. Тот в одиночестве листал газету. Мартин был готов поддаться искушению и поделиться с мужем сестры своими сомнениями, облегчить тяжкий груз ответственности. Он

уже раскрыл рот, но в этот момент за его спиной возникла готовая к выходу Линда. Мартин молча проследовал к машине, сожалея о том, что у него нет лишних двух недель, которые дали бы возможность понаблюдать, взвесить информацию и действовать обдуманно и решительно. В его распоряжении имелся один-единственный вечер. Впервые за время, прошедшее с того дня, когда он бросил работу в Калифорнии, Мартин без всякого удовольствия подумал о предстоящей поездке.

Гостей собралось довольно много, явно больше двадцати человек. Вечер оказался теплым, и все вышли на зеленую лужайку перед домом, где были расставлены столы и высокие канделябры. Горевшие в них свечи мягко освещали белоснежные скатерти; два приглашенных официанта то и дело подбегали к сложенному из кирпича огромному очагу в дальнем конце цветника, там раскрасневший Боумэн в жестком накрахмаленном фартуке сноровисто жарил куски мяса.

Мартин сел за один столик с миссис Боумэн, между ней и приятной молодой женщиной по фамилии Уинтерс, всю флиртовавшей с мужчиной за соседним столиком. Ближе к середине ужина Мартин был поражен, узнав, что флиртует она с собственным мужем. Миссис Боумэн рассказывала ему о Франции, где она побывала до войны еще девочкой, а лет пять назад съездила туда еще раз. Оказалось, ее весьма интересуют гобелены, она даже посоветовала Мартину посетить кафедральный собор в Байи, чтобы увидеть изумительные шедевры средневековых ткачей. Не был забыт и Музей современного искусства в Париже с его коллекцией работ молодых авторов. Голос женщины звучал удивительно мягко и ровно, без всяких интонаций. Чувствовалось, что на другие, более личные темы она будет говорить тем же спокой-

ным, убаюкивающим тоном, напоминавшим минорную мелодию, ограниченную одной нижней октавой.

— Вы не собираетесь вновь посмотреть на Францию? — полюбопытствовал Мартин.

— Нет. Я больше не путешествую.

Миссис Боумэн повернулась к соседу справа, и Мартин не смог ее спросить — почему? Короткая фраза походила на констатацию давно принятого решения, не подлежащего пересмотру.

До конца ужина беседа за их столиком шла о самых обыденных вещах. Мартин автоматически поддерживал ее, время от времени поглядывая на сидевшего неподалеку Боумэна в шегольском фартуке. Тот громко смеялся шуткам гостей, открывал бутылки и ни разу не повернул головы в сторону жены.

Была почти полночь, и кое-кто уже отправился домой, когда Мартину представилась возможность переговорить с Боумэном наедине. Стоя у дома возле служившего баром стола, тот щедро лил в стакан виски. Фартук куда-то пропал. Боумэн опустил бутылку и оценивающе посмотрел на мерцающую в стакане жидкость. Вернувшаяся бледность сделала его лицо усталым и отстраненным, как если бы в тот момент он напрочь забыл о вечере, о роли радушного хозяина и покидавших компанию гостей. Ожидавший этого момента более получаса, Мартин подошел ближе.

— Мистер Боумэн!

Секунду или две Боумэн, казалось, ничего не слышал. Едва заметно вздрогнув, он поднял голову; лицо его растянуло привычная улыбка.

— Гарри, мой мальчик. Просто Гарри.

— Гарри, — почтительно повторил Мартин.

— Твой стакан пуст, приятель. — Боумэн вновь протянул руку к бутылке.

— Не стоит, спасибо. Мне хватит.

— Пожалуй, ты прав. Виски не даст тебе заснуть.
— Я размышлял о вашей проблеме.
— Гм... О какой проблеме? — Боумэн прищурился.
— О теннисном корте. Вернее, о том, что он расположен на небольшом склоне. Когда поднимается ветер, как сегодня...

— Да-да. Досадно, не правда ли? Похоже, мы ошиблись, разбив площадку в северной части участка, но на этом настоял застройщик. Это как-то связано с дренажем... — Неопределенно махнув рукой, Боумэн отхлебнул из стакана.

— Думаю, я мог бы вам помочь.

— Неужели? Это было бы отлично. Я останусь твоим должником. — Темп речи Боумэна ускорился. — Назови день, и мы...

— Но я завтра уезжаю, а потом...

— Ах да, конечно. — Боумэн качнул головой, как бы удивляясь собственной забывчивости. — Франция! Страна света. Счастливчик! В твоём возрасте...

— Если бы вы сейчас прошли со мной, это заняло бы не более двух минут.

Боумэн задумчиво поставил стакан и, часто моргая, уставился на Мартина:

— Само собой. Ты очень любезен.

Лавируя между столиками, они двинулись в сторону корта, стальная сетка которого виднелась на фоне звездного неба в сотне ярдов от дома.

— Мартин! — послышался за их спинами голос Линды. — Куда вы направились? Нам тоже пора домой.

— Я сейчас вернусь.

Вместе с Боумэном он спускался по пологому склону, покрытому мокрой от росы травой.

— Надеюсь, ты не умер у нас от скуки? Боюсь, молодежи явно не хватало. Так всегда бывает...

— Какая скука? Вечер получился замечательный.

— Неужели? — Боумэн пожал плечами. — Ладно, в любом случае что-то же нужно было делать. — Фраза прозвучала довольно туманно.

Они остановились у корта. Четвертинка луны едва свечивала линии разметки. Не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра, стояла полная тишина, нарушаемая лишь негромкими, но отчетливыми звуками затухающего застолья.

— С такой же проблемой столкнулся мой друг, — проговорил Мартин, внимательно наблюдая за лицом Боумэна. — Он построил корт в окрестностях Санта-Барбары и засадил его с севера густым кустарником. Никакой тени! Через пару лет кустарник вымахает чуть ли не в три метра, и, если не бить свечой, вы будете абсолютно нормально играть даже при самом сильном ветре. Посадите его футак в двух по ту сторону ограды, чтобы не тратить время на поиски мяча. Я бы советовал примерно здесь. — Мартин топнул ногой.

— Пожалуй. Неплохая идея. Я поговорю с садовником. — Боумэн расстегнул молнию на брюках. — Не составишь компанию? Одно из самых невинных удовольствий. В наш урбанизированный век так приятно оросить траву под луной!

Мартин молча ждал, пока Боумэн закончит свои дела.

— Так-то, — с удовлетворением сказал тот, как совершивший похвальный поступок мальчишка. — Что ж, пора и к гостям.

— Боумэн! — Мартин коснулся его локтя.

— Да? — В голосе слышалось удивление.

— Что вы делали у дома моей сестры в пятницу ночью?

Боумэн отступил на шаг и, склонив голову, с недоумением уставился на Мартина.

— Как? — Он рассмеялся. — Это шутка? Линда никогда не говорила мне, что ее брат — шутник. Но ее

словам выходило, будто ты даже слишком серьезный молодой человек. Помню, как она беспокоилась по этому поводу...

— Что вы делали у окна? — повторил Мартин.

— Думаю, тебе лучше отправиться спать, парень.

— Хорошо. Я отправлюсь спать. Но перед этим сообщу Линде и Уилларду, что это были вы. То же самое я скажу и в полиции.

— Ты начинаешь действовать мне на нервы, мальчик. — Боумэн улыбнулся. — Это будет глупо. Все окажутся в дурацком положении, и ты первый. Кто тебе поверит?

— Моя сестра. И Уиллард тоже. — Мартин зашагал к белевшим под свечами столикам. — А там посмотрим.

— Одну минуту, — в спину ему сказал Боумэн.

Мартин остановился. Мужчины молча смотрели друг на друга.

— Поэтому-то ты и решил задержаться еще на день? — сухо кашлянув, спросил Боумэн.

— Да.

— Я так и подумал. — Тыльной стороной кисти он провел по щеке. — Ладно, предположим, это действительно был я. Чего ты хочешь?

— Я хочу знать, что вы там делали.

— Какая разница? — Теперь Боумэн говорил, как упрямый ребенок, голос его повысился. — У вас что-нибудь пропало? Я что-то сломал? Скажем, мне пришлось в голову нанести визит...

— Воспользовавшись приставной лестницей? Неплохо.

— Не следует бросать лестницу где попало, — назидательно протянул Боумэн. — Почему бы тебе не оставить меня в покое? Поезжай в свою Францию и выбрось все из головы.

— Что вы там делали?

Боумэн неловко всплеснул руками:

— Просто гулял.

— Видимо, мне все же придется сходить в полицию. Послышался протяжный вздох.

— Я только смотрел, — шепотом выговорил Боумэн. — Я всего лишь наблюдаю и никому не причиняю вреда. Ты и сейчас не хочешь оставить меня в покое?

— Что значит «наблюдаю»?

Боумэн усмехнулся.

— Наблюдаю за счастливыми парочками, — почти девичьим кокетством произнес он, и Мартин впервые подумал: в своем ли уме стоящий перед ним мужчина? — Ты не поверишь, сколько вокруг счастливых людей. Молодых и старых, толстых и стройных, христиан и мусульман. У них веселые и довольные лица, они пожимают друг другу руки, отправляются по утрам на работу, а возвращаясь домой, целуют жен и детей. Они расппевают песни на вечеринках, опускают деньги в церковную кружку, произносят речи на родительских собраниях в школе, шумными компаниями проводят отпуска и приглашают домой друзей. Они занимаются любовью, открывают счета в банках, покупают страховки, заключают сделки и хвастаются своими успехами. Празднуют новоселья, крестят детей, раз в год проверяют, нет ли у них рака. Каждый знает, что делает, чего хочет, к чему стремится... Как я... — Он снова усмехнулся. — Вопрос заключается в следующем: кого они хотят обмануть? Кого хочу обмануть я? Посмотри на меня. — Боумэн почти вплотную приблизился к Мартину, обдав его тяжелым запахом уже перегоревшего джина, вина и виски. — Самый большой дом в округе, красавица жена, к которой пытались подъехать не менее десятка мужчин, а она и глазом не моргнула. Трое детей — «да, сэр, нет, сэр» и молитва перед сном за здоровье родителей. Все это спектакль. Ничему не верь! Временами мы с женой тоже занимаемся любовью, ну и что? Одно животное по-

крывает другое. Самец воделеет, самка... ну, скажем, подчиняется, не более. Потом я встаю, перебираюсь в свою постель и не ощущаю ничего, кроме стыда. Я не чувствую себя человеком. Это ты можешь понять? Да, я пьян, пьян, но если бы у меня хватило мужества быть искренним, когда я протрезвею, то сказал бы то же самое. А жена? Ее больше интересует покупка новых штор в гостиную, чем то, жив я или мертв. Уходя утром на работу, я не могу отделаться от мысли, что к вечеру она с трудом вспоминает мое имя. Дети — настоящий вражеский лагерь, за дальним рубежом выжидающий момента объявить войну. Ах, какой будет сюрприз: бросить бомбу и прикончить любимого папочку! И это считается нормой. Почитай газеты — дети убивают родителей каждый день, не говоря уж о том, что просто бросают их подыхать голодной смертью. Дома для престарелых переполнены. Весь день я сижу в офисе, нанимаю и увольняю людей, напускаю на себя важный вид, толкаю бизнес вперед, а за всем этим — пустота, голая, абсолютная пустота.

Не в силах выносить сильнейший запах алкоголя, Мартин отступил на шаг. Он был поражен потоком откровений человека, ничем в общем-то не отличавшегося от тех, с кем доводилось общаться прежде.

— И все-таки, — казалось, путанными признаниями Боумэн пытается сбить его с толку, увести в сторону от главного, — какое это имеет отношение к лестнице?

— Я хочу найти ответ. Я как путешественник, который стремится отыскать оазис в бескрайней американской пустыне. Я оптимист. Уверен, что ответ существует. Уверен, есть люди, которым незачем обманывать, которые не только кажутся счастливыми, но и на самом деле счастливы. Только чтобы узнать их секрет, нужно застать таких людей врасплох, парень. Я наблюдаю за животными в их естественной среде обитания, ловлю, как фото-

граф, момент, когда тайное становится явным. Вот двое сидят вечером на кухне за чашкой кофе и говорят о жизни. Что у него на лице: любовь, ненависть, скука? Не размышляет ли он о поездке с любовницей во Флориду? Или, пожалуйста: отец помогает десятилетнему сыну справиться с домашним заданием. Светится ли в его глазах надежда? А постель? Нежны ли в ней муж и жена, полны ли их движения чистой, взаимной радости? Или они просто спариваются наподобие животных, как мы с Энн?

— Хотите сказать, — с недоверием проговорил Мартин, — что именно для этого вы и смотрите в окна?

— Конечно.

— Вы рехнулись.

— Если ты намерен продолжать в том же ключе, — с обидой пожал плечами Боумэн, — то разговор теряет всякий смысл. Что безумнее: жить, как я, год за годом не испытывая никаких чувств, зная лишь о существовании тайны и пытаясь раскрыть ее, либо сдать ее, поплыть по течению? В чем тут дело? Неужели жизнь — это пустота? Для всех? Ты в состоянии дать ответ? Может, тебе самому стоит заглянуть в пару окон? Посмотреть глазами честного калифорнийского парня, как живут другие? Оставайся, сходим как-нибудь вместе. Кое-кто из присутствующих здесь поразит тебя. Подглядывать за ними все равно что принять наркотик. — Боумэн махнул рукой в сторону столиков. — Справа от тебя сидела миссис Уинтерс, которая весь вечер заигрывала с собственным мужем, смеялась его шуткам так, будто он зарабатывает миллион долларов в год. На вечеринках они вечно держатся за руки, как влюбленные за три дня до свадьбы. Их я тоже видел... Знаешь, чем они занимаются по ночам?

— Не хочу слушать. — К миссис Уинтерс Мартин испытывал симпатию.

— Все в порядке, — с насмешкой бросил Боумэн. — Это не оскорбит твоих чувств. Они и слова не говорят друг другу. Она поднимается вверх, глотает пригоршню таблеток, мажется кремом, делает себе маску и укладывается. Он сидит внизу и в полном одиночестве пьет неразбавленное виски. Когда в бутылке остается меньше половины, он в ботинках устраивается на кушетке и засыпает. Я наблюдал за ними четырежды, каждый раз происходило одно и то же. Пилюли, виски и тишина. Зато в глазах толпы они — любовники. Господи, как же это смешно! А другие, даже те, кто живет один... Ты ведь не знаком с нашим священником, преподобным Фенуиком?

— Нет.

— Естественно. Как-то раз вместо службы он пришел ко мне сыграть в теннис. — Боумэн хихикнул. — Недели три назад я навестил служителя Господня. Спальня у него на первом этаже. Почтеннейший седовласый джентльмен, великолепно подошел бы на роль папы в фильме о Ватикане. Его смиренная, всепрощающая улыбка озаряет весь штат. Чем же, по-твоему, святой отец занимался, когда я наблюдал? Стоя в одних трусах перед огромным, в полный рост, зеркалом, втягивал живот, крутился и с одобрением рассматривал свою фигуру. Не поверишь, но он в великолепной форме, наверняка без труда раз пятьдесят отожметя от пола. Потом принялся укладывать на голове пряди, точь-в-точь как женщина перед выходом на улицу. Этакая художественная небрежность его прически уже никого не удивляет. Фенуик всегда выглядит так, будто слишком поглощен общением с Богом для того, чтобы обращать внимание на такие мирские мелочи, как расческа. Он корчил рожи, в молитвенном экстазе складывал руки, благословлял, словом, готовился к воскресной проповеди — и все это в трусах. Он был похож на престарелого футбольного защитника.

Комедиант. Не знаю, на что я надеялся. Может, думал застать его на коленях, с лицом, светящимся благодарью, которой так не хватает ему в церкви? Видимо, здоровая плоть мешает... — Подавшись в темноте к Мартину, Боумэн заговорщически склонил голову. — Я интересовался нашими братьями из Африки...

— О чем это вы?

— О цветных. Возвращаясь, так сказать, к матери-природе, во всяком случае, ближе к ней, как думалось мне. У Слокумов живет пара цветных, ты их видел, они разносили гостям напитки. Обоим около тридцати пяти. Муж — здоровяк, впечатление такое, что он может стены крушить голыми руками. Жена под стать ему: мощная, с огромной грудью, а зад и взглядом не окинешь. Как-то раз я сидел позади них в кинотеатре, и, когда супруги смеялись, уши закладывало, как от орудийного салюта. Можно было подумать, что, увидев их в постели, белый человек устыдится своих бессильных пуританских ласк. Ничего подобного. У Слокумов они занимают комнатку позади кухни, и подобраться к окну совсем несложно. Я проторчал там полночи. Оба читали, и только. — Боумэн беззвучно рассмеялся. — Знаешь, что именно? Она листала «Второй пол», французскую книжонку о том, сколь дурно мужчины относились к женщинам, начиная с плейстоцена*. А он изучал Библию, первую страницу Книги Бытия. «В начале было слово». — Боумэн вновь захохотал, наслаждаясь воспоминаниями. — Недавно я наведалься к ним еще пару раз; но шторы были опущены, так что трудно сказать, каков круг их чтения сейчас...

— Гарри! Гарри! — послышался голос миссис Боумэн, стоявшей метрах в тридцати от них. — Чем ты там занят? Гости расходятся.

* Период истории развития Земли, начавшийся около миллиона лет назад и длившийся примерно восемьсот тысяч лет.

— Да, дорогая, идем, — отозвался тот. — Позволь только закончить анекдот, а то Мартин не поймет, в чем соль. Буквально одну минутку.

— Поторопись, уже совсем поздно. — Фигура женщины растворилась в призрачном лунном свете.

— Что вы рассчитывали найти в доме моей сестры и ее мужа? — Признание Боумэна потрясло Мартина, в эту минуту он так же мало представлял себе, что следует делать, как и перед приходом сюда.

— Они были моей последней надеждой, — негромко ответил его собеседник. — Пойдем-ка туда.

По лужайке оба направились к дому.

— Временами эти двое кажутся... — Боумэн заколебался, — так сильно привязанными друг к другу, такими довольными... Я частенько возвращаюсь домой в одном вагоне с Уиллардом, и, встречая его, твоя сестра держится как бы особняком. Когда появляется муж, с лицом Линды что-то происходит. Они ведут себя совсем не так, как Уинтерсы, зато иногда я замечаю почти незаметные, кончиками пальцев, их прикосновения. Да еще дети... Они открыли некую тайну, которая не известна мне. Глядя на них, я ощущаю, что еще немного, и мне тоже удастся познать ее. Еще самую малость... Вот почему ты едва не поймал меня той ночью. Господи, ведь прошли годы, и никто ничего не замечал. Я осторожен, как кот. Там, у окна вашей гостиной, я забыл, где нахожусь. Когда твое лицо приблизилось к стеклу, я... Мне захотелось улыбнуться, сказать «везет же счастливичику»... Но, может быть, я и в них ошибаюсь.

— Нет, — задумчиво сказал Мартин. — Нет, вы не ошибаетесь.

Они подошли к столикам; в доме кто-то включил радио, а на террасе под мягкие звуки лившейся из динамиков музыки танцевали несколько пар. Среди них кружились Линда и Уиллард — едва касаясь друг друга

кончиками пальцев. Положив руку на плечо Боумэна, Мартин замер. Сквозь тонкую ткань пиджака его ладонь ощутила легкую дрожь.

— Послушайте. — Мартин не отводил глаз от сестры и ее мужа. — Мне бы следовало рассказать все им. Да и полиции тоже. Даже если ничего не докажешь, вы ведь понимаете, чем такая история вам грозит, особенно здесь.

— Понимаю. — Боумэн с отчаянием следил за танцующей четой. — А, поступай, как сочтешь нужным, — бесцветным голосом сказал он. — Мне все равно.

— Они ни о чем не узнают. — Мартин надеялся, что в его голосе нет ни капли жалости. — Но сестра пишет мне каждую неделю. Если я вдруг услышу, как кто-то раз, хотя бы только раз...

— Ты ничего не услышишь. — Боумэн пожал плечами. — По ночам я буду спать. С чего мне совать куда-то нос? Зачем обманывать себя?

С уверенностью повредившегося в уме человека он зашагал прочь. Шпион, забредший на темную сельскую дорогу с карманами, набитыми не поддающимися расшифровке донесениями. Он неторопливо прокладывал себе путь среди танцующих, и через минуту до Мартина донесся его громкий, искренний смех: Боумэн стоял у столика с напитками в компании мистера и миссис Уинтерс.

Мартин вновь повернулся к сестре и Уилларду, плавные движения которых выглядели такими слаженными под негромкую музыку. Внезапно он понял, что Уилларду нет никакой нужды быть ведущим, а Линде — ведомой. Их просто связывала единая нить, один естественно продолжал другого. Они были выше любой опасности.

«Бедный Гарри, — подумал Мартин. — И все же, и все же, — пронеслась у него мысль, — завтра я подарю им собаку».

МЕЧТАТЕЛЬНАЯ И НЕУЛОВИМО БЕСПЕЧНАЯ*

Раздался телефонный звонок, и мисс Дрейк сняла трубку. Мисс Дрейк — это моя секретарша. Ее привели ко мне в канун Рождества, когда я стал младшим партнером фирмы «Роналдсон, Роналдсон, Джоунз энд Мюллер». Стол мисс Дрейк находится в моем кабинете, комнатке восемь на девять футов, где нет даже окна. Но наличие секретарши лучше всяких слов говорит о начавшемся пути наверх. Временами я поглядываю на нее с тем же волнующим чувством победителя, какое испытывает яхтсмен, получивший свой первый кубок в большой регате.

— Это вас, мистер Ройал. Некая мисс Хант.

В ее голосе слышались дерзкие, полухидные-полуснисходительные нотки — так она говорила всегда, когда мне звонила женщина, пусть даже жена.

Некая мисс Хант.

На мгновение я заколебался, оценивая возможную опасность.

Мисс Дрейк терпеливо ждала. В фирму она пришла совсем недавно, и Кэрол была для нее только некоей мисс Хант. Моя секретарша еще не успела как следует

* Wistful, Delicately Gay. © 2001. Ю.Г. Кирьяк. Перевод с английского.

освоиться, чтобы выслушать все разговоры и сплетни. А может, эта сплетня стала уже настолько старой, что даже самые вредные и злые языки забыли ее или считали безнадежно обветшавшей и вспоминали о ней, лишь когда другие темы оказывались исчерпанными. В конце концов прошло целых два года...

У боли свои законы, и тот, кто утверждает, будто человечество всегда стремится избежать ее, просто не знает, о чем говорит.

— Может, сказать, что вы заняты? — осведомилась мисс Дрейк, прикрыв трубку рукой.

Таких, как она, рано или поздно увольняют: уж больно часто они позволяют себе думать за своих шефов.

— Нет. — Мне пришлось сделать усилие, чтобы сохранить на лице самое равнодушное выражение. — Я поговорю с ней.

Мисс Дрейк перевела рычажок, и я снял трубку.

— Питер, — услышался голос Кэрол, — надеюсь, ты не против, что я позвонила?

— Нет.

Вне зависимости от моих ощущений слово «против» к ним явно не подходило.

— Я неделями боролась с собой, все откладывала и откладывала, но сегодня решилась. Мне необходимо поговорить с тобой.

Голос ее ничуть не изменился — низкий, мелодичный и чувственный. Я повернулся в кресле так, чтобы мисс Дрейк не видела моего лица, и прикрыл глаза. Сразу куда-то пропали два потерянных, полных неуверенности и боли года. Точно так же Кэрол Хант назначала мне когда-то встречу в баре неподалеку от ее дома на Второй авеню, говорила об ужине, на который мы должны были пойти в воскресенье в Вестпорте, и признавалась в любви.

— Вечером я уезжаю, Питер, — доносился из трубки ее голос, неторопливый и печальный, с теми отзвуками

солнечного детства, что дарили мне когда-то столько радости. — Если только моя просьба не слишком затруднительна, я была бы рада увидеть тебя. Всего на несколько минут. Мне нужно тебе кое-что сказать.

— Уезжаешь? — Мне страшно хотелось, чтобы мисс Дрейк вышла из кабинета. — Далеко?

— Домой, Питер.

— Домой? — по-идиотски повторил я.

Мне всегда почему-то казалось, что единственным домом Кэрол был Нью-Йорк.

— В Сан-Франциско. Поезд отходит в половине четвертого.

Часы на моем столе показывали пятнадцать минут двенадцатого.

— Вот что, давай пообедаем вместе, — предложил я.

Дорис можно будет ничего не говорить. После шести с половиной месяцев супружеской жизни мужчина имеет право на маленькую ложь.

— С обедом ничего не выйдет, Питер.

Спорить с ней не имело смысла. Что бы Кэрол ни пережила за эти два года, она абсолютно не изменилась.

— Когда? — спросил я. — Когда и где мы встретимся?

— Поезд отправляется с Пенсильвания-стейшн. Может, в баре Стэтлера, что на противоположной стороне улицы? В... — Кэрол запнулась, как бы высчитывая, сколько времени ей потребуется, чтобы сказать мне то, что она намеревалась. — Как насчет половины третьего?

— В два тридцать. — Тут мне пришло в голову отпустить одну из тех шуток, от которых собеседник потом с проклятиями ворочается в постели. — Во что ты будешь одета? Вдруг я не узнаю тебя?

Видимо, захотелось дать ей понять, что два прошедших года вовсе не опустошили мою душу. Или я пытался показать себя бесчувственным тертым калачом? Таков порядок: сейчас все хотят выглядеть бесчувственными тертыми калачами.

На противоположном конце провода повисло молчание, я со страхом подумал: вдруг она повесила трубку?

Но тут прозвучал ответ, спокойный и ровный, без всяких эмоций:

— На мне будет улыбка. Широкая, по-девчоночьи бесшабашная улыбка. Итак, в два тридцать.

Положив трубку, я с полчаса предпринимал отчаянные попытки погрузиться в работу, но у меня так ничего и не вышло. Наконец я поднялся из-за стола, надел пальто, шляпу и сказал мисс Дрейк, что вернусь около четырех. Одним из преимуществ положения младшего партнера фирмы «Роналдсон, Роналдсон, Джоунз энд Мюллер» было то, что время от времени я мог потратить вторую половину дня или хотя бы ее часть на свои личные трагедии или триумфы, если только они не следовали друг за другом с неподобающей для серьезного юриста частотой.

Я бесцельно бродил по городу, убивая время. Был ясный, солнечный и холодный день, Нью-Йорк искрился свежавыпавшим снегом, поблескивали миллионы окон, глубокие острые тени придавали городу вид самоуверенный, деловой и неотразимо притягательный. Интересно, что испытывает сейчас Кэрол, зная, что через три часа поезд понесет ее в другой конец страны?

Впервые я увидел ее на театральной вечеринке в доме на Пятьдесят четвертой улице. Тогда я чувствовал себя в Нью-Йорке новичком и старался не упускать ни одного приглашения. У моего приятеля из фирмы, Гарольда Синклера, имелся брат Чарли, который был актером одного из бродвейских театров и от случая к случаю таскал нас с собой на сборища своих коллег. Мне нравилось бывать на таких вечеринках. Полно привлекательных девушек, хороший запас напитков, и люди вокруг кажутся такими остроумными, открытыми, интересными — особенно после дня, проведенного в обществе сдержанных юристов.

Она стояла у стены и разговаривала с пожилой дамой, седые букли которой имели голубоватый оттенок. Позже я выяснил, что это была вдова известного продюсера. Прежде мне не приходилось видеть Кэрол Хант ни на сцене, ни вне ее, а сама она не успела пока сыграть такой роли, чтобы имя или лицо ее сделались вдруг известными. Я смотрел на нее, понимая, что более красивой девушки еще не встречал. Может, я и сейчас думаю так же.

В облике Кэрол не было ничего особенного, но в той переполненной людьми и табачным дымом комнате от нее исходило некое сияние чистоты и весенней свежести. Светлые, аккуратно уложенные волосы, глубокие синие глаза и сдержанные, лишённые всякой аффектации движения, средний рост. Беседуя с дамой, она не стреляла жадными взглядами по сторонам — в отличие от большинства находившихся на вечеринке женщин. Высокий воротничок ее платья почти скрывал нежную шейку, едва тронутые помадой губы были почти по-детски припухлыми и неуловимо беспечными.

Она казалась хрупкой, невинной и очень юной. Вокруг было полно так или иначе связанных с театром людей, но я чувствовал, что она, подобно мне, не принадлежит к их числу. Никто из них, думалось мне, не понимал, насколько она красива. Конечно же, я ошибался.

Через три месяца я попросил ее стать моей женой.

В течение этих трех месяцев мы виделись почти каждый вечер. Я дожидался ее у бокового входа в театр, чтобы поужинать вместе где-нибудь в небольшом тихом ресторанчике. Раз шесть или семь я видел, как она играет, и хотя роль ее была маленькой и ничем не примечательной, во мне крепло убеждение, что Кэрол — на редкость одаренная актриса.

Влюбленный человек неизбежно превращается в биографа, и безмятежно спокойными вечерами я исподволь

исследовал ее прошлое, в глубине души сознавая, что самые маленькие открытия делают нас все ближе и ближе. Чем больше я узнавал, тем очевиднее становилось: Кэрол не только очаровательная, но и незаурядная девушка.

После войны я с болезненным недоумением заключил, что огромное количество моих друзей, как мужчин, так и женщин, позволили себе расслабиться, поплыли по течению и идеалы их стали на редкость приземленными. Помня, как легко в наши непростые времена найти им оправдание, я не мог отделаться от ощущения, что те немногие, к кому у меня еще сохранялась привязанность, были, по сути, людьми пустыми и бесхарактерными. Поэтому множество достоинств, обнаруженных в предмете моей любви, принесло мне чувство настоящего облегчения.

Кэрол приехала в Нью-Йорк пять лет назад вместе с четырьмя — если не с сорока — тысячами других искательниц счастья. По окончании колледжа она твердо заявила молодому человеку, лучшему спринтеру на тихоокеанском побережье, что не выйдет за него замуж. Парня звали Дэн, и он больше походил на кинозвезду, чем на бегуна, по словам Кэрол. Отец его владел сетью гостиниц. Насколько могло судить юное и неопытное создание, которому прочили в мужа самого завидного в округе жениха, они любили друг друга. В банке на счету Кэрол лежало всего пятьсот долларов, отец умер, а мать сошлась с обычным, далеко не состоятельным инженером, и все же она ответила отказом.

Отказом — потому что хотела уехать в Нью-Йорк и стать актрисой. Она отдавала себе отчет в банальности своих мечтаний, помнила о тех тысячах других, ей подобных, которые станут ее соперницами в борьбе за призы предстоящего театрального сезона. Ей было известно, что ставкой в игре будет ее молодость, быстроногий любимый, его отели и богатство, которое из них проистекает. Кэрол прекрасно представляла огромную роль удачи в избранной ею

профессии, осознавала, что существуют риск пустить по ветру свой талант, вероятность и боль поражения.

Она всегда слыла человеком думающим. Благодаря способности рассуждать здраво Кэрол была на голову выше других претенденток, однако в специфической театральной среде эта черта не давала ей никаких преимуществ. Рассортировав и просчитав все мыслимые варианты, она забрала из банка пятьсот долларов, поцеловала скорбящего бегуна, села в поезд и через четыре ночи прибыла в Нью-Йорк.

Поступила она так вовсе не потому, что была помещена на сцене. Жизнь за кулисами не рисовалась ей в голубых и розовых тонах, и вряд ли ее манила полная приключений жизнь большого города, где люди совсем не такие, как в Сан-Франциско. Просто Кэрол ощущала в себе большой, настоящий талант и не видела в мире ничего лучше и прекраснее театра. Ею двигала неумолимая, лишенная всяких признаков пола одержимость артиста, целиком отдавшего себя Искусству.

Первый скромный успех пришел почти мгновенно. Кэрол поручали небольшие роли, с которыми она справлялась весьма неплохо, даже хорошо, а временами играла со всем возможным для ее ампула блеском. Однако испытываемое ею удовлетворение было мучительно неполным. Необходимость сдерживать свои силы, в которых она теперь окончательно уверилась, и ограничиваться образами проходных, эпизодических героев несла в себе привкус впустую потраченного времени, упущенных возможностей и тщетных усилий.

Три или четыре раза ее приглашали на прослушивание в качестве исполнительницы главной роли в тех пьесах, которые многих сделали знаменитыми. Но в конечном итоге Кэрол всегда оставалась в стороне: то кинодива из Голли-

вуда телеграфировала, что готова поработать и на сцене, то режиссер внезапно открывал новое дарование, способное стать, по его мнению, более подходящей партнершей главному герою, то дорогу переходила счастливица, получившая восторженные отзывы в предыдущем сезоне.

Всякий раз Кэрол удавалось справиться с разочарованием; она соглашалась на роли более мелкие и играла их, скрывая ярость, с пылом инженю. Осмотрительность позволяла ей обходиться без врагов и ничем не проявлять своего недовольства. Когда придет время, когда мешанина событий закончится бурным всплеском, который вознесет ее на самую вершину славы, то внизу не останется ни обиженного режиссера, ни мучимого чувством вины продюсера, ни озлобленных и ревнивых соперниц.

Между делом она попробовала силы и на телевидении, однако, приняв участие в трех программах, категорически отказалась от новых предложений. Деньги, безусловно, важны, но полученный в телевизионных постановках опыт убедил ее, что подобная профанация высокой идеи не стоит никакого богатства. У нее сложилось четкое представление о том, как она хочет работать. Кэрол сознавала: она из тех актрис, которые кожей ощущают мучительный процесс вхождения в роль, им требуются для этого недели репетиций и размышлений. Не скромность, а гордость и высочайшая требовательность к себе дали ей возможность понять, что три-четыре дня подготовки — больше телевизионщики дать не могли — неизбежно заканчивались игрой поверхностной, легковесной, даже если эту легковесность распознавала лишь она одна.

Когда ей, как почти каждой привлекательной девушке, оказавшейся на сцене, предложили сняться в кинопробе, Кэрол отнеслась к делу со всей серьезностью и в целом была удовлетворена тем, что увидела на экране. Остался

доволен и мужчина, который организовал пробу и сидел рядом с ней в просмотровом зале. Человек уже немолодой, он занимался кинобизнесом долгие годы и на своем веку повидал немало красивых и одаренных дебютанток.

— Очень неплохо, — сказал он. — Пожалуй, даже хорошо, мисс Хант. — Голос его звучал мягко, манеры были безукоризненными, он давно привык выносить суровый приговор, выбирая самые приятные, умиротворяющие слова. — Но там, на побережье*, наверняка посмотрят косо на ваш очаровательный носик.

— Как? — с удивлением, в котором звучала нотка обиды, спросила Кэрл.

Она гордилась своим носиком и считала его едва ли не главным достоинством своего лица. Ее нос нельзя было назвать коротким, а небольшая горбинка и нервные, напряженные крылья делали его похожим, как сказал один из молодых членов труппы, на носики английских красавиц с портретов восемнадцатого века. На какой-то волосок, совсем чуть-чуть он был искривлен, и, для того чтобы заметить это, необходимо было внимательно изучить ее лицо. Кэрл полагала, что этот крошечный недостаток делает ее еще более интересной.

— Чем вам не понравился мой нос?

— Он немного длинноват для кино, дорогая моя. К тому же вы и сами знаете, что он не может считаться безукоризненно прямым. Повторяю, у вас очаровательный носик, которым можно гордиться, — мужчина делал все возможное, чтобы смягчить жесткую правду своим личным, а потому ничего не значащим мнением, — но американский зритель не готов увидеть на экране девушку с носом таких пропорций.

— Могу назвать вам имена шести кинозвезд, чьи носы выглядят куда смешнее моего, — упрямо возразила Кэрл.

* Имеется в виду тихоокеанское побережье штата Калифорния.

— Конечно, конечно, — улыбнувшись, пожал плечами мужчина. — Но ведь они — звезды. Они — личности, а личность публика принимает целиком. Будь вы звездой, наши специалисты по рекламе сложили бы поэмы о вашем носике и в самое короткое время он стал бы бесценным достоянием компании. Представьте, заходит в офис никому не известная девушка, а мы в один голос восклицаем: «О, да у нее хантовский нос! Контракт немедленно!»

Он рассмеялся, и Кэрол не могла не улыбнуться в ответ, даже в разочаровании покоренная его обезоруживающей мягкостью.

— Ну что ж, — проговорила она, поднимаясь, — вы были очень любезны.

Однако мужчина остался сидеть в удобном кожаном кресле, рассеянно касаясь пальцами кнопок пульта, связывавшего его с проекционной. Он выполнял свою работу, делал то, за что ему платили деньги.

— Естественно, можно было бы кое-что предпринять, — вдруг сказал он.

— Что вы имеете в виду?

— Носы, конечно, творение рук Господних, но к ним могут прикоснуться и простые смертные.

Кэрол понимала, что за витиеватой и довольно выпрренной фразой кроется смущение человека, который говорит, повинувшись исключительно профессиональному долгу. Она была уверена: поставить ее собеседника в неловкое положение удавалось очень немногим. Это ей льстило.

— Пластическая хирургия творит чудеса, — продолжал между тем он. — Прикосновение скальпеля здесь, пилочки там — и через три недели ваш носик будет соответствовать всем необходимым требованиям.

— Вы хотите сказать, что через три недели я получу стандартный, отвечающий вашим параметрам нос входящей звезды?

— Более или менее, — с грустной улыбкой ответил мужчина.

— И что тогда?

— Я подпишу с вами контракт, который станет прологом к довольно многообещающему будущему.

Довольно, мысленно отметила Кэрол. Довольно многообещающему. Он не хочет лгать даже в предсказаниях. Перед ее глазами возникла яркая картина того, что стояло за словами мужчины. Симпатичная девушка с «вполне приемлемым носом» подписывает контракт на съемки в рекламных роликах, расхваливающих последнюю модель купального костюма. Возможно, ей доверят и что-то посерьезнее — в третьеразрядных фильмах, которые никто не смотрит. Так пройдет два-три года, после чего ее сменил свежая, не успевшая надоесть зрителям старлетка.

— Нет, благодарю вас, — твердо сказала она. — Я, по-видимому, слишком привязана к своему длинному и кривому носу.

После этих слов поднялся и мужчина. Он кивнул, как бы выражая одобрение услышанному — если не от имени компании, то от себя лично:

— Для сцены он безукоризненный. Более чем безукоризненный.

— Хочу признаться, — с этим пожилым человеком Кэрол чувствовала себя более непринужденно, чем с кем бы то ни было другим в городе, — я пришла сюда лишь потому, что, сделав имя в кино, куда легче чего-то добиться в театре. Я всегда мечтала о сцене.

— Тем лучше для сцены. — Искренний порыв Кэрол ему определенно понравился. — Я еще найду вас.

— Когда?

— Когда вы станете звездой, — легко ответил он, — чтобы положить к вашим ногам все богатства мира.

Мужчина протянул ей руку, и Кэрол пожала ее. На мгновение он задержал ладонь девушки в своей, лицо

его погрузило при воспоминании о тысячах других отважных, красивых и вдохновенных, что прошли перед ним за минувшие тридцать лет.

— Не это ли называется преисподней? — С печальной улыбкой мужчина легонько сжал пальцы Кэрол.

— Я тоже очень привязан к твоему носику, — вырвалось у меня после ее рассказа. — И к твоим волосам. И к губам. И...

— Осторожнее! Помни, пожалуйста, о том, что прежде всего ты понравился мне своей сдержанностью и умением не переступать грани.

Так что на протяжении еще довольно длительного времени мне приходилось оставаться сдержанным и не переступать грани.

Одержимость театром всецело овладела Кэрол. Непокоримая уверенность в собственных возможностях и конечной победе, объяснила она мне однажды, может запросто создать женщине репутацию неприступной эгоистки, вызвать неприязнь тех, от кого зависит путь к успеху. Самой же ей присущи такие качества — и судила об этом она с холодной объективностью, — как хрупкость, задумчивость, романтичность. Отличные качества, они позволили многим сделать блестящую карьеру на сцене, но нет ни малейшего шанса завоевать симпатии зрителей, если в жизни будешь похож на бравого генерала или на грозящего муками ада святошу.

Свои надежды и чаяния Кэрол таила от всех, они были для нее источником силы, не иссякавшим до тех пор, пока никто из окружающих не подозревал о его существовании. Скрывать чудодейственную чашу вдохновения не представляло особого труда, поскольку честолюбие требовало от девушки лишь полного самовыражения на сцене. Во время дружеских вечеринок она никогда не стремилась быть в

центре внимания, очень мягко и по-доброму оценивала игру своих подруг и не предпринимала никаких попыток обворожить режиссеров или драматургов, в обществе которых они появлялись. С мужчинами Кэрол вела себя в высшей степени осторожно и осмотрительно, в их компании она умела быть хрупкой, мечтательной, утонченно беспечной и полной романтизма. Лишь в самых заповедных уголках ее души пряталась капелька цинизма.

Три месяца наблюдений принесли мне двойную пользу. Склонный к методичности по характеру и в силу своей профессии, я вскоре понял, что узнал практически все, что можно было узнать о девушке, которую хотел просить, когда придет время, стать моей женой. Более того, каждая новая открытая черта Кэрол делала ее для меня еще дороже. Трезвость и чистота помыслов ставили ее много выше моих прежних знакомых, а мужество и ум, с которыми она владела собой, укрепляли во мне решимость соединить наши жизни. Сплав строгой добродетели с неуловимой беспечностью молодости я находил очаровательным и трогательным.

Кэрол же знакомство с человеком, которому можно доверять, кто не предаст и восхищается теми ее качествами, что приходится скрывать от других, дало возможность чуть ослабить нервное напряжение, облегчить груз, лежавший на ее хрупких плечах. Поначалу она очень настороженно воспринимала мои вопросы, затем недоверие сменилось тихой радостью и признательностью. В конечном итоге эти два чувства наряду, по-видимому, с другими причинами подготовили ее к тому, чтобы сказать мне о своей любви.

Когда я спросил Кэрол, готова ли она стать моей женой, мы сидели в машине напротив ее дома на Пятдесят восьмой улице. Поздним воскресным вечером я заехал за ней к театру, где шла репетиция новой пьесы — через двад-

цать дней в Бостоне ожидалась премьера. Она вышла с Чарли Синклером, и, перед тем как отправиться через весь город домой, мы вдвоем ненадолго зашли в бар. Стояла осень, в половине двенадцатого улица была пустынна и темна. Время, подумал я, не лучше и не хуже любого другого.

На мой вопрос Кэрол не ответила. Поплотнее запахнув просторное пальто, она молча сидела и смотрела сквозь ветровое стекло на унылый ряд фонарных столбов.

В жизни мне не приходилось еще предлагать девушке руку и сердце, я не знал, так ли это все должно происходить, а Кэрол, похоже, и не собиралась помочь.

— Просто меня беспокоит собственное здоровье, — неуверенно улыбаясь, проговорил я в надежде разрядить атмосферу. Я уже был готов услышать отрицательный ответ. — Чтобы не опоздать на работу, я встаю в семь утра, а если к тому же мне придется заезжать за тобой в полночь, чтобы поужинать, то через пару месяцев я превращусь в загнанный, первого выпуска «форд». У страдающего от неразделенной любви юриста не хватит сил увиваться за молоденькой артисткой.

Кэрол продолжала молчать, в неверном свете уличных фонарей я видел лишь ее профиль.

— Дай мне еще минуту, — наконец промолвила она. — Я должна сказать тебе что-то очень важное.

— Проси хоть час. В твоём распоряжении вся ночь.

— Так и думала, что ты это скажешь. Я ждала этих слов.

— Жалоб на слабое здоровье?

— Нет. Предложения пожениться.

— У меня отличная идея. — Я придвинулся ближе. — Давай поженемся на следующей неделе, пока ты еще не узнала тайн моего прошлого или пока не разразилась новая война. Уедем куда-нибудь, где тепло и нет юристов. На медовый месяц мне дадут целых шесть недель отпуска.

— Шести недель у нас не выйдет. Об этом я и хотела сказать.

— Ах да! — У меня вырвался невольный вздох. — Театр. Я забыл. Но, может, ты не будешь возражать против индейки и вечера с друзьями в Бостоне? А через день мы отправимся на Сицилию.

— Думаю, в Бостоне нас будет ждать не индейка, а успех. Однако и в противном случае я не уеду на шесть недель из Нью-Йорка в самый разгар сезона.

— Отлично. Проведем медовый месяц на Сорок четвертой улице.

— Выслушай меня. Ты должен знать, какая жизнь начнется у тебя после нашей свадьбы.

— Знаю. Потрясающая.

— Хочу, чтобы ты запомнил кое-что: я намерена стать великой актрисой.

— Черт побери, мне и в голову не приходит жаловаться на это! У меня самые передовые взгляды. Я бы настезь распахнул ворота всех гаремов!

Не знаю, как следовало себя вести в столь ответственный момент, но я никогда не думал, что окажусь в состоянии отпустить одну пошлость за другой.

— Я все пытаюсь объяснить, — упрямо продолжала Кэрол, — что если уж выйду замуж, то только на определенных условиях. Положим, ты имеешь дело с женщиной и...

— Полно, дорогая, никто не покушается на твое право голоса или...

— Словом, я не собираюсь превратиться в одну из вертихвосток, которые пару лет побегают по театру, подцепят мужа, нарожают кучу детей, а потом, переехав в пригород, до конца дней изводят соседей рассказами о своем актерском прошлом.

— Подожди, не торопись. О каком пригороде может идти речь?

— Для меня главное в жизни — не семья, а работа, точно так же, как и для мужчины. Такое положение дел тебя устроит?

— То, что надо! Великолепно!

— Мне обязательно выпадет шанс. И когда это произойдет, я должна быть здесь, чтобы не упустить его. Я не готова отправляться в путешествия, нянчить детей или проводить вечера за игрой в бридж. Если у меня уйдет год, чтобы подготовиться лишь к одной настоящей роли, как я, собственно, и рассчитываю...

— О Боже, — простонал я. — Только не сейчас!

Она ответила мне смехом, наши губы соединились, а потом мы долго сидели, прижавшись друг к другу и почти забыв о теме нашего разговора. Когда я понял, что готов так досидеть до утра, Кэрол кивнула, и мы отправились в ближайший бар отпраздновать помолвку. Свадьбу решено было сыграть в июне: к тому времени новая пьеса уже наверняка сойдет со сцены.

У двери ее квартиры мы вновь поцеловались, и я очень медленно сказал:

— Один вопрос, Кэрол...

— Да?

— А что случится, если *ничего* не произойдет? Если счастливый шанс выпадет кому-нибудь другому?

Мгновение она колебалась, но ответ ее прозвучал обдуманно и твердо:

— Я буду разочарована. До самого конца.

Шанс выпал тремя неделями позже в Бостоне. События приняли оборот, которого никто не предвидел, и все для нас было кончено.

Почти каждый вечер мы общались по телефону. Когда я в предпоследний раз звонил Кэрол где-то около часа ночи, она сидела в своем гостиничном номере. Премьера состоя-

лась двумя днями раньше. Кэрол сообщила, что одна из вечерних газет поместила небольшую заметку об Эйлин Мансинг, кинозвезде, приглашенной на главную роль, — накануне та получила восторженные отзывы критиков и перестала впадать в истерику на репетициях. Еще Кэрол сказала, что любит меня и с нетерпением ждет субботы, когда первым утренним поездом я приеду в Бостон.

Через двенадцать часов, выйдя из офиса, чтобы перекусить, я купил газету и на первой же странице увидел ее фотографию. Рядом красовался снимок человека по имени Сэмюэль Боренсен. Ниже некий репортер извещал публику, что в четыре тридцать утра мистер Боренсен был обнаружен мертвым на кровати гостиничного номера, который снимала мисс Хант.

Лицо Сэмюэля Боренсена не сходило с газетных страниц и при его жизни: вот он с улыбкой поднимается по трапу самолета, отправляясь на конференцию в Европу, вот с патриотическими призывами обращается к съезду виднейших промышленников, вот принимает участие в церемонии присвоения ученых степеней в различных университетах. Он был одним из тех, кто с помпой разъезжает по стране, делает громогласные заявления и заставляя крутиться колеса огромной политической машины. Я никогда не встречал его и понятия не имел, что Кэрол может быть с ним знакома.

Снимки очень заинтересовали меня. Боренсен представлял собой симпатичного, упитанного мужчину, такого пышущего энергией здоровяка, который знает себе цену. Ему было пятьдесят, жил он с женой и двумя почти взрослыми детьми в Палм-Бич. Кэрол газетчик называл «молодой и привлекательной блондинкой», занятой в постановке «Миссис Хауэрд». Двумя неделями позже, отмечалось в заметке, пьеса должна появиться на нью-йоркской сцене.

Оставив газету на столике, я направился домой, чтобы позвонить в Бостон. Мне казалось, что теперь, после

публикации, заставить Кэрол на месте будет чрезвычайно трудно.

— Да? — Голос ее звучал на удивление спокойно и мелодично.

— Кэрол, это Питер.

— О...

— Хочешь, я подъеду? — Что еще я мог сказать?

— Нет.

— Может, ты объяснишь что-нибудь?

— Нет.

— Ну что ж, всего доброго.

— Всего хорошего, Питер.

Положив трубку, я сделал глоток виски, позвонил в офис и сказал, что дней на десять мне необходимо отлучиться из города. Коллеги знали о нашей помолвке, а остальное им было ясно из газет. «Действуй», — ответил шеф.

На машине я добрался до городка в Коннектикуте, где прошлым летом останавливался в маленьком уютном отеле. Оказавшись единственным постояльцем, я валялся в постели с книгой, бродил среди покрытых снегом деревьев и думал о Кэрол.

Вновь и вновь я перебирал события трех проведенных рядом с ней месяцев в поисках какого-нибудь ключа. Что — по глупости или из-за чар любви — мог я пропустить? В голову ничего не приходило. Имя Боренсена мы никогда не упоминали, в этом я был абсолютно уверен. Даже если между ним и Кэрол и существовала какая-то связь, то после знакомства со мной она наверняка оборвалась — ведь Кэрол ни разу не уклонилась от встречи.

Странно, но злости я не испытывал. Я был обижен, потрясен, даже подумывал послать ко всем чертям Нью-Йорк и попробовать начать все сначала где-нибудь в другом месте. Но в конечном итоге стало ясно, что судьба Кэрол беспокоит меня куда больше, чем моя собствен-

ная. Я не мог спать, представляя ее в окружении полисменов, врачей и газетчиков. А потом? Выходить на сцену под взглядами тысяч горящих любопытством глаз? Карьера ее, без всяких сомнений, закончилась.

В течение пяти дней полного одиночества я беспрестанно пытался найти способ помочь Кэрол.

Я начал понимать, что любовь не уходит просто так оттого, что за обедом ты увидел лицо любимой на газетной полосе.

У меня уже созрело решение сесть в машину и отправиться в Бостон, когда я неожиданно вспомнил, что Чарли Синклер играет в той же пьесе. Я позвонил его брату, чтобы узнать телефон Чарли в Бостоне, и тут же стал набирать номер. Прежде чем явиться туда, не мешает выяснить, что же на самом деле произошло с Кэрол и чем конкретно можно облегчить ее положение. Ни о какой свадьбе я тогда не думал. Кэрол нужно спасать, сказал я себе, и без дурацких мыслей о высокой жертвенности такого поступка.

— Привет, Питер! — сквозь треск помех донесся несколько удивленный голос Чарли. — Что у тебя новенького?

— Я в норме. Как у вас дела в Бостоне?

— Последние два вечера в зале только стоячие места.

— Я не о том. — Чарли никогда не отличался сообразительностью, поэтому-то, не раз казалось мне, он и пошел в театр. — Что с Кэрол?

— Она на высоте. Держится с таким мужеством, что и статуя Свободы, глядишь, уронит слезу.

Я всегда считал, что Кэрол ему нравится. Мне стало ясно, почему она столь уверенно чувствовала себя в труппе.

— Как к ней относятся? Я имею в виду все ваши?

— С дьявольским участием. Можно подумать, что она отца родного потеряла.

— Ей предложили уйти?

— Да нет же! Шепчутся о том, что ее имя набрано на афишах слишком мелким шрифтом. Из-за чего, по-твоему, у нас каждый вечер аншлаги?

— Ты смеешься? — Я не верил ему. Конечно, в театре бывает всякое, но чтобы такое...

— Смеюсь? Когда она выходит на сцену, по залу пробегает шумок, а потом наступает полная тишина, будто их всех придушили. Почти физически ощущаешь, как зрители следят за каждым ее движением. Зато в конце просто буря, шквал аплодисментов. Эйлин Мансинг вот-вот лопнет от зависти.

— Мне нет до нее дела. Как Кэрол воспринимает это?

— Кто знает, как она хоть что-нибудь воспринимает? Режиссер считает, что сейчас она играет раз в двадцать лучше, чем раньше.

— Что ж, — неуверенно проговорил я, — прекрасно.

— В чем дело?

— Еще один вопрос. — Его «в чем дело» я пропустил мимо ушей. — Как ты полагаешь, работу после этого она не потеряет?

— Да толпа без ума от нее. Позавчера приехали два агента из Нью-Йорка. Ты сам-то думаешь показаться у нас?

— Нет.

— Люди умирают каждый день, Питер. Кто-то завещает свое тело науке, кто-то — театру. Кэрол передать что-нибудь?

— Нет. Спасибо, Чарли.

— Хороший ты друг, Питер. Обо мне не спросил ни слова.

— Как твои дела, Чарли?

— Отвратительно. — Он презрительно хмыкнул. Никогда бы не сказал, что они с Гарольдом родные братья. — Встретимся в Нью-Йорке.

Я положил трубку.

Делать после этого разговора в заснеженном городке было нечего. Сев в машину, я вернулся в Нью-Йорк и приступил к работе. Поначалу пришлось нелегко: всякий раз, когда я входил в комнату, мне казалось, что люди судачат о нас с Кэрол. Даже сейчас, два года спустя, не могу отделаться от неприятного ощущения, если, увидев меня, коллеги обрывают разговор. Я поневоле начинаю искать на их лицах следы любопытства и жалости.

Отнюдь не собираясь вновь встретиться с Кэрол, я странным образом очутился на первой нью-йоркской постановке ее пьесы. Я сидел на балконе в надежде, что никто в зале не узнает меня. Разворачивавшееся на сцене действие проходило мимо моего сознания: я ждал выхода Кэрол. Увидев ее, я понял: Чарли сказал правду. По рядам партера пронесся шепоток, и воцарилась полная тишина. Кэрол двигалась как бы в луче прожектора, приковывая к себе все внимание публики. Самое простое, незаметное ее движение казалось важным и значительным, что совершенно не вязалось с текстом роли.

Игра Кэрол действительно не шла ни в какое сравнение с прежней. Выглядела она превосходно, манера исполнения свидетельствовала о глубине и искренности переживаний, словно случившееся еще резче обозначило грани ее таланта.

Когда Кэрол отступила к занавесу, зал разразился овацией, как если бы на сцене была звезда сезона Эйлин Мансинг. Выходя из театра, я слышал, что люди то и дело повторяли ее имя.

На следующий день газеты превозносили талантливую игру мисс Кэрол Хант — и опять-таки вне всякой связи с ее ролью. Критики, истинные джентльмены, а не сплетники, ни словом не обмолвились о событиях в Бостоне. Несколько рецензентов предрекали Кэрол будущее звезды.

Один из знатоков, кого она наверняка сочла бы самым проникательным мужчиной в городе, отозвался о ней как о «хрупкой, мечтательной и неуловимо беспечной».

Я же не чувствовал ни боли, ни удовольствия. Ощущения притупились; единственное, что меня интересовало, — это где я мог совершить ошибку.

Впоследствии я больше не видел Кэрол, лишь следил за прессой. Меня несколько не удивило сообщение о том, что она покидает прежнюю труппу, чтобы стать ведущей исполнительницей другого театра. Я отправился туда взглянуть на афиши и с удовлетворением прочитал ее выписанное огромными буквами имя. Хотя пути наши окончательно разошлись, меня приятно согревала мысль о том, что частичей веры в свой успех Кэрол обязана и неизвестному младшему партнеру юридической фирмы. Я был рад быстроте, с которой ее мечты воплотились в жизнь.

Продюсеры оказались людьми проникательными. Обычно на протяжении двух, а то и двух с половиной актов Кэрол играла милую добродетельную героиню, в заключительных сценах представавшую настоящей сухой. При раздаче ролей в театре явно учитывали не только личные качества, но и репутацию — уж теперь-то Кэрол имела все возможности для самовыражения.

Самое интересное заключалось в том, что до конца она так и не справлялась с ролью. Не знаю уж почему, но, хотя на сцене все делалось вроде бы правильно — играла Кэрол с редкой в ее возрасте уверенностью и силой, — финал всегда чем-то разочаровывал. Зрители, естественно, реагировали весьма вежливо, да и отзывы критики оставались благожелательными, однако исполнитель главной мужской роли или выходявшая на сцену только во втором акте старушка пользовались куда большим вниманием зала, нежели Кэрол.

Мне казалось, что ничего страшного в этом нет, что в следующей постановке, на худой конец через одну, она

окончательно войдет в форму и станет самой собой. Но Чарли Синклер был не согласен со мной.

— Все уже в прошлом, — заявил он. — Шанс ей и вправду представился, но она его упустила.

— Я не думал, что Кэрол окажется настолько плоха.

— Она вовсе не плоха. Скорее, недостаточно хороша, чтобы повести за собой остальных. Теперь об этом знают все. Занавес опущен.

— Что же с ней будет?

— Пьеса сойдет со сцены через три недели. Если Кэрол достаточно умна, она быстренько вернется назад, на второстепенные роли, при условии, что они не достанутся другим. Только ей для этого не хватит мозгов, да и никому на ее месте не хватило бы. Будет выжидать чего-нибудь позначительнее, и ведь обязательно найдется идиот, который даст ей сыграть первую скрипку. Вот тогда-то Кэрол распнут по-настоящему. В ее положении уже сейчас стоит освоить пишущую машинку и заняться изучением стенографии, а то и просто выскочить замуж.

Так и произошло. Умственные способности Чарли сразу выросли в моих глазах, хотя от этого он не стал симпатичнее. В следующем сезоне Кэрол получила главную роль, завалила ее и подверглась уничтожающей критике. На спектакль я не ходил, поскольку к тому времени уже познакомился с Дорис. К чему неприятности?

Мы ни разу не столкнулись на улице, ее имя исчезло с газетных полос, я перестал видаться даже с Чарли. До звонка Кэрол в мой офис я понятия не имел о том, где она и чем занимается. Против собственной воли иногда вспоминая о ней, я ощущал в душе какую-то тяжесть и тут же заставлял себя переключиться на что-нибудь другое.

К бару Стэтлера я подъехал чуть раньше, заказал порцию виски и уселся за столик неподалеку от двери. Кэрол

вошла в бар ровно в половине третьего. Одетая она была в шубку из меха бобра, раньше я такой у нее не видел. Под шубкой — изящный и дорогой костюм из синей шерсти. Выглядела Кэрол по-прежнему красавицей; сидевшие в баре мужчины проводили ее взглядами до самого столика.

Не было ни поцелуя, ни даже рукопожатия. Думаю, я все-таки улыбнулся и приветствовал Кэрол, хотя запомнилось лишь то, как руки мои неловко помогли ей выскользнуть из шубки.

Мы уселись лицом к залу, она попросила принести чашку кофе. Кэрол никогда не отличалась особым пристрастием к спиртному, не изменила своим вкусам и сейчас. Я чуть развернулся, чтобы рассмотреть знакомое лицо, она едва заметно улыбнулась в ответ, понимая, что именно меня интересует: следы усталости, сожаления.

— Ну, и какой же ты меня находишь?

— Такой же.

— Такой же. — Она беззвучно рассмеялась. — Бедный Питер!

Я пропустил восклицание мимо ушей.

— Чем ты намерена заняться в Сан-Франциско?

Кэрол беззаботно пожала плечами. В этом ее движении было по крайней мере нечто новое.

— Не знаю. Может, присмотрю какую-нибудь работу. Найду мужа. Задумаюсь над ошибками прошлого.

— Жаль, что все так получилось.

— Издержки профессии. — Она вновь пожала плечами, бросила взгляд на стрелки часов. В тот момент мы оба, наверное, подумали о поезде. — Я пришла сюда вовсе не для того, чтобы поплакаться тебе в жилетку, Питер. Мне нужно рассказать тебе кое-что о той ночи в Бостоне, а времени совсем мало. Не хочется оставлять тебя в неведении.

Я сидел, отхлебывая понемногу виски, смотрел в сторону и слушал. Говорила Кэрол быстро и без всяких эмо-

ций, без пауз, будто каждая деталь происшедшего навеки отпечаталась в ее памяти.

Когда раздался мой звонок из Нью-Йорка, она находилась в номере одна. После разговора просмотрела внесенные режиссером в текст изменения и улеглась спать.

Разбудил ее стук в дверь. Поначалу показалось, что это сон, потом — что кто-то ошибся номером и сейчас уйдет. Но стук повторился, негромкий, настойчивый и встревоженный. Она включила свет, села на постели.

— Кто там?

— Ради Бога, Кэрол, открой! — приглушенный женский голос звучал взволнованно. — Это я, Эйлин.

«Эйлин, Эйлин. Не знаю никакой Эйлин», — тупо подумала она.

— Кто?

— Эйлин Мансинг, — прошептали за дверью.

— О! Мисс Мансинг!

Выскочив из постели, она в ночной сорочке, не сняв бигуди, босиком бросилась к двери. В номер, торопливо стуча каблучками, вошла Эйлин Мансинг.

Этой красивой тридцатипятилетней женщине можно было дать тридцать лет на сцене и сорок — в жизни. Пять лет пропадали за счет освещения, типа лица и рваншейся наружу почти животной энергии. Пять лет прибавляли регулярные алкогольные возлияния, непомерное честолюбие и избыток внимания мужчин.

Одета Эйлин была в те самые юбку и свитер, что Кэрол внимательно рассмотрела, пока обе поднимались в лифте после спектакля. Номер ее находился метрах в десяти от номера Кэрол, в противоположном конце коридора. От Эйлин совсем не пахло алкоголем, швы чулок слегка сместились, на левом плече отсутствовала рубиновая брошь. К тому же, заметила Кэрол, поспешно наложенная губная помада как бы сдвинула крупный рот Эйлин в сторону.

— Что случилось? — спросила она позднюю гостью, пытаясь говорить как можно спокойнее. — В чем дело, мисс Мансинг?

— У меня неприятности, — послышался в ответ хриплый испуганный шепот. — Большие, очень серьезные неприятности... Кто живет в соседнем номере? — Она повернула голову к стене.

— Не знаю.

— Кто-нибудь из наших?

— Нет, мисс Мансинг.

— Что еще за мисс Мансинг? Я ведь не твоя бабка.

— Эйлин.

— Так-то лучше. — Она в упор рассматривала стоящую спиной к двери Кэрол, как бы принимая решение. — Мне необходим друг. Нужна помощь.

— Буду только рада...

— Забудь о любезностях, — оборвала ее Эйлин. — Я имею в виду *настоящую* помощь.

Стоять в одной тонкой сорочке босиком на полу было холодно, и Кэрол вздрогнула. Ей хотелось, чтобы незваная гостья ушла.

— Но уже совсем поздно, мисс Мансинг...

— Эйлин.

— ...Эйлин. Мне завтра утром рано вставать и...

— Чего ты перепугалась? — Вопрос прозвучал довольно грубо.

— Я не перепугалась, — солгала Кэрол. — Просто я не вижу никакой причины...

— Причина имеется. Отличная причина. В моей постели лежит мертвый мужчина.

Он был распростерт на широкой кровати, поверх покрывала. Голова на подушке повернута в сторону две-

ри, глаза широко раскрыты, на лице — выражение чуть ли не веселого изумления. Пиджак, рубашка и темно-синий галстук висят на спинке стула, правая нога — бо- сая. На левой — спустившийся к щиколотке длинный носок с зажимом от подтяжки. Под кроватью аккуратно стояла пара черных ботинок. Мужчина был огромным, с пышной, почти женской грудью; он казался слишком большим даже для широкой двуспальной кровати.

Лет пятидесяти, с коротко стриженными седыми во- лосами, полуголый, он и в смерти производил впечатле- ние человека преуспевающего, привыкшего повелевать.

Сэмюэль Боренсен, узнала его по газетным фотогра- фиям Кэрол. К тому же несколько дней назад кто-то из подруг указал ей на него в вестибюле гостиницы.

— Он начал раздеваться, — с горечью сказала Эй- лин. — Странно как-то. Я только собиралась прилечь, и тут он умер.

Кэрол повернулась спиной к кровати, у нее не было никакого желания смотреть на мертвое тело. Даже в наки- нутом поверх ночной сорочки халатике и шлепанцах она дрожала от холода. Вон, вон отсюда, в постель, под одеяло, и забыть побыстрее про стук в дверь, про весь этот кош- мар. Но путь преградила Эйлин Мансинг, стоявшая по- среди роскошного двухкомнатного номера, заваленного цветами, телеграммами, заставленного бутылками и кор- зинами с фруктами. Звезда уже отмечала триумф пьесы, которая должна была стать, по общим ожиданиям, самой громкой постановкой сезона.

— Я знала его десять лет, — проговорила Эйлин, не в силах отвести взгляд от жуткого зрелища. — Мы счита- лись друзьями, и вот на тебе.

— Может, он еще жив, — неуверенно предположила Кэрол. — Вы вызвали врача?

— Врача! — Эйлин хрипло засмеялась. — Только его нам и не хватает. Как ты думаешь, что будет, если в три

часа ночи он увидит Сэма Боренсена в моей постели мертвым? Представляешь себе завтрашние газеты?

— Мне очень жаль. — Кэрол продолжала упорно смотреть в угол. — Я лучше вернусь к себе. Я никому ничего не скажу и...

— Ты не можешь оставить меня здесь одну. Я выброшусь из окна!

— Я бы с радостью помогла вам, но чем? — Кэрол было трудно говорить, горло совершенно пересохло. — Не знаю, что я могу сделать...

— Поможешь одеть его, — ровным голосом ответила Эйлин, — и перетащить к нему в номер.

— Мисс Мансинг?

— Одной мне с ним не справиться. Я попыталась надеть на него рубашку, но ничего не вышло. Он весит, пожалуй, фунтов двести. — Эйлин с ненавистью посмотрела на распростертое тело. — Между нами говоря...

— Где находится его номер? — Кэрол едва могла говорить.

— На девятом этаже.

— Мисс Мансинг, сейчас мы на пятом. Даже с моей помощью это невозможно. Не на лифте же мы его повезем.

— Само собой. Но есть еще пожарная лестница.

Кэрол заставила себя вновь посмотреть на массивную неподвижную фигуру, под весом которой прогибалась кровать. Неужели Эйлин не могла найти мужчину постройнее?

— Ничего не получится. — Язык едва ворочался у нее во рту. — Лестница в противоположном конце здания, нам придется тащить его по полу. — Она удивлялась собственной выдержке и способности рассуждать здраво. — Нужно будет миновать двадцать дверей, не привлекая внимания. А ночные дежурные? Даже если

мы выберемся на лестницу, то не поднимемся и на один пролет...

— Оставим на ступеньках. До утра его не найдут.

— Вам не следовало бы так говорить.

— Хватит! — резко оборвала ее Эйлин. — Она еще смеется и рассуждает о том, что мне следует и чего не следует делать!

Кэрол провела рукой по лицу, как бы проверяя его выражение: искаженные страхом губы могли показаться мисс Мансинг подобием усмешки.

— Кто-нибудь еще из труппы живет на нашем этаже? Мужчина?

— Нет. — Сьюард, их продюсер, на пару дней выехал в Нью-Йорк, а остальные мужчины остановились в другом отеле. — Хотя... Мистер Мосс, пожалуй, должен быть здесь.

Мистер Мосс был партнером Эйлин — он играл главного героя пьесы.

— Мосс меня ненавидит. А потом, он на десятом этаже, и с ним жена.

Кэрол бросила взгляд на будильник. Тумбочку, на которой он стоял, отделяло от мертвого лица менее фута. Почти четыре часа утра.

— Вот что я вам скажу, — начала она. — Пойду к себе, и если что-нибудь придумаю...

Ей удалось дойти до двери, пальцы уже коснулись ручки, когда Эйлин с неженской силой вцепилась в ее кисть:

— Подожди! Прошу тебя. Ты не имеешь права меня бросить.

— Честное слово, мисс Мансинг, я просто не знаю, чем вам помочь. — Кэрол дышала так, будто пробежала целую милю. — Была бы только рада, но...

— Послушай, — прошептала Эйлин, не выпуская ее руки, — не впадай в истерику. Мы можем очень многое. Пойдем-ка. — Она подвела Кэрол к кушетке. — Садись, успокойся. У нас еще есть время, не теряй голову.

Кэрол подчинилась. Необходимо было объяснить, что все это ее не касается, что не она привела к себе в номер в три часа ночи мужчину с больным сердцем, не ее другом являлся человек, жена и дети которого жили в Палм-Бич. Сделать это мешали ей страх и сочувствие. Кэрол и в самом деле не находила в себе решимости оставить Эйлин Мансинг среди цветов и вина в преддверии чудовищного скандала.

— Выпить не хочешь? Думаю, это не повредит нам обеим.

— Да, прошу вас.

Эйлин плеснула в стаканы по изрядной порции виски. «Конечно, она моя подруга, — думала Кэрол, — сколько раз мы сидели после спектакля в ее уборной, балуясь хорошим вином и судача о театре. Своими успехами я во многом обязана...»

— Вот что, Кэрол, не вызывает сомнений одно: нельзя допустить, чтобы его нашли в моем номере.

— Да, — на какое-то мгновение Кэрол представила себя на месте Эйлин Мансинг, — но...

— Я этого не перенесу. Все, конец. Писаки уже поднимали немыслимую шумиху вокруг моего второго развода.

Кэрол смутно припомнила газетные истории о частных детективах, о дневнике и сделанных с помощью телеобъектива снимках. Чуть больше года назад пресса с восторгом сообщала про несчастный случай, когда возвращавшийся из Мексики автомобиль сбил на дороге какого-то бедолагу крестьянина. Полиция тогда быстро выяснила, что сидевший за рулем мужчина был в стельку пьян и вовсе не являлся мужем Эйлин Мансинг (ни первым, ни вторым, ни третьим), — хотя, снимая на трое суток гостиничный номер в Энсенате, парочка зарегистрировалась под одной фамилией.

— Мое имя пропало с афиш. — Эйлин несколькими глотками выпила виски, ее пальцы нервно барабанили

по толстому стеклу. — Дело шло к тому, что я уже поставила крест на своей карьере. Если сейчас все выплывет наружу, — с горечью бросила она, — то женские клубы предложат сжечь меня, как ведьму. О Боже! Стоит сделать лишь маленький шагок в сторону, как я оказываюсь в дерьме! Такого мне не простят. Не вовремя же все это случилось! Не вовремя и некстати.

Она вновь наполнила стакан.

— Была бы я девчонкой, еще куда ни шло. Это обернулось бы мне на пользу. Люди твердили бы: «Но ведь она еще совсем молоденькая, нельзя судить ее слишком строго, мужчина мог бы подбить ее и не на такое». У них разгорелся бы интерес, пошли бы разговоры, все ринулись бы посмотреть на меня. Да, пятнадцать лет назад подобный скандал был бы лучше самых хвалебных рецензий.

Кэрол поднялась. Спиртное помогло: она уже не чувствовала холода, исчезли и спазмы горла. Эйлин Мансинг вызывала в ней сейчас только участие — как сестра.

— Эйлин.

Впервые имя легко и естественно слетело с ее губ. Вот он, момент истины. Кто знал, что он придет так неожиданно?

— Эйлин, — Кэрол осторожно и ласково взяла руки подруги в свои, — не беспокойся. Думаю, кое-что мы все же сможем сделать.

Мисс Мансинг недоверчиво подняла голову.

— Что? — с недоумением спросила она; пальцы ее были ледяными и вялыми.

— Мне кажется, — голос Кэрол звучал спокойно и взвешенно, — если мы хотим успеть до утра перетащить его в мой номер, нужно действовать.

На этом рассказ ее закончился. После той памятной ночи прошло два года. Какое-то время мы оба сидели

молча: я был слишком потрясен, а Кэрол наконец выговорила.

— В итоге, — после долгой паузы заключила она, — все вышло так, как мы задумали. Единственная проблема состояла в том, что я просто переоценила себя. Мне казалось, я лучше, чем на самом деле. Что ж, кто из нас не ошибается? — Бросив взгляд на часы, она поднялась. — Мне пора.

Я помог ей надеть шубку; мы направились к выходу.

— Один вопрос, Кэрол. Почему ты решила рассказать мне об этом?

Она остановилась на пороге, за ее спиной по улице неслись потоки машин.

— Мы, наверное, больше не увидимся. — В глазах Кэрол промелькнула нежность. — Просто хотела, чтобы ты знал: я никогда не изменяла тебе. Пусть воспоминания твои останутся добрыми.

Поцеловав меня в щеку, Кэрол легкой походкой зашагала по улице — молодая, изящная, красивая и беспечная. В лучах заходящего солнца поблескивали ворсинки меха, золотым нимбом светились белокурые волосы. У нее был такой вид, будто она шла завоевывать город.

УСЛЫШЬ СЕРДЦА НАШИ И ГОЛОСА...*

— Как дела? — спросил Уэбел, устраиваясь у стойки бара.

— Ночь, — уныло прогудел Эдди, подавая ему чашку черного кофе.

Часы показывали половину третьего ночи, но в баре было еще около десятка посетителей. Несколько пар уединились в кабинках; напротив пивных краников высокий моложавый мужчина негромко беседовал с черноволосой, коротко стриженной девушкой в зеленых шерстяных чулках; трое выпивох, сидевших, не сбросив курток, за залитым пивом столиком, сосредоточенно рассматривали содержимое своих стаканов.

У самого входа устроился Джон Мак-Кул, в мятом вельветовом пиджаке и рубашке в черную и красную клетку. Рука его пьяно выводила что-то карандашом на полях меню. Проходя к стойке, Уэбел кивнул ему в знак приветствия и бросил взгляд на рисунок — футболиста с тремя ногами и семью, если не восемью руками, похожего на божество из индийского храма.

— Сплав лучших качеств Запада и Востока, — заплетаящимся языком пояснил Мак-Кул. — Честолюбие,

* Tune Every Heart and Every Voice. © 2001. Ю.Г. Кирьяк. Перевод с английского.

натиск, стремление к честной игре, помноженные на неразборчивость в средствах и полное отрицание материального начала, без всякой оглядки на наше деградирующее общество.

Уэбел выпрямился. Никаких пояснений ему не требовалось. Мак-Кул был неплохим театральным декоратором, но отвратительным художником. После нескольких стаканов речь его становилась философски возвышенной и путаной.

— Похоже, сон в этом городе никого не интересует, — бросил Эдди, с ненавистью окидывая взглядом зал.

Бар работал до четырех утра, и каждый день Эдди надеялся, что последний посетитель выйдет около двух, позволив ему со спокойной совестью отправиться домой и завалиться спать. Его ничуть не беспокоили ни русские, ни атомная бомба, ни демократы, ни вопросы любви или смерти — только сон. Бар располагался на Сорок шестой улице и был прибежищем актеров и прочих служителей муз, которые отправлялись на работу не раньше восьми вечера — если работа у них вообще имелась. Неприязнь к дневному свету была у них профессиональной.

— Сколько кофе вы выпиваете за день, мистер Уэбел? — спросил Эдди.

— Чашек двадцать — тридцать.

— Зачем?

— Алкоголь не в моем вкусе.

— А кофе, значит, нравится?

— Не очень. — Уэбел поднял чашку.

— Вот, пожалуйста. — Эдди печально протер стойку. — Опять выходит полная бессмыслица.

— Эдди! — окликнул его беседовавший с девушкой мужчина. — Будь добр, два джибсона, если не затруднит.

— Затруднит, — буркнул Эдди, не выпуская из рук тряпки. — Вы улавливаете абсурдность ситуации? Джин в половине третьего ночи. Кому после двенадцати может

прийти в голову пить джин? Девкам с панели, алкоголикам и эксгибиционистам. Я им так и говорю.

Не повернув головы, он налил в стаканы джин, добавил вермута, бросил пару кусочков льда и яростно перемешал коктейль ложечкой.

— Пожалуйста, похолоднее, Эдди.

В голосе мужчины угадывался надменный выговор жителя восточного побережья, ночью Уэбелу было почти невыносимо слышать его. Ладный, хорошо сидевший пиджак этого человека вполне соответствовал манере его речи, и Уэбел, который, несмотря на усилия портных, неизменно выглядел как празднично разодетый водитель грузовика, почувствовал отвращение и к костюму мужчины.

— Эдди, — брюзгливо проворчал бармен, добавляя лед. — Здесь каждый считает себя вправе называть меня просто Эдди.

— Кто он? — негромко поинтересовался Уэбел.

— Какой-то выскочка с телевидения. — Эдди опустил в стаканы по крошечной луковке. — С Мэдисон-авеню. Теперь они обживают Вест-Сайд. У них это считается шиком, некая дама даже расхвалила мою забегаловку в журнале «Вог». Или демографический взрыв — скачок рождаемости вытесняет сливки общества все ближе к Гудзону. — С мрачным видом он понес коктейли клиентам.

— Великолепно, Эдди, — одобрил мужчина, сделал глоток.

Бармен хмуро улыбнулся, давая понять, что на благодарность ему наплевать. Бросив деньги в кассовый аппарат, он стер лужицу у локтя девушки в зеленых чулках.

— Теренс, — обратилась та к своему спутнику, — какая жалость, что ты не видел Домингуэна в Сантандере. Он отрезал четыре уха. От фазны* со вторым быком кровь стыла в жилах. Одним изящным выпадом Домингуэн убил ресибендо**.

* Фазна — номер, элемент (*исп.*) — один из эпизодов корриды.

** Ресибендо — принимающий, то есть бык (*исп.*).

Господи, подумал Уэбел, нигде нет спасения. Залпом выпитый кофе обжег ему язык.

— Мистер Холстайн, — послышался голос Джона Мак-Кула, обращавшегося к Эдди, — еще порцию виски, пожалуйста, и два меню.

Выполнив просьбу, Эдди бросил взгляд на парочку в третьей кабинке, где парень и девушка, забыв о двух бутылках пива, с часу ночи сидели, взявшись за руки. Он вернулся за стойку и подвинул Уэбелу еще одну чашку с дымящимся кофе, отметив, что на лице собеседника отразилась целая гамма чувств — от удовольствия, недоверия до гадливости.

— Хотите сказать, что после этого будете в состоянии заснуть?

— Да, — кратко ответил Уэбел.

— Без таблеток?

— Без таблеток.

Эдди с недоумением покачал головой:

— У вас, похоже, здоровье новорожденного. Ну конечно, вы сейчас в ударе. Такой успех на Сорок четвертой улице! Теперь вы действительно можете спать спокойно.

— Да, это успокаивает, — согласился Уэбел.

Он был постановщиком мюзикла, премьеры которого состоялась две недели назад. Отзывы критики обещали спектаклю долгую жизнь — года три.

— Слышали об Эдгаре Уоллесе, писателе? — поинтересовался Эдди. — Он убил себя чаем. Врач говорил ему: мистер Уоллес, вы травите себя танином, в нем ваша смерть, а он все пил и пил, точно так же, как вы — кофе. Извините, конечно.

— Извиняться не за что, Эдди.

— Может, вам стоит жениться, мистер Уэбел? Вместо того чтобы глушить кофе?

— Я уже был женат.

— Я тоже. Трижды. Что это вдруг меня прорвало? В три часа ночи человек несет такую чушь! Беру свои слова обратно.

— Эй, Эдди! — вновь послышался голос узкоплечего, которого девушка назвала Теренсом. Вверх поднялась тонкая белая рука. — У тебя не найдется пары бутылочек приличного шабли? Хочу прихватить с собой.

Уэбел с интересом следил за лицом Эдди. Полуночная зеленоватая бледность сменилась добродушным румянцем, и на мгновение бармен стал похож на живущего в сельской местности джентльмена из старой Англии, не менее трех раз в неделю выезжающего со своими гончими поохотиться. Никогда еще Уэбел не видел Эдди таким полным сил и энергии.

— Что вы сказали, мистер?

— Я спросил, нет ли у тебя двух бутылок хорошего белого вина. Захвачу их домой, — повторил Теренс. — Завтра предстоит поездка в Нью-Хейвен, после игры мы собираемся устроить пикник, а рыскать утром в поисках винного погребка нет никакого желания.

— Могу предложить «Крисчен бразерс». Не знаю, правда, можно ли его пить, я еще не пробовал.

— Будь любезен, брось пару бутылок в пакет. Не ехать же с пустыми руками.

Вторично обжегшись кофе, Уэбел посмотрел на Эдди, который извлек из недр огромного холодильника две бутылки, сунул их в коричневый бумажный пакет и положил на стойку.

— Кстати, Эдди, — вновь подал голос Теренс, — кто, по-твоему, завтра победит?

— Ну и кто же? — с заметным раздражением спросил бармен.

— Принстон*. — Теренс засмеялся. — Конечно, дорогая, ты думаешь, мое мнение predetermined, — коснулся он руки девушки, — ведь я и сам из Принстона.

«Неужели?» — подумал Уэбел.

— А мне кажется, что Йель**, — бросил Эдди.

— Lux et Veritas***, — буркнул от двери Мак-Кул, но на его слова никто не обратил внимания.

— Значит, тебе кажется, что Йель, — протянул Теренс, копируя пролетарский выговор бармена, и Уэбел вдруг с симпатией подумал о революционерах, предлагающих одним махом покончить с существующими порядками. — Тогда вот что я тебе предложу, Эдди. Давай заключим пари. Ставлю стоимость этих двух бутылок на Принстон.

— Я не делаю ставок на спиртное, — с достоинством ответил Эдди. — Я им торгую.

— Выходит, ты не в состоянии отстаивать свою точку зрения, — торжествуя заметил выпускник Принстона.

— Я сказал то, что сказал. — Эдди повернулся спиной к Теренсу и принялся переставлять бутылки на стойке бара.

— Если вам так хочется поспорить, — вступил в разговор Уэбел, — буду рад оказать услугу.

Равнодушный к футболу, он не имел представления об этом матче и вообще не считал себя человеком азартным, но назови себя принстонец в тот момент демократом, Уэбел поставил бы на республиканцев. Он готов был

* Принстонский университет — одно из старейших и наиболее престижных учебных заведений Америки. Находится в Принстоне, штат Нью-Джерси, входит в «Лигу плюща», объединяющую восемь самых привилегированных частных колледжей и университетов, расположенных на атлантическом побережье США.

** Йельский университет — один из крупнейших учебных и научно-исследовательских центров. Наряду с Принстонским и Гарвардским университетами входит в тройку наиболее престижных учебных заведений США.

*** Свет истины (лат.).

заявить, что Перу разобьет Россию, если бы Теренс признался в любви к Красной Армии.

— Как приятно это слышать, — холодно сказал мужчина. — Могу я спросить, какой же суммой вы горите желанием рискнуть?

— На ваше усмотрение. — Уэбел сделал движение рукой. Доносившаяся с улицы музыка послужила ему достаточным оправданием резкости такого жеста.

— Боюсь, сотня долларов покажется вам дерзостью. — Теренс вежливо улыбнулся.

— Отчего же? Какие мелочи, — пренебрежительно бросил Уэбел. Ему вовсе не хотелось швыряться деньгами, однако высокомерный тон принстонца вызывал у него такое отвращение, что отступить было немислимо. — Я, признаться, рассчитывал на более солидную сумму.

— Давайте остановимся пока на этой небольшой, так сказать, приятельской ставке. Сто долларов, идет? Какую вы предложите мне фору?

— Фору? — с удивлением спросил Уэбел. — Что за фора? Мы играем на равных.

— Дорогой мой, — деланно изумился Теренс, — я, безусловно, полон почтения к старой школе, но не настолько же. Скажем, два с половиной к одному.

— В газетах пишут лишь о равных ставках.

— Но не в тех, которые читаю я. — Принстонец явно давал понять, что Уэбел привык держать в руках бульварные листки и порнографические журнальчики. Вытащив из кармана бумажник, он извлек две банкноты по двадцать долларов. — Вот деньги. Сорок моих против ста ваших.

— Эдди, — повернулся Уэбел, — подай-ка вечернюю газету. Пусть джентльмен убедится.

— Меня не интересует, что там в пьяном угаре выдумал какой-то репортеришка. Я знаю команды. Оба тренера — мои друзья. Смее вас уверить, любезный, два с половиной к одному — это неслыханно щедрое предложение.

— Эдди, у тебя нет на примете букмекера, который мог бы сейчас просветить нас?

— Разыщем, но зачем тратить время впустую? Всю неделю ставка была одна: шесть к пяти. Это равные шансы, мистер.

— Никогда не имел дела с букмекерами. — Теренс начал засовывать деньги в бумажник. — Если вы не собирались держать пари, то не стоило и лезть на рожон, — презрительно бросил он, поворачиваясь спиной к Уэбелу. — Хочешь еще чего-нибудь выпить, дорогая?

В эту минуту согнувшийся над очередным рисунком Мак-Кул, не обращавший, казалось, никакого внимания на беседу у стойки, поднял голову и громко, отчетливо проговорил:

— Я сам из Принстона и со всей ответственностью заявляю, что на этот матч джентльмен никогда не потребует двух с половиной к одному. Ставки должны быть равными.

В баре повисла давящая, почти осязаемая тишина. Теренс неторопливо убрал бумажник и медленным, оценивающим взглядом смерил сидевшего у двери Мак-Кула. Тот как ни в чем не бывало уставился в меню, продолжая черкать карандашом. Лицо Теренса выражало потрясение, скепсис, легкое удивление и безграничную терпимость одновременно. Нечто подобное можно было бы увидеть на лице добропорядочного служителя церкви, зашедшего на ужин к своим прихожанам и обнаружившего, что попал на стриптиз.

— Извини, дорогая, — обратился он к девушке в зеленых чулках и неторопливым шагом с достоинством направился к столику, за которым сидел Мак-Кул. Остановившись метрах в полутора от него, Теренс огляделся, как бы огораживая себя от невидимой, им одним ощущимой ауры, исходившей от его противника.

Мак-Кул увлеченно рисовал, с головой уйдя в творчество. Он был почти лыс, лишь над ушами торчала щетка

рыхжих волос, да щетина угрожающе топорщилась на заметно выдвинутой вперед нижней челюсти. Уэбел впервые подумал, что Мак-Кул сильно смахивает на ирландских трудяг, приехавших году в 1860-м, чтобы строить Тихоокеанскую железную дорогу. Изумление Теренса было вполне ему понятно. И в самом деле, лишь человек с незаурядным воображением мог решить, что Мак-Кул слушал лекции в Принстоне.

— Правильно ли я вас понял, сэр? — осведомился Теренс.

— Не знаю, — не поднял головы Мак-Кул.

— Вы говорили о своей учебе в Принстоне?

— Говорил. — Во взгляде Мак-Кула читалась воинственность подвыпившего человека. — Кроме того, я сказал, что ни один джентльмен не стал бы, заключая пари, требовать себе какой-то форы. Я повторяю на тот случай, если вы меня расслышали неправильно.

Теренс полукругом обошел стол, с чисто научным интересом изучая Мак-Кула.

— Выходит, — с аристократическим скептицизмом произнес он, — вы — выпускник Принстона?

— Именно так.

Теренс повернулся к девушке:

— Ты слышала эти слова, дорогая?

Не дожидаясь ответа, он вновь взглянул на Мак-Кула. В голосе его зазвучало презрение принца крови, застывшего плебея при попытке пробраться на трибуну королевской ложи в «Аскоте»*.

— Вот как, сэр? Да вы такой же выпускник Принстона, как... как... — Теренс обвел глазами бар, подыскивая самое немыслимое, идиотское сравнение, — такой же, как наш Эдди.

* Ипподром близ Виндзора, Великобритания, где в июне проходят ежегодные скачки, являющиеся важным событием в жизни аристократии.

— Эй, мистер, обождите! — недовольно окликнул его бармен. — Не пытайтесь обзавестись совершенно лишними для вас врагами.

Пропустив фразу Эдди мимо ушей, Теренс полностью сосредоточился на Мак-Куле:

— Вы меня заинтересовали, мистер... мистер... Боюсь, не разобрал вашего имени.

— Мак-Кул.

— Мак-Кул, — повторил Теренс с интонацией врача, открывшего новую кожную болезнь. — Не думаю, чтобы мне была знакома такая семья.

— Мой отец был бродячим лудильщиком. Ходил по торфяным болотам и распевал песни. Свою профессию он унаследовал от отца, а тот — от своего, и так на протяжении поколений. С одиннадцатого века наш род живет в роскоши. Поразительно, как это вы о нас не слышали. — Невыносимо фальшивя, Мак-Кул принялся напевать старинную ирландскую балладу «Арфа, что звучала в Тара-Холле».

Уэбел наслаждался и хвалил себя за то, что решил зайти в бар, вместо того чтобы просто завалиться спать.

— Вы по-прежнему настаиваете на Принстоне? — прервал сольное упражнение Теренс.

— А каких доказательств вы хотели бы? — с раздражением спросил Мак-Кул. — Может, мне раздеться и показать свои татуировки?

— Позвольте задать вам вопрос, мистер Мак-Кул, — с наигранным дружелюбием обратился к нему Теренс. — Членом какого клуба вы являлись?

— Никакого.

— Ага.

— «Я так и не смог оправиться от удара». — Мак-Кул возобновил пение.

— Понимаю, с клубом у вас не получилось, — добродушно заметил Теренс, — но сказать, где находится

«Плющ» или «Пушка»*, вы, безусловно, можете, не так ли? — Теренс слегка склонился к столу, абсолютно уверенный в себе.

— Подождите, дайте-ка сообразить, — пробормотал Мак-Кул, почесывая затылок.

— Если идти от библиотеки Пайна или Холдер-Холла?

— Будь я проклят! Не помню! Я был там еще до войны.

Мак-Кул разочаровывал Уэбела. Клуб драматического искусства при Принстонском университете чуть ли не каждый год приглашал Мак-Кула для чтения лекций, и даже пьяный он не должен был забыть, как пройти на Проспект-стрит.

Теренс торжествующе улыбнулся. Перекрестный вопрос оказался на редкость эффективным.

— Хорошо, оставим это, — великодушно предложил он. — Давайте попробуем с другой стороны. Как насчет «Старого Нассо»**? Уж его-то вы слышали?

— Разве мог я не слышать «Старый Нассо»? — упрямо твердил Мак-Кул, несколько пристыженный неудачей с клубами.

— Начинается он со слов «Услышь сердца наши и голоса, и пусть уйдут заботы...». Припоминаете, мистер Мак-Кул?

— Я знаю его, — угрюмо произнес тот.

— С удовольствием послушал бы вас, если, конечно, не будут против другие посетители. — Повернувшись, Теренс обвел присутствующих взглядом опытного конферансье.

— Только не очень громко, — предупредил Эдди. — У меня нет лицензии на развлекательные программы.

— Ну же, мистер Мак-Кул. Мы ждем. — Теренс напел несколько начальных нот.

* Названия клубов Принстонского университета.

** Гимн Принстонского университета.

— «Услышь сердца наши и голоса, и пусть уйдут заботы...» — промычал Мак-Кул. — М-м-м... пусть... как же там... как его... — Он сокрушенно качнул головой. — Черт побери, я не пел его двадцать лет.

— Неужели вы хотите сказать, что не знаете гимн? — с хорошо наигранным изумлением поинтересовался Теренс.

— Не помню, — поправил Мак-Кул. — Виски перебрал. Ну и что?

— Я скажу вам следующее, мистер Мак-Кул. — На лице Теренса появилась широкая улыбка. — За всю свою жизнь я ни разу не встречал выпускника Принстона, который не смог бы спеть «Старый Нассо» от начала и до конца. Такое не забывается.

— А теперь вот повстречали.

— Вы лжец, сэр. Готов поставить тысячу долларов на то, что вы не выпускник Принстона и никогда им не были.

Последняя фраза явно предназначалась всем. Ощувив под ногами твердую почву, Теренс мстил присутствовавшим за смущение, которое охватило его при споре о ставках. На Уэбела он уставился прямо-таки с победоносным видом.

Уэбел сделал глубокий вдох. Уж слишком это хорошо, чтобы быть правдой, подумал он. Трюк, бесспорно, выйдет не совсем достойный, но сукин сын сам на него напрашивается.

Вытащив из кармана чековую книжку, Уэбел с легким стуком опустил ее на стойку.

— Теренс, дружище, хочу поймать вас на слове. Вы только что заявили, будто готовы поставить тысячу долларов на то, что Мак-Кул не является выпускником Принстонского университета.

Теренс был потрясен.

— А сами-то вы что оканчивали?

— Можете считать меня прокаженным. Хотя я вышел всего лишь из Лихая, но чек на тысячу долларов

заполню. Если при вас нет чековой книжки, воспользуйтесь моей. Ставки примет Эдди. Не правда ли, Эдди?

— Буду рад.

Уэбел достал ручку и снял колпачок.

— Ну как?

Теренс побледнел. Живость Уэбела и некая нотка в голосе Эдди, когда тот произнес свое «буду рад», вселяли в него смутное ощущение беспокойства. Он с сомнением посмотрел на Мак-Кула, чувствуя, что мышеловка вот-вот захлопнется. Мак-Кул не имел абсолютно ничего общего с человеком, в котором Теренс готов был бы признать одноклассника, — ни в его поведении, ни в манере речи Принстоном и не пахло. То, что Мак-Кул оказался беспомощным в вопросе о клубах и не вспомнил ни слова из старого университетского гимна, по всем канонам являлось убедительнейшим доказательством его лжи. Но времена стали совсем иными: в Белом доме сидит демократ, общество идет Бог знает куда, да и спорят они в забегаловке, где собираются одни лицедеи. Он, Теренс, совершил ошибку уже тогда, когда просто зашел сюда, ведь среди посетителей мог оказаться буквально кто угодно, включая и какого-нибудь заблудшего принстонца. А тысяча долларов даже на Мэдисон-авеню остается тысячей долларов.

— Ну же, Теренс, — с нажимом сказал Уэбел, — вы не хотите заполнить чек?

— Спрячь ручку в карман, приятель, — снисходительно, как ему казалось, бросил Теренс, однако голосу его не хватало твердости. — Я не собираюсь спорить. Это не тот вопрос, чтобы держать пари. — Не повернув головы в сторону Мак-Кула, он прошел мимо Уэбела к стойке, где сидела девушка, и громко объявил: — По моему, нам пора выпить, дорогая.

— Думаю, все в баре слышали, как вы предложили пари на тысячу долларов. — Уэбел был полон решимос-

ти довести пытку до конца. — Что же заставило вас передумать, Теренс?

— Моя фраза не более чем риторическая фигура речи, старина. Эдди, будь добр, еще два джибсона.

Бармен не шелохнулся.

— Мистер, я слушал вас очень внимательно. Вы пришли сюда, подняли шум, обидели моего старого клиента, предложили пари и тут же всех надули. А теперь вам нужны всего лишь два джибсона, — осуждающе проговорил похожий в эту минуту на сурового проповедника Эдди. — Вот мое мнение: истинный джентльмен на вашем месте либо положил бы свой чек на чек этого господина, — в сторону Уэбела последовал жест, которым публике представляют победителя на ринге, — либо, — повысил голос Эдди, — извинился.

— Извинился? — Теренс был поражен. — Перед кем?

— Перед джентльменом, в словах которого вы усомнились. Перед Мак-Кулом.

Теренс обернулся: Мак-Кул сосредоточенно работал уже над третьим меню.

— О, брось, Эдди, — протянул он. — Давайте выпьем и забудем об этом.

— До тех пор пока вы не поступите так, как я сказал, в этом баре вам не нальют ни капли.

— Послушай, Эдди, твой бар — общественное место, и...

— Теренс, — девушка успокаивающе прикоснулась к его руке, но голос ее звучал отчужденно, — не будь таким занудой.

— Последуйте совету дамы, мистер, — холодно предложил Эдди.

Теренс извлек из бумажного пакета бутылку, всмотрелся в надпись на этикетке и скорчил легкую гримасу. Никто в баре не проронил ни слова.

— Что ж, — небрежно произнес он, — если присутствующие предпочитают раздуть какую-то мелочь в целую проблему... — Рассчитанно неторопливыми движениями Теренс достал сигарету, закурил и медленно прошествовал к столику Мак-Кула, предусмотрительно остановившись метрах в полутора. — Между прочим, — обратился он к опущенному затылку декоратора, — если вы почему-то почувствовали себя оскорбленным, приношу вам свои извинения.

— М-м? — Мак-Кул приподнял голову и прищурился. — Что вы сказали? Не расслышал.

Теренс подошел ближе.

— Я сказал, что сожалею о недоразумении. — На его лице были написаны смущение, растерянность и отсутствие всякой веры в себя.

— Скажите лучше, что берете свои слова назад, — безжалостно приказал Эдди. — Скажите: да, сэр, вы из Принстона.

— Не стоит меня учить, Эдди, — со сварливостью старой экономки заметил Теренс. — Свою мысль я в состоянии выразить и сам.

— Что вы сказали, мистер? — с недоумением спросил Мак-Кул.

— Я был не прав. Теперь я полностью убежден: вы действительно учились в Принстоне.

— Убеждены? — удивился Мак-Кул.

— Да! — склонившись к столику, выкрикнул Теренс.

— К чертовой матери Принстон! — Поднявшись, Мак-Кул обеими руками вцепился в лацканы ладно сидевшего на Теренсе пиджака и энергично встряхнул. — И тебя тоже! — Последовал новый рывок.

Теренс с такой силой попытался высвободиться из мертвой хватки, что, если бы не стена за спиной Мак-Кула, тот неизбежно свалился бы на пол.

Уэбел намеревался разнять обоих, но его опередила девушка — с завидной, несмотря на выпитые коктейли, резвостью. Приблизившись, она сделала неуловимое движение ногой, и Теренс оказался на полу, среди затоптанных окурков и лужиц пива.

— Так вот, Теренс, — почти нежно сказала она, — там, откуда я приехала, джентльмен не станет бить выпившего человека.

Теренс поднял на нее налитые ненавистью глаза; его шегольской костюм выглядел жалкими обносками.

Девушка помогла ему подняться.

— Ты подставила мне подножку, — зло бросил он.

— Совершенно верно, Теренс, — спокойно ответила его спутница, отряхивая пиджак.

— Нам, наверное, лучше уйти. Это заведение потеряло всю свою привлекательность.

— Но не для меня. Можешь отправляться домой. Звякни при случае.

Теренс полез за бумажником, однако девушка оставила его.

— Я расплачусь. — На ее лице появилась ледяная улыбка.

Теренс осмотрелся.

Эдди сосредоточенно выбивал пальцами дробь по краю пивной кружки. Чуть в стороне с видом разочарованного зрителя стоял Уэбел. Парочка в кабинке вновь соединила ладони над двумя взятыми в час ночи бутылками пива. Мак-Кул размеренными движениями карандаша заштриховывал левую ногу Брижит Бардо.

— Хорошо. — В устах Теренса это прозвучало как ответственное заявление политика.

Он двинулся к выходу. Дверь с шумом захлопнулась.

Девушка вернулась к высокому табурету у стойки. Уэбел уселся в углу. Несколько минут в баре стояла ти-

шина. Сбросив туфельки, девушка сняла сначала один зеленый чулок, а затем и второй. Уэбел с изумлением следил за ее движениями.

— Терпеть их не могу, — пояснила она. — Теренс говорит, ему нравятся девушки из Богемии. По его представлению, вся Богемия ходит в зеленых чулках. К тому же, — она отпила из стакана, — не верьте ни слову из того, что я несла о Домингуэне. Я никогда не была в Сантандере и, конечно, не видела боя быков. Всю эту чушь я вычитала в каком-то журнале. Три года назад Теренс съездил в Испанию, и на девушку, которая не знает, что такое бандерилья, теперь смотреть не станет. Оле! — Она хрипловато рассмеялась. — Все прошлое лето я просидела в глуши у родственников. Юные особы представляют сейчас собой полные ничтожества. Знаете почему?

— Почему? — спросил Уэбел.

— Потому что общаются с ничтожествами. Лишь бы дурацкий телефон все-таки звонил.

Неожиданно девушка затянула «Старый Нассо» и с чувством пропела гимн до конца. Выведя последний куплет, она, уже ни к кому не обращаясь, призналась:

— Я заявила ему, что окончила Антиохский колледж*. Ха! Мне оказалась не по плечу даже средняя школа.

— Позвольте налить вам стаканчик, мисс, — предложил из-за стойки Эдди. — Вы помогли нам отразить вторжение и отстоять демократию.

— Спасибо, мистер Холстайн, не стоит. — Девушка засунула зеленые чулки в сумку. — Джина на сегодня уже достаточно. Всего вам доброго, ресибендо, то есть мистер Холстайн.

Она положила на стойку деньги.

Эдди коснулся рукой коричневого бумажного пакета.

* Привилегированный частный колледж в городе Йеллоу-Спрингс, штат Огайо.

— Не думаю, что вам понадобятся его бутылки.

— Еще как, мистер Холстайн! С удовольствием выпью это почти сабли во время завтрашнего пикника на Семьдесят четвертой улице. Всего-то шестьдесят пять миль от Йеля. — Босыми ногами девушка зашлепала к выходу. — «Услышь сердца наши...» — со значением пропела она, открывая дверь.

Прошла пара минут.

— Время позднее, — качнув головой, проговорил бармен и повернулся к Узбелу: — Может, еще чего-нибудь?

— Кофе.

— Кофе? — Лицо Эдди стало скорбным. — Вспомните Эдгара Уоллеса.

Он направился к кофеварке.

ЛЮТИК У МОГИЛЫ*

Увидев его в церкви, она почувствовала удивление. Для нее было неожиданностью встретить его в Лос-Анджелесе. Одна-единственная газета поместила краткое извещение: «Смерть бывшего чиновника государственного департамента. Вчера вечером в госпитале Санта-Моники после продолжительной болезни скончался Уильям Макферсон Брайан. На дипломатическую службу он был зачислен в 1935 году и занимал ответственные посты в Вашингтоне, Женеве, Италии, Бразилии и Испании вплоть до 1952 года, когда по состоянию здоровья подал в отставку. Детей супруги Брайан не имели, и сейчас его вдова, урожденная Виктория Симмонс, под своей девичьей фамилией ведет «Женский уголок» на страницах нашей газеты».

Церковь была почти пуста: переехав на Запад, Брайан так и не обзавелся здесь друзьями. На службу из уважения к вдове пришла лишь горстка сотрудников редакции, поэтому Виктория заметила Бордена почти сразу же. День выдался дождливый и пасмурный; Борден в одиночестве сидел в последнем ряду, у самой двери, но не узнать его светловолосую голову было невозможно. Не вслушиваясь

* Goldilocks at Graveside. © 2001. Ю.Г. Кирьяк. Перевод с английского.

особо в слова святого отца, Виктория вспомнила тайное, известное только троим прозвище Бордена — Лютик.

Прибывший на кладбище траурный кортеж состоял всего из двух машин, однако Бордену каким-то чудом удалось втиснуться во второй автомобиль, и сейчас с непокрытой головой он стоял под дождем у края могилы. Виктория невольно отметила, что седину он начал скрывать краской и что на его лице, по-мальчишески непосредственном, появилась сетка мелких морщин, припорошенных неуверенностью и усталостью.

Когда она, стройная, средних лет женщина без единой слезинки на глазах, скрытых вуалью, отошла от могилы, Борден попросил разрешения проводить ее. Поскольку к окончанию печальной церемонии никого, кроме священника, на кладбище не осталось и места в машинах хватало, Виктория согласилась. Голос Бордена тоже стал другим. Как и прическа с тщательно скрытой сединой, он лишь напоминал об энергии давно минувшей молодости.

Обратный путь священник проделал почти в полном молчании. Виктория познакомилась с ним днем раньше, отдавая последние распоряжения относительно похорон. Ни сама она, ни покойный муж не могли считаться дисциплинированными прихожанами, и на лице служителя Божия было унылое выражение представителя церкви, который хорошо знает, что к его услугам прибегают по необходимости, но никак не из пылкой веры.

Пока они ехали до города, было произнесено не больше трех десятков слов. Священник расстался с ними у церкви. Ответив на его робкое прощальное рукопожатие, Борден предложил Виктории проводить ее до дома. Владела она собой превосходно — ее слезы высохли еще годы назад, — поэтому спокойно ответила, что в помощи и поддержке не нуждается. По возвращении домой Виктория собиралась усесть за стол и вплотную заняться подготовкой воскресного выпуска своей страницы: делать это в

любом случае придется, да и с меланхолией так легче справиться. Но Борден настаивал — в безукоризненно вежливой манере и с той заботой в голосе, которая так располагала к нему людей в годы молодости.

Когда святой отец скрылся из виду, Виктория, откинув вуаль, попросила у Бордена сигарету. Тот раскрыл и протянул ей плоский золотой портсигар, щелкнул золотой же зажигалкой и закурил сам. Что-то в движениях его рук вызвало у Виктории смутную неприязнь, объяснить которую было бы весьма затруднительно. За неимением более точного определения она назвала бы их нарочитыми.

Минуту или две они ехали молча.

— Был он счастлив в свои последние годы? — спросил Борден.

— Нет.

— Какая потеря. — Борден вздохнул, и Виктория почувствовала, что в его вздохе звучала не только скорбь по усопшему. — Ведь он был способным, очень способным.

Пафос этой фразы сделал бы честь известному политику, который произносит речь по случаю запоздалого открытия памятника героям войны.

— Чем он занимался после того, как вышел в отставку?

— Читал.

— Читал? — Борден был слегка озадачен. — И все?

— Да. Того, что я зарабатывала в газете, полностью хватало нам обоим.

— Я и не знал, что у тебя писательский дар.

— Жизнь заставила. В колледже у меня по английскому было только «отлично».

Они оба улыбнулись.

— А Клэр тоже здесь с тобой? — поинтересовалась Виктория.

Борден посмотрел на нее так, будто услышал в вопросе издевку.

— Ты ни о чем не слышала?

— О чем я могла слышать?

— Шесть лет назад мы развелись. Она вышла замуж за какого-то итальянца, владельца ипподрома. В Америку Клэр уже не вернется.

— Прости.

— То, как мы жили, вряд ли можно назвать браком, — пожал плечами, ровным голосом заметил Борден. — Спектакль длился несколько лет, пока в нем был хоть какой-то смысл. А потом — *adieu, cherie* — прощай, дорогая...

— Что же ты делаешь здесь?

— Видишь ли, после развода мы с Клэр какое-то время разъезжали по Европе, но вернуть прошлое так и не смогли. Перспектива работать меня не соблазняла, хотя были и довольно приличные предложения. Денег нам хватало, и я мог позволить себе не работать. А потом, когда мы с ней появлялись в обществе, за спиной слышался такой шепоток... Может, это нам только казалось, но...

— Вам это не казалось.

Вновь повисло молчание. Затем Борден спросил у Виктории номер ее телефона и записал его — подчеркнуто аккуратная строчка, выписанная золотым карандашиком в изящном, с кожаным переплетом блокноте.

— Будет настроение, позвони. Поужинаем где-нибудь вместе. — Он протянул ей свою визитную карточку.

Борден Стейнц, пробежала ее глазами Виктория. *Бутик Меццоджорно — одежда для мужчин.*

— Там меня можно застать каждый день. После одиннадцати.

Мимо этого магазинчика Виктория проходила множество раз. Выведенное на витрине название всегда казалось ей до глупости претенциозным. В конце концов по-английски оно означало всего лишь «южная лавка». Магазинчик был изысканным и дорогим, за стеклом лежали итальянские рубашки, галстуки, свитера кричащих

расцветок, довольно безвкусные, по мнению Виктории. Внутри она не заходила ни разу.

— Я купил его лет пять назад. Решил, что нужно хоть чем-то заняться. — По губам Бордена скользнула улыбка, он будто бы извинялся. — Удивительно, как гладко все прошло. Никогда не думал, что придется стать торговцем на Беверли-Хиллз. Но во всяком случае, теперь у меня есть работа.

У дома, где жила Виктория, машина остановилась. Дождь так и не кончился, но Борден предупредительно выскочил первым, раскрыл с противоположной стороны дверцу автомобиля. Когда Виктория ступила на тротуар, он отослал водителя, сказав, что предпочтет прогуляться.

— Ты считаешь, одиночество сейчас тебе не противопоказано? Я бы с удовольствием зашел и...

— Спасибо, нет.

— Понимаешь, — его голосу не хватало уверенности, — мне казалось, я должен проводить тебя. Сколько времени мы были вместе, втроем...

— С твоей стороны это было очень любезно, Борден.

— Должен сделать тебе одно признание. — Он оглянулся по сторонам, опасаясь, по-видимому, чужих ушей. — Ведь я видел тебя, Вики, в тот день. Ты улыбнулась, а я отвернул голову. Потом я чувствовал себя дураком и не мог избавиться от чувства вины, но...

— В какой день? — спросила Виктория, потянув на себя входную дверь.

— Не помнишь? — В устремленном на нее взгляде Бордена сквозило недоверие.

— В какой день, Борден? — повторила вопрос Виктория уже на пороге.

— Думаю, я что-то перепутал. Не имеет значения.

Он улыбнулся почти по-мальчишески, слегка прикоснулся губами к ее щеке — прощальный поцелуй, пе-

ред тем как расстаться, может быть, навсегда, — и упругой, юношеской походкой зашагал прочь. В его светлых волосах блестели капли дождя, слабый ветерок едва шевелил полы элегантного плаща.

Поднявшись по лестнице, Виктория открыла дверь. В квартире она сорвала шляпку с вуалью, бесцельно прошлась по пустым комнатам. Квартира была так себе, все в ней говорило о том, что когда-то она служила прибежищем двум одиноким душам. Временным прибежищем, не более. Из двух душ теперь осталась одна.

Равнодушным взглядом Виктория скользнула по стоящей на столе фотографии мужа в серебряной рамке. Строгий портрет был сделан более десяти лет назад в студии; муж на нем выглядел серьезным и респектабельным, какими обычно бывают члены попечительских советов известных учебных заведений. Нельзя даже представить себе, чтобы такой мужчина воспользовался когда-нибудь услугами магазина «Бутик Меццоджорно».

На столе лежали гранки статей, но Виктория не могла заставить себя приняться за работу. Встреча с Борденом разбудила слишком много воспоминаний, выбила из колеи. Даже смерть мужа, давно уже ожидаемая, не привела Викторию в такое смятение.

Она прошла в небольшую кладовку, где стояли полки с папками, нечто вроде личного архива, вытащила одну, с крупными черными цифрами на картоне — 1953, и принялась быстро ее перелистывать. Вот он, аккуратный конверт с двадцатью пятью отпечатанными на машинке страничками.

Усевшись в кресло у окна, за которым по-прежнему лил дождь, Виктория надела очки. Последний раз она открывала этот конверт не менее десяти лет назад.

«Из пустыни», — прочла она первую строку. «Новелла В. Симмонс», — гласила вторая. Поморщившись, Вик-

тория черным карандашом густо замазала имя автора и погрузилась в чтение.

«Само собой, — прочитала она, — я не собираюсь указывать свое настоящее имя. Если благосклонный читатель все же доберется до конца, он поймет почему.

Если мне повезет и я добьюсь своего, стану писателем, то и тогда скрыть свое авторство не будет проблемой. Я ничего не писала ни до вступления в брак, ни в годы замужества, а в анкетах и официальных бумагах в графе «Род занятий» всегда указывала: домашняя хозяйка. Я по-прежнему застилаю постели и готовлю еду, два раза в неделю отправляюсь в ближайший городок по магазинам. Соседей у нас нет, как нет и друзей, которые могли бы увидеть на моем столе пишущую машинку и стопку дешевой бумаги, купленной из предосторожности в С. — большом городе в пятидесяти милях от нашего дома. Там же я предусмотрительно, под вымышленным именем арендовала на почте абонентский ящик для переписки с редакторами и издателями. Когда мне нужно отправить им какую-то корреспонденцию, я кладу бумаги в обычный конверт и отправляюсь в город. Неброско одетая средних лет дама, появляющаяся на почте в те часы, когда работа там кипит вовсю, ни у кого не вызывает особого интереса.

Подобная бдительность может показаться читателю излишней, но до самого последнего времени мы с мужем жили в атмосфере, где наблюдение и слежка, скрытые микрофоны, перлюстрация и донесения доброхотов о деталях наших разговоров с друзьями были нормой. Когда доносившиеся до меня слухи казались куда более зловещими, чем факты, и я не имела ни малейшей возможности убедиться, насколько они серьезны, душа моя пребывала в угнетенном состоянии. Даже сейчас, живя

фактически на краю пустыни, без соседей, без прислуги и телефона, я не могу избавиться от подозрительности.

В городке, куда я езжу за покупками, нашу замкнутость воспринимают по-своему. Муж там никогда не появляется, все знают, что гостей у нас не бывает. Единственные люди, с кем я вступаю в контакт — торговцы, — решили, будто у мужа чахотка и места эти привлекли его своей тишиной и сухим, здоровым воздухом. Разубедить их мы, естественно, не пытаемся. Джон (мужа, конечно, зовут совсем иначе) никогда не был настолько известен, чтобы о нем писали газеты. Обстоятельства, которые привели к его отставке, широкому кругу людей остались, благодарение Богу, неизвестными.

Желание взяться за перо вызревало во мне долго, и питали его разные причины. У меня вдруг появилась уйма свободного времени: несложная работа по дому отнимает всего три-четыре часа. После переезда сюда муж становился все менее и менее общительным, и сейчас большую часть дня он просиживает с книгой в углу внутреннего дворика либо изучает вершины гор, с востока и севера окаймляющих нашу пустынную местность. Я пришла к выводу, что, достигнув сорока пяти лет, Джон никогда не согласится вновь заняться каким-нибудь делом, значит, примерно через год перед нами неизбежно встанет вопрос о деньгах.

Первое время после переезда я считала, что наше пребывание здесь окажется временным, что мужу необходимо просто восстановить силы и решить, по какой стезе двинуться дальше. Поначалу он и в самом деле отсылал старым друзьям и бывшим товарищам по работе по нескольку писем в неделю, извещая их о своей готовности приступить к работе после хорошего, скажем, в полгода, отпуска. Джон знал: государственным учреждениям он больше не нужен, по крайней мере не будет нужен в обозримом будущем. Но его образование и опыт,

особенно в тонких вопросах международных контактов, могут быть востребованы целым рядом частных компаний и организаций. Однако тон ответов однокурсников и коллег обескураживал, хотя муж, как обычно, ничем не выдавал своего разочарования. Через три месяца конвертов ему я уже не покупала.

Джон никогда не говорит, что оставил всякую надежду, но я слишком хорошо его знаю, чтобы ожидать подобных заявлений. А потом, я шпионю, я читаю его письма, каждый момент, что мы находимся рядом, я внимательно слежу за выражением его лица. Ставя на стол тарелку с каким-нибудь новым блюдом, я наблюдаю, что оно вызовет: неудовольствие? аппетит? В те времена, когда мы еще общались с друзьями, мне не составляло никакого труда заметить момент, когда старая дружба начинала тяготить его. В таких ситуациях я сразу же принимала меры, чтобы безболезненно поставить на таких отношениях точку. Сейчас, выступая в роли писателя, я не собираюсь обсуждать те вопросы, что должны навсегда остаться тайной двоих, тайной мужчины и женщины, могу лишь сказать: я прекрасно знаю, чем и как доставить Джону настоящее удовольствие. Если он читает книгу, я прочитываю ее сразу же после него. Могу перечислить все, к чему он испытывает симпатию или антипатию, все оттенки его настроения, все слабости. Подмечаю я их вовсе не из ревности или чисто женского стремления ощутить себя собственницей. Я делаю это для того, чтобы как-то развлечь, заинтересовать его. И еще из чувства благодарности.

Мой муж, человек исключительный, внешне производит впечатление мужчины самого заурядного. Он предпочитает выдержанных, спокойных тонов костюмы и коротко стрижется, что при его длинном, худом лице может произвести, пожалуй, неприятное впечатление. Как-то раз, когда мы с Джоном отдыхали на крошечном островке в

Карибском море, он позволил себе не стричься и отрастил роскошные черные усы, что разительно изменило пропорции его лица. Покрытый загаром — мы целыми днями валялись на песке или выходили в море на небольшом паруснике, — муж походил на известных спортсменов, мужественных покорителей Гималаев, чьи снимки часто появлялись в журналах. Но перед самым возвращением домой его волосы обрели привычную длину, усы были сбриты, с лица исчезло всякое выражение значительности. Джон снова спрятался под защитой грубоватых, чтобы не сказать примитивных черт своей внешности.

Его манера держаться, так же, как и внешний вид, говорит о привычке оставаться в тени. Муж всегда безукоризненно вежлив с подчиненными и абсолютно невозмутим в присутствии тех, кем в душе восхищается. Он с беспощадной волей подавляет неожиданные и резкие вспышки эмоций, в минуты величайшего напряжения речь его становится чуть медленнее и тише. Уверенный в своем интеллектуальном превосходстве, Джон способен часами благожелательно выслушивать пустую трескотню сильных мира сего, делая вид, что внимательно прислушивается к мнению тех, кого он ни в грош не ставит. На редкость честолюбивый, он ни разу не воспользовался ни одной из тех сотен уловок, благодаря которым его менее одаренные коллеги с успехом делали блестящую карьеру. Любвеобильный и чувственный, могу вас в этом уверить, на публике Джон ни разу не взял меня за руку, не позволил себе проявить и искры интереса к ярким красавицам, постоянно мелькавшим в обществе, где мы так долго вращались. Жажда успеха никогда не могла заставить его сделать хотя бы один ложный шаг.

Вот какой человек теперь проводит день за днем под лучами полуденного солнца в строгом сером костюме, белоснежной рубашке и галстуке, с книгой в руках, укрываясь от раскаленного ветра за невысокой стеной.

Если он х чет до конца своих дней остаться со мной здесь, я согласна. А поскольку в наших условиях другого способа заработать денег не существует, поскольку ждать помощи от тонущих в нынешней экономической неразберихе родственников не приходится, я решила сесть за машинку. Ведь для того чтобы жить в этой тиши, нам нужно не так много. Не имея никакого опыта в литературном труде, я тем не менее испытываю нечто вроде вдохновения, когда листаю издающееся по всей стране угнетающе низкопробное чтиво. Образованный человек, который более двадцати лет пробыл в самом центре важнейших мировых событий, без особых усилий сможет водить пером так, чтобы результат соответствовал столь примитивным стандартам, сможет с помощью банальной грамотности поддержать свой скромный образ жизни.

Не скрою, что муки творчества предвкушаю не без удовольствия. Я женщина прямая, мне знакомо чувство мести, я долгое время хранила молчание в обществе дураков и самонадеянных ничтожеств, и если сейчас я попытаюсь воздать им должное, то в выигрыше останутся и читатели — при условии, что они не испортили безнадежно свой вкус сентиментальной и лицемерной писаниной, которой с таким удовольствием предоставляет страницы наша пресса.

Где-то я читала, что все первоклассные писатели — это либо мужчины, либо одержимые женщины. Не питая никаких иллюзий относительно собственных достоинств или славы, которая меня ждет, готова безоговорочно согласиться с последним. Я одержима. Вся моя одержимость направлена на мужа, о нем-то я и буду писать.

... Семейю, где Джон появился на свет, в другой стране и в другое время по всей справедливости назвали бы аристократической. Фамильных денег хватило на то, чтобы от-

править мальчика в хорошую школу, дать ему возможность окончить известный колледж, откуда вышли многие прославившиеся на всю страну бизнесмены и политики. Не испытывая ни малейшего интереса к предпринимательству и следуя традиции, согласно которой многие поколения его предков связывали жизнь со служением на благо общества, мой муж избрал для себя дипломатическое поприще. Произошло это в то время, когда иные ветви государственного аппарата были отданы на откуп настоящим ордам громкоголосых карьеристов весьма сомнительного происхождения, с дурными манерами и явно ущербным образованием. Дипломатическая служба, с ее строгой системой отбора, со спасительным предубеждением в пользу воспитанной молодежи из респектабельных, консервативных семей, в безбрежном море дешевого эгалитаризма оставалась тогда единственным островком, где джентльмен мог посвятить себя защите интересов страны, не жертвуя ради этого своим достоинством и принципами.

Никогда не шадивший себя в работе, муж достаточно быстро продвигался вверх по служебной лестнице. Известность обошла его стороной, но он всегда пользовался уважением, и к моменту вступления в брак, через четыре года после первого его назначения, мы оба были уверены, что через некоторое время Джон займет самые ответственные, если не первые посты в своем ведомстве. В годы войны он с таким успехом справился с опасной и весьма деликатной миссией, что впоследствии сам государственный секретарь в личной беседе был вынужден признать: значительное количество американских граждан своими жизнями обязаны моему мужу.

После победы Джон получил назначение в наше посольство в N. (Простите мне фигуру умолчания — страна, где мы живем, переживает сейчас такой период истории, когда чистосердечие не в моде, а людей прямодушных осы-

пают упреками.) Я не последовала за мужем в N. Мне пришлось лечь на операцию, оказавшуюся несколько сложнее, чем рассчитывал наш семейный врач. Возникли осложнения, потребовалась вторая операция, и в результате я смогла приехать к Джону лишь полгода спустя. За шесть прожитых в очень беспокойном городе месяцев он сблизился с двумя людьми, ставшими, как позже выяснилось, причиной всех его бед. Первого звали Мандер (как вы понимаете, я сочла своей обязанностью изменить почти все имена). Он занимал в то время престижный пост первого секретаря посольства. Джон познакомился с ним еще в годы учебы, а совместная работа в посольстве только укрепила их давнюю дружбу. Обоими овладели честолюбивые помыслы, оба были в равной степени преданы делу, да и по характеру они тоже дополняли друг друга.

Кабинет посла занимал тогда человек доброжелательный и довольно ленивый, который с удовольствием перевалил бремя реальной работы на плечи своих молодых и способных подчиненных. Джон вместе с Мандером отвечали за выполнение получаемых из Вашингтона директив и фактически формирование политического курса. Сложившееся в послевоенной неразберихе соотношение сил было в Европе в пользу коммунистов, и тем, что правительство N. не забывало в таких условиях об интересах Соединенных Штатов, наша дипломатия обязана прежде всего Мандеру и моему мужу. Собственно говоря, именно поэтому чуть позже Мандера перевели в Вашингтон, где на протяжении нескольких лет он играл весьма важную роль в выработке основных направлений нашей политики. Однако взлет его, как часто бывает, закончился падением. Когда пришло время принести жертву издерганным и разочаровавшимся избирателям, руководство заняло по отношению к Мандеру такую позицию, что он предпочел уйти. Та же, если не худшая участь — прозябать на уни-

зительно мелких постах — была уготована и многим его ничего не подозревавшим тогда друзьям и коллегам.

Вторым злым гением оказалась женщина. Она была женой дипломата из совсем другой страны, настоящего идиота, по глупости соглашавшегося на длительные, тянувшиеся месяцами командировки. Эта дама сочетала в себе опаснейшие женские качества: красоту, болтливость и сентиментальность — и до поры только благодаря случайностям избегала громких скандалов. Джону просто не повезло, что буря разразилась именно в разгар их любовной связи. Позже стало ясно: на его месте мог оказаться любой из трех, а то и четырех членов узкого дипломатического мирка, понравившихся рафинированной соломенной вдове.

Находясь за четыре тысячи миль, я почти с самого начала знала о том, что происходит. Проследили за этим, как водится, друзья. Не стану делать вид, будто новость обрадовала меня или хотя бы поразила. В браках, подобных нашему, когда супруги разлучаются на долгое время, а жену уже никто не назовет молодой и неотразимой, предполагать, что представительный, полный страсти мужчина будет стоически хранить верность, может лишь круглая дура. Среди всех своих друзей и знакомых я не знаю ни одной пары, которой во имя сохранения семьи не пришлось бы прощать друг другу взаимные грехи. У меня не было намерения рушить устои собственной жизни ради того лишь, чтобы обменяться градом взаимных упреков или удовлетворить лицемерное чувство справедливости своих друзей. Я не спешила дать выход эмоциям, уверенная в том, что придет время и *modus vivendi** сложится сам собой.

К несчастью, когда Джон сообщил даме о моем скором приезде и о том, что это положит конец их отношениям, та предприняла трогательную, но недостаточно артистичную

* образ жизни (лат.).

попытку самоубийства. Так глупые и легкомысленные женщины пытаются доказать себе и окружающим, что они вовсе не глупы и не легкомысленны. Запив стаканом воды горсть таблеток, дама решила попроситься с Джоном по телефону, и, когда он примчался в ее квартиру, она в одной ночной сорочке без сознания лежала на постели. Муж поступил так, как должен был поступить порядочный человек, — он пробыл в больнице до тех пор, пока доктора не уверили его, что опасность для жизни этой женщины миновала. Слава Богу, персонал там оказался достаточно цивилизованным, и с помощью какой-то незначительной суммы Джону удалось предотвратить появление газетчиков. В некоторых кругах по городу, естественно, пошли слухи, недели полторы избранное общество ни о чем другом и не говорило, однако Европа так давно привыкла к подобным происшествиям, что, когда через две недели посвежевшая дама под руку со своим супругом появилась на приеме, инцидент был уже предан забвению.

Эту историю муж подробно поведал мне в день моего прилета. Выслушав ее, я сказала, что больше на эту тему разговаривать не хочу. Потом мы действительно ее не затрагивали. Думаю, имею все основания заявить: этот случай ни в малейшей степени не повлиял на наши отношения.

Сейчас я приближаюсь к моменту, представляющему известную сложность для любого писателя. Для того чтобы читатель лучше понял суть дальнейшего развития событий, мне необходимо как можно полнее описать личность моего мужа, его прошлое, его отношение к работе, поделиться тем, что наполняет радостью нашу супружескую жизнь. Однако все детали окажутся бессмысленными, если рассматривать их оторванными от атмосферы, в которой мы существовали. Литератор более талантливый, чем я, без сомнения, подал бы требуемую информацию в виде хоро-

шо продуманных драматических эпизодов, с тем чтобы читатель, заинтригованный и взволнованный внутренним конфликтом героев, ощутил себя исподволь подготовленным к развязке. Меня от подобной попытки удерживают два обстоятельства. Первое заключается в том, что для этого требуется иной, более высокий уровень профессионализма. Второе несколько прозаичнее: читая книги, я как-то заметила, что авторы, пользующиеся таким приемом особенно искусно, в конечном итоге вызывают у меня отвращение.

В жизни каждого человека, как в жизни правительств и армий, время от времени бывают самые ответственные, решающие дни. Начинаются они точно так же, как и другие, обычные, и, казалось бы, ничто не предвещает катаклизма, но падает вдруг кабинет министров, полководец проигрывает битву, удачливый карьерист с предпоследней ступеньки высокой служебной лестницы внезапно летит вниз.

Для моего мужа этот день в конце весны был полон солнца и свежести, вода гавани в городе, где он служил вице-консулом, тихо светилась бирюзой. За завтраком мы решили, что погода достаточно хороша для того, чтобы обедать и ужинать на открытой террасе, я поделилась с Джоном намерением пробежаться по магазинам и купить пару фонариков, в которые вечерами можно было бы ставить свечи. Во второй половине дня на партию в бридж обещали подойти двое наших друзей, поэтому я напомнила мужу о необходимости купить бутылочку виски. Кивнув в знак согласия, он вышел — аккуратный, неторопливый, так и оставшийся настоящим американцем, несмотря на долгие годы, проведенные вдали от родины.

Джон — человек очень методичный, у него превосходно тренированная память, и, когда значительно позже я

поинтересовалась, как сложилось то утро, он ответил с привычной точностью. Консул, отъехавший на несколько дней в северные районы страны, возложил исполнение своих обязанностей на него, и, прибыв в кабинет, он просмотрел поступившую почту. Ничего необычного или срочного в ней не оказалось.

Не успел Джон разложить бумаги по папкам, как в комнате появился Майкл Лабордэ (не забывайте: имена действующим лицам я дала вымышленные). Кабинет его располагался за стеной, и Майкл возникал иногда неожиданно, как привидение. В свои неполные тридцать лет он занимал незначительную должность в коммерческом отделе консульства. Внешность у Лабордэ была располагающая, а характер довольно слабый — мой муж считал Майкла хлипким интеллигентом. Жил Лабордэ в городе одиноко, и по меньшей мере раз в неделю мы приглашали его на ужин. Молодого сотрудника консульства отличал острый, гибкий ум, он всегда был в курсе последних слухов, и Джон как-то признался, что наслаждается пятиминутными перерывами в работе, когда Майкл заглядывает в его кабинет. Однако тем утром Лабордэ стоял на пороге, нервно затягиваясь сигаретой.

— Черт бы побрал, — буркнул он, — этот Вашингтон.

— Что случилось?

— Вчера получил письмо. В секторе стран Латинской Америки у меня работает друг. Они там все воют от ужаса. Людей выставляют на улицу десятками, причем каждый день.

— Убирать улицы тоже... — начал было Джон, даже с друзьями всегда осторожный при обсуждении подобных вопросов.

— Черта с два — улицы! Топор крушит все без разбору. Они там с ума посходили от охоты на гомиков. Приятель пишет, будто в половине вашингтонских отелей и

баров стены утыканы микрофонами, поймали уже человек двадцать, уж больно много они трепали языком в общественных местах. Никаких скидок на награды, благодарности или на годы безупречной службы! Трехминутная беседа — и свободен! Можешь располагать собой по собственному усмотрению.

— Думаю, — улыбнулся Джон, — тебе из-за этого нечего беспокоиться.

В городе Майкл имел репутацию опытного дамского угодника, облик его, как я уже отмечала, этому способствовал.

— За себя я спокоен, по крайней мере в таком вопросе. Но меня бесит сам принцип. Тоже мне пуритане! Когда люди провозглашают поход за чистоту нравов, то они не успокоятся до тех пор, пока не распнут последнего грешника. А еще друг советует мне быть осторожнее в письмах. Последнее, которое он получил от меня, было заклеено скотчем. Но я-то скотчем не пользуюсь!

— Твой приятель чересчур впечатлителен.

— Он говорит, что Эль Бьянко держит в Европе штат из пятидесяти платных агентов. — Эль Бьянко — псевдоним, которым Майкл наградил сенатора, своими запросами приводившего госдепартамент в состояние полной прострации. — Стукачи не делают даже перерывов на обед. Они могут сидеть за соседним столиком в ресторане и строчить в блокнот твои анекдоты.

— А ты обедай дома. Как я.

— Они придумали и блюдо поострее. Некий придуток, о существовании которого ты и не догадывался, вдруг приходит к выводу, что ты ему не нравишься. Он строчит анонимную писульку в ФБР, где сообщает, что 4 июля* ты неправильно повесил наш звездно-полосатый флаг или что ты спишь с двумя одиннадцатилетними араб-

* 4 июля — День независимости, национальный праздник США.

скими мальчиками. Через пару дней копию этих откровений получит какой-нибудь пучеглазый конгрессмен и начнет на всю страну орать: «У меня здесь информация, расследованием которой в данный момент заняты люди из ФБР!» Сколько, интересно, времени понадобится тебе для того, чтобы навсегда распрощаться со своим креслом?

— И ты всему этому веришь?

— Откуда мне знать, во что верить, во что — нет? Я просто жду, когда поползут слухи о том, как в Вашингтоне прохожие видели человека, который был в своем уме. Тогда попрошусь в отпуск, чтобы своими глазами посмотреть на это чудо. — Потушив в пепельнице сигарету, Майкл мрачно скрылся за дверью.

Позже муж вспоминал, что рассказ Майкла вызвал у него раздражение, но об этой проблеме Джон неоднократно задумывался и сам. При назначении коллег на новые посты его обошли уже дважды, а предоставив ему нынешнюю должность, руководство, внешне демонстрируя поддержку, как бы предостерегало: ты попал в опалу, высшие сферы тобой недовольны.

В течение года — нет, больше — моего мужа мучили сомнения относительно благонадежности его переписки. В результате даже самым близким друзьям он стал отправлять письма, выдержанные в ровном и безликом тоне. В памяти всплыло, что несколько полученных месяцем раньше конвертов тоже были заклеены прозрачной бесцветной лентой. По роду обязанностей Джону приходилось знакомиться с предоставляемой отделом выдачи виз и паспортов информацией крайне деликатного характера. Было ясно, что сведения о подателях заявлений собирала агентурная сеть, причем методы ее работы отличались шокирующей изобретательностью. На протяжении последних месяцев мужу регулярно портили нервы бесконечные

проверяющие — навязчивые и лишенные чувства юмора молодые люди, упорно пытавшиеся получить любые компрометирующие данные на его коллег за период начиная с 1933 года. Поскольку все их вопросы, как подчеркивали эмиссары Вашингтона, носили самый рутинный характер, Джон пришел к выводу, что объектом интереса неулыбчивых парней являлся и он сам.

Будучи реалистом, мой муж никогда не воспринимал подобную активность спецслужб как беспричинные преследования сотрудников госдепартамента. Лучше многих он отдавал себе отчет в том, что идущая в мире невидимая борьба требует повышенных мер безопасности: ведь предатели существуют, и глупо поступают те, кто делает вид, будто у нас их и быть не может. Термин «угнетение духа» не способен точно передать суть его переживаний. Привыкший к четким дефинициям понятия вины или невиновности, руководствуясь вошедшей в кровь терпимостью к чужим политическим воззрениям, Джон не мог не сознавать, что в глазах высокого начальства он выглядит человеком старомодным и недостаточно жестким. Традиция обсуждать со мной список приглашаемых на ужин гостей с целью исключить возможность общения с теми, кто пусть даже предположительно может бросить тень на его доброе имя, превращалась в тяжкое, отвратительное бремя. Уж если человек хочет сполна получить удовольствие от приема гостей, он не должен исключать определенной стихийности, непредсказуемости процесса общения, а за последний год элемент неожиданности из наших вечеринок начисто пропал. Судить с профессиональной объективностью о качествах коллег — одно дело, строить предположения об образе мыслей, поведении, возможном бесчестье соседа по столу или туриста-соотечественника, с которым познакомился в баре, — совсем другое.

Размышления Джона были прерваны приходом Трента, члена совета директоров одной из американских неф-

тяных компаний, открывшей в городе свое представительство. Высокий и грузный уроженец Иллинойса, со спокойной, медлительной манерой речи, Трент был немного старше моего мужа. Время от времени Джон играл с ним в гольф и в общем-то видел в нем своего друга. Поднявшись навстречу, он предложил гостю сесть. Обменявшись с хозяином кабинета парой незначаших фраз, Трент перешел к делу.

— Мне нужен твой совет, Джон. — Было видно, что чувствует он себя неловко, что его тяготит груз сомнений. — Ты со всем этим связан куда больше меня, тебе виднее, что у нас сейчас происходит. Сюда я приехал довольно давно, и, хотя регулярно читаю нашу прессу, мне трудно разобраться, насколько ситуация может быть серьезной. Словом, у меня возникли проблемы, Джон.

— Выкладывай.

В волнении Трент вытащил из кармана сигару, отгрыз кончик, но так и не прикурил.

— Видишь ли, — растерянно хмыкнул он, — как-то раз мне предложили вступить в коммунистическую партию.

— Что? — с удивлением переспросил Джон. В дорогом, с иголки костюме, с аккуратно зачесанными волосами, Трент выглядел — и на самом деле являлся — классическим представителем класса знающих себе цену и весьма преуспевающих бизнесменов. — Что ты сказал?

— Я сказал, что мне предложили вступить в коммунистическую партию.

— Когда?

— В тридцать втором. Тогда я еще учился в университете, в Чикаго.

— Ну и?.. — протянул Джон, недоумевая, какой совет мог понадобиться приятелю.

— Так что же мне сейчас делать?

— А ты вступил?

— Нет. Хотя, скажу честно, одно время серьезно подумывал об этом.

— Никак не пойму, в чем состоит твоя проблема.

— Человек, который подошел ко мне с этим предложением, работал инструктором в министерстве экономики. Энергичный молодой парень в твидовом пиджаке, бывал в России. Раз в неделю собирал у себя на квартире толковых и грамотных ребят на хороший мужской разговор за пивом. Мы болтали о женщинах, о Боге и политике и казались себе настоящими интеллектуалами. В те времена парень он был что надо...

— Так-так...

— Что «так-так»? Я вижу, комитет* вплотную заинтересовался моими однокашниками, вот и думаю: не сдать ли его?

Джон решил проявить максимальную осторожность. До него внезапно дошло, что Трента он почти не знал, разве только по редким партиям в гольф. Взяв из стаканчика карандаш, он придвинул к себе блокнот.

— Назови мне имя.

— Нет. Не хочу тебя впутывать. Не уверен, что и сам захочу впутаться.

— Где он сейчас?

— Понятия не имею. Во всяком случае, не в Чикаго. Несколько лет мы переписывались, а потом он куда-то пропал. Сейчас он либо уже мертв, либо ушел к йогам.

— Тогда будь добр, объясни поточнее, чего ты от меня хочешь.

* Речь идет о созданном в 1945 году Комитете по антиамериканской деятельности, занимавшемся расследованиями в отношении лиц, заподозренных в подрывной (главным образом коммунистической) деятельности. При отказе подозреваемого давать показания его обвиняли в неуважении к конгрессу, и дело передавалось в суд. В 1975 году комитет был распушен.

— Услышать твоё мнение. Оно поможет мне решить, что делать дальше.

— Сдай его комитету.

— Но... — Трент засомневался. — Посмотрим. Мы были друзьями, я часто вспоминал о нём. Такой шаг может здорово навредить человеку, да и было это больше двадцати лет назад...

— Ты хотел услышать моё мнение. Советую тебе сдать его.

В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет без стука вошёл консул. Ожидавший его возвращения лишь через два дня, Джон удивился.

— О, я не знал, что у вас посетитель. Когда закончите, прошу зайти ко мне.

— Я уже уйду, — поднялся со стула Трент. — Спасибо, Джон. Спасибо за всё. — Пожав обоим дипломатам руки, он вышел.

Консул плотно притворил дверь.

— Садись, Джон. Я принес тебе дурные новости.

Довольно молодой мужчина, вряд ли старше Майкла, консул был одним из тех счастливых, которые начинали свой стремительный взлёт ещё в юности вне зависимости от того, где они служили, и без всяких видимых усилий. Его умное, привлекательное лицо всегда казалось покрытым ровным загаром. Годом раньше консул взял в жены единственную и очень красивую дочь весьма состоятельных родителей. Вскоре молодые стали пользоваться репутацией приятной и общительной пары, без которой не обходились ни одна вечеринка, ни один званый ужин в домах приличных семейств. Начальство с удовольствием продвигало обходительного молодого человека, самой судьбой обречённого на головокружительный успех. Мой муж, отличавшийся от своего босса и удачливостью, и темпераментом, относился к нему так же, как и окружающие. Он

почти с удовольствием взвалил на свои плечи дополнительную работу: в силу чрезвычайной занятости общественными мероприятиями у консула просто не хватало времени на исполнение своих непосредственных должностных обязанностей. Нельзя, конечно, умолчать о том, что Джон завидовал своему блистательному коллеге. Муж отлично знал свои возможности, и разница в положении обоих, в открывавшихся перед ними перспективах представлялась ему вопиюще несправедливой. К тому же, когда оба являлись еще сотрудниками посольства в N., Джон был фигурой куда более значимой, а какому мужчине приятно видеть, как его обходит бывший подчиненный? Сочетание зависти, расположения и ревностного исполнения своего долга встречается в коридорах власти намного чаще, чем принято думать.

Майкл Лабордэ был, пожалуй, единственным из работников, кто имел о руководителе консульского аппарата свое собственное мнение. Легкая золотистая шевелюра консула и никогда не закатывавшаяся счастливая звезда дали Майклу повод прозвать его Лютиком. Должна признаться, что и меня Лютик не смог очаровать так, как моего мужа. Мне виделось в нем что-то фальшивое, что-то вызывавшее смутную неприязнь, хотя Джону я ни разу не намекнула на это. Тайной для всех остался и забавный инцидент, участниками которого были всего двое: консул и я. Как-то после обеда я решила пройтись по магазинам. Остановившись на мгновение перед витриной, я краем глаза заметила, как из соседнего подъезда вышел наш консул. Выглядел он в элегантном костюме совершенно обычно. Шляпы на голове не было, чуть влажные, аккуратно уложенные волосы наводили на мысль о только что принятом душе. Консул двинулся навстречу; губы мои уже расползались в улыбке, как вдруг он резко развернулся и стремительно зашагал прочь. Не было и тени сомнения в том, что он заметил меня. Похоже, случайная встреча привела консу-

ла в совершенно непривычное для него замешательство. Увидев, как он сворачивает за угол, я озадаченно пошла по улице дальше. Но любопытство тут же пересилило, и я почти бегом вернулась к подъезду. Сбоку от двери висела табличка с именами шести жильцов, из которых только одно было мне знакомым. Оно принадлежало молодому американцу с весьма приличными, хотя и неясного происхождения доходами, поселившемуся в нашем городе месяца три назад. Пару-тройку раз я видела юношу на вечеринках и довольно быстро поняла по его походке и манере говорить, кем он был. Если бы консул хотя бы кивнул, произнес ничего не значащее «привет», мне и в голову не пришло бы вчитываться в имена на табличке.

— Из посольства пришлось вернуться немного раньше, чем предполагалось, — сказал он, когда муж опустился в свое кресло. — Я сам должен сообщить тебе об этом. Ты выведен за штат, Джон. Твой сегодняшний рабочий день последний.

Услышав привезенную из посольства весть, муж, по его словам, испытал непонятное облегчение. Подсознательно, без всяких на то серьезных причин, два последних года он ожидал этих слов. Теперь, когда они наконец прозвучали, Джону показалось, что от рухнувшей на землю тяжести выпрямились плечи. Даже пугающая их суть была все-таки лучше, гуманнее бесконечных сомнений.

— Повтори, пожалуйста.

— Ты выведен за штат. Я бы советовал тебе подать в отставку немедленно.

— Мне позволено подать в отставку?

— Да. Твоим друзьям пришлось немало потрудиться, но в конечном итоге им это удалось.

— А в чем, собственно, я провинился? — Несмотря на одолевавшие его в течение двух лет мрачные предчувствия, Джон действительно понятия не имел, чем вызвал недовольство высоких чинов.

— Главную роль сыграли соображения морального порядка, Джон. Вздумаешь полезть в драку, они станут известны широкой публике, а о чем в первую очередь подумают люди, ты и сам знаешь.

— Все решат, что меня выставили за гомосексуализм.

— Не те, кто тебя знает. Остальные же...

— Но предположим, я все же ввяжусь в драку и победа останется за мной?

— Это невозможно, Джон. За тобой наблюдали, и кое-где есть вся информация о той даме, что пыталась покончить с собой. В папки подшиты показания врача, консьержки дома, где дама проживала, одного из сотрудников посольства, который на свой страх и риск провел некое расследование и представил полученные данные выше.

— Кто это был?

— Имени я назвать тебе не могу, а сам ты никогда его не узнаешь.

— Но ведь это полный абсурд! Речь идет об инциденте, произошедшем пять лет назад!

— Это не важно. Факт остается фактом.

— Если я ни с того ни с сего подам в отставку, то люди, которые не считают меня гомосексуалистом, придут к выводу, будто я личность по крайней мере сомнительная и не внушающая доверия.

— Повторяю, наверху согласились не поднимать никакой шумихи.

— Но такие дела не обходятся без утечек.

— Что-то, пожалуй, и выплывет, — неохотно признал консул. — Думаю, разумнее всего будет, если ты как можно быстрее вернешься в Штаты и год-другой поживешь в глуши, где тебя никто не знает. Глядишь, все и затихнет.

— А что мне мешает обратиться за помощью к тем, с кем я все эти годы работал, и попросить у них письмен-

ный отзыв о результатах моей работы? Почему этим подметным письмам не противопоставить трезвую и взвешенную оценку моих деловых качеств?

— Никаких подметных писем не существует, Джон.

— И тем не менее. Если появятся положительные отзывы, многие из которых будут подписаны весьма влиятельными фигурами в правительстве...

— То это не принесет тебе пользы.

— Пусть так. Но я готов рискнуть. Ты напишешь мне такую бумагу?

— Нет, — после мгновенного колебания ответил консул.

— Почему же?

— По целому ряду причин. Имей в виду, тебе дают возможность тихо уйти в отставку, твои доброжелатели не жалеют усилий, чтобы избежать огласки. Полезешь на рожон, твои действия кому-нибудь очень не понравятся, пойдут разговоры, поднимется шум в прессе. В результате тебя вышвырнут пинком под зад. Это первое. Во-вторых, если я и дам положительную характеристику, то какой бы лестной моя оценка ни была, она лишь подтолкнет тебя к дальнейшей борьбе и сделает меня твоим явным сторонником. Поверь, Джон, — с неподдельной, по словам мужа, искренностью проговорил консул, — будь у меня хотя бы надежда на то, что это поможет, я бы выполнил твою просьбу немедленно. Но поскольку такой поступок тебе только навредит, выбрось это из головы.

Муж кивнул, спокойно собрал вещи и вышел из кабинета — навсегда. Придя домой, он в деталях рассказал обо всем мне. Я позвонила друзьям и сказала, что партия в бридж отменяется. Почти всю ночь мы обсуждали план действий. Немало времени ушло на то, чтобы вычислить имя сотрудника посольства, который решил поработать частным детективом. Перебрав всех, кого знали, мы так

и не смогли остановиться на ком-то. Имя этого человека остается для нас загадкой и сейчас.

На следующее утро Джон с дипломатической почтой отправил прошение об отставке, а через две недели мы были уже в Америке. Купили машину и отправились на Запад в надежде отыскать уютное, спокойное местечко, где жизнь не требует особых расходов и активного общения с соседями. Путешествие получилось приятным, после долгого пребывания за границей мы наслаждались красотами родной природы и разговорами с простыми жителями Штатов.

Сюда, в этот небольшой домик, нас привела счастливая случайность. Потратив минут пять на осмотр комнат и восхитившись видом тянувшейся до горизонта бескрайней пустыни, мы приняли решение, о котором не жалеем и до сих пор. Я переставила мебель, по заказу Джона были сделаны два больших стеллажа для его книг. Два купленных в последний его рабочий день фонарика отбрасывают мягкий свет на накрытый к ужину стол, что стоит во внутреннем дворике прямо под открытым небом.

За прожитые здесь годы было лишь одно происшествие, когда мне показалось, что наш план оказался неудачным, да и то случилось оно исключительно по моему недомыслию. Несколько месяцев назад из поездки по магазинам я прихватила домой какой-то развлекательный журнал с расцвеченной яркими фотографиями статьей под вульгарным заголовком «Светская Америка за границей». На одной из фотографий были запечатлены позировавший на заснеженной террасе у Санкт-Морица консул и его очаровательная жена. Загорелые, широко улыбающиеся лица супругов, одетых в изящные лыжные костюмы, выглядели, признаюсь, на удивление юными и счастливыми. Решив — по глупости — удивить Джона, я передала ему журнал.

— Смотри-ка, а ведь он нисколько не изменился!

Джон долгое время неотрывно смотрел на фотографию, а затем без слов вернул журнал мне. Поздним вечером он отправился в пешую прогулку и домой вернулся уже перед самым рассветом. Когда утром я увидела его лицо, оно было поразительно постаревшим и пустым, будто всю ночь муж провел в долгой и бесплодной борьбе. От умиротворения, которое, как мне казалось, начали обретать здесь мы оба, не осталось и следа. Разрушив непробиваемую когда-то стену воли, в глазах Джона светились оскорбленная гордость, попранное честолюбие и ожившая ревность. Стало ясно, что видит он сейчас перед собой лишь образ улыбающегося человека, которым восхищался и которому верил, как себе.

— Никогда больше не делай ничего подобного.

Это были первые его слова, что я услышала за последние двенадцать часов. Смысл их не оставлял ни малейших сомнений.

Но теперь все уже позади, хотя на протяжении почти трех месяцев Джон мало разговаривал со мной и не брал в руки книгу, проводя дни в неподвижном созерцании залитой солнцем пустыни, а ночами пристально глядя в огонь, как банкрот на грани беззвучной истерии, сосредоточившийся на суммах чудовищных потерь. Однажды утром я вернулась из города с письмом от Майкла Лабордэ, единственного из друзей славшего нам иногда весточку. Послание оказалось коротким. Пробежав его глазами, Джон с невозмутимым лицом протянул листок мне:

— Прочти.

Дорогие ребята! — торопливо царапая каракули, обращался к нам Майкл. — Черкну всего пару строк, просто чтобы придать вам бодрости. Погода стоит мерзкая, местное население дуется, консульство в панике. Лютик засох. Пару дней назад без всяких объяснений подал в отставку. На

каждой вечеринке, в любом баре, где говорят по-английски, причину называют одну — Кинси. Первой каплей яда стала появившаяся три дня назад колонка в вашингтонской газете, а вчера Лютик вместе со своей заплаканной благоверной срочно подался в Альпы, видимо, поразмыслить над капризами судьбы. Сожгите это письмецо и приготовьте мне теплую постель, хотя бы в дюнах. С любовью...

Сложив листок пополам, я вернула его Джону. Он задумчиво опустил письмо в карман.

— Ну, что скажешь?

Ответа ему не требовалось — я промолчала. Муж прошелся по крошечному дворику, касаясь рукой согретой солнцем стены, и вновь замер напротив.

— Бедняга. — Жалость к бывшему коллеге, казалось, вернула Джона к жизни. — Он так хорошо начинал! Как по-твоему, что там произошло?

— Не знаю. Видимо, кто-то послал кому-то письмо.

— Кто-то послал кому-то письмо, — повторил муж, изучающе глядя на меня; губы его сложились в какую-то удивительную, непонятную мне улыбку. — Хочешь знать, о чем я думаю? — Джон взял меня за руку. — О том, что неплохо было бы сесть в машину, добраться до города и купить к ужину бутылочку приличного вина.

— Да. Превосходная идея!

Я вошла в дом, переделалась, и мы быстро преодолели отделявшие нас от С. пятьдесят миль, где была куплена бутылка «бордо». Джон заметил, что не ожидал найти в глуши вино такого качества. Он радовался толпам прохожих на улицах, останавливался перед витринами и настаивал, чтобы я примерила увиденное в одном из магазинов милое платьице из чистого хлопка — простое, в крупную зеленую клетку.

Потом мы вернулись домой, и я приготовила ужин. Стол, как обычно, накрыли под звездами. «Бордо», как

сказал Джон, оказалось исключительно вкусным, и у нас, уже успевших отвыкнуть от спиртного, закружилась голова. Сидя друг напротив друга, мы беспричинно хохотали, и если бы кто-нибудь увидел нас со стороны, то вполне резонно мог бы решить, что перед ним на редкость счастливая пара».

Положив конверт в папку, Виктория закрыла ее.

Рассказ этот никогда не был опубликован. После того как одна за другой отказом ответили три редакции, она поставила на своей затее точку. Что ж, видно, издателям того времени не хватало смелости, сказала себе Виктория. Позже она начала еще пять или шесть новых очерков, но так и не закончила их. Для того чтобы стать писателем, одного желания мало, как мало одного лишь образования, пережитой несправедливости и других испытаний. Дом в конечном итоге был удачно продан; они переехали в Лос-Анджелес.

Она бросила взгляд на фотографию мужа: притворное спокойствие на деланно значительном лице. Мысль о его смерти не вызвала сожаления в душе.

За окном по-прежнему лил дождь. Капли на стекле медленно затапливали идущий ко дну мир. Подходящий день для похорон. И для вопросов. Виктория. Победа. Победа над чем?

Какая же это любовь, если ради ее сохранения требуется заплатить столь высокую цену? Неужели среди акул могут выжить только акулы? Кем было то чудовище, что сидело под звездами в милом новеньком платьице, наслаждаясь вином и с улыбкой глядя на мужчину напротив?

В тот день светлые волосы тоже казались влажными, хотя Борден был тогда молод и еще не начал пользоваться краской.

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА
ПЕСТРАЯ КОМПАНИЯ

КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ С СОДОВОЙ*

Эдди Барнс задумчиво взирал на горы-исполины Адирондак, жарившиеся на раскаленном летнем солнце. Одновременно он прислушивался к монотонным звукам гамм: братец Лоренс с утра мучает пианино: раздватричетырепять, раздватричетырепять, раздватричетырепять... Как же хочется обратно, в Нью-Йорк!

Эдди улегся на живот в разросшуюся траву газона перед домом и, осторожно сдирая лоскутки кожи с облупившегося носа, уставился на кузнечика, одуревшего от солнца и качавшегося на выцветшем стебельке травы прямо перед его лицом. Потом лениво протянул руку, поймал насекомое.

— Дай медка, — прошелестел он. — Дай медка, или жизнь коротка...

Но кузнечик поджал лапки и не двигался, сонный, безразличный к собственной судьбе. Эдди, брезгливо поморщившись, отбросил его. Кузнечик нерешительно подпрыгнул, подлетел, снова уцепился за стебелек и застыл, слегка покачиваясь на легком ветерке. Эдди перевернулся на спину и стал смотреть в высокое голубое небо.

* Strawberry Ice Cream Soda. © 2001. Т.А. Перцева. Перевод с английского.

Деревня! Ну почему все так стремятся на природу... Что, должно быть, творится сейчас в Нью-Йорке, какая суета, толкотня на чудесных, раскаленных улицах, какие приключения, сколько радости и счастья, когда, тяжело дыша, весь в поту, скачешь по мостовой, увертываясь от грузовиков, трамваев, детских колясок! А окрики, грубые, шуточные, оглушительные... какой чудесный смех у выкрашенной в красный цвет лавчонки, где продается лимонное мороженое по два цента за двойную порцию, истинный нектар для человека в пятнадцать лет.

Эдди рассеянно осмотрелся. Кругом все те же молчаливые вечные гранитные великаны. Да еще деревья и птицы. Вот и все.

Эдди вздохнул, терзаемый мыслями о недоступном наслаждении, встал, подошел к окну, за которым Лоренс хмуро барабанил по клавишам: раздватричетырепять.

— Лоррррренс, — позвал Эдди, прокатывая «р» так, что щекотало в носу. — Лорррренс, ты вонючка.

Но тот даже не поднял глаз. Пальцы тринадцатилетнего мальчишки, все еще по-детски пухлые, били по клавишам раздватричетырепять с раздражающей точностью. Он был талантлив, одержим своим призванием и твердо знал, что в один прекрасный день на сцену Карнеги-Холла выкатят концертный рояль. Лоренс выйдет и вежливо поклонится публике под гром аплодисментов, а потом сядет, откинёт фалды фрака и возьмет первый аккорд, а мужчины и женщины, слушая его, будут плакать, смеяться и вспоминать свою первую любовь. Поэтому его пальцы вздымались и опускались вверх-вниз, набирая силу в ожидании великого дня.

Эдди еще немного задержался у окна, наблюдая за братом, вздохнул и завернул за угол дома, где ворона сонно клевала семена редиса, посаженного Эдди три дня назад в приступе тоски. Он швырнул в нахалку камнем,

и та, бесшумно перелетев на ветку дуба, стала дожидаться, пока враг уберется. Эдди не поленился повторить процедуру. Ворона перебралась на другую ветку. Эдди, разозлившись, замахнулся, но птица проигнорировала его. Тогда он поднял ногу, подражая размашистым движениям Карла Хаббелла, и попытался достать ворону, почти задев ветку. Птица без особенной спешки переместилась ближе к стволу. Эдди, теперь уже в стиле рваных ритмов Диззи Дина, с головокружительной скоростью нанес удар, но промахнулся, а ворона даже головы не повернула. Что же, всякое бывает когда действуешь впопыхах.

Эдди нашел подходящий круглый камешек и умело, как настоящий профессионал, потер его о задний карман. Потом оглянулся, чтобы ввести в заблуждение противника, и напрягся, ожидая сигнала. Эдди Хаббелл Дин Мунго Феллер Феррелл Уорник Гомес Барнс* поднял ногу и выдал свой знаменитый правой. Ворона неспешно снялась с ветки и неохотно улетела.

Эдди подошел к грядкам, потыкал носком ботинка в разворошенную землю и присмотрелся к семенам редиса. Похоже, ничего особенного с ними не случилось. Так и лежали на земле, голые, на тех же местах, куда он их бросил. Ни зелени, ни корней, ни редиски. Ничего. Зря он решил податься в фермеры. Пакетик семян стоил целый дайм**, а теперь получается, что вороны угощаются за его денежки! А дайм ему пригодился бы, да еще как! Сегодня у него свидание!

— Я иду на свидание, — объявил он вслух, наслаждаясь каждым звуком, и отодвинулся в тень беседки, увитой виноградом, чтобы хорошенько об этом поразмыслить. Усевшись на скамейку под прохладными разлапистыми

* Перечисляются имена знаменитых джазменов тридцатых годов. —
Здесь и далее примеч. пер.

** Десять центов.

листьями, он стал думать. До этого у него ни разу в жизни не было свидания. И в кармане лежало всего тридцать пять центов. Правда, этого должно хватить для любой девушки, но не купи он семена редиса, имел бы сейчас сорок пять центов и был бы готов к любым непредвиденным обстоятельствам.

— Чертова ворона, — пробормотал Эдди, вспомнив хищный клюв выбиравший из земли его семена.

Вот уже который раз он удивлялся собственной ловкости. Как же это ему удалось в два счета назначить свидание? Теперь же все стало ясно. Внезапность. Быстрота и натиск. Ты подплываешь к девушке, лениво лежащей на плотике посреди озера, смотришь на нее, такую пухленькую в голубом купальнике, а она поднимает на тебя серьезные глаза, в которых отражаешься ты, блестящий от воды, с цыплячьей безволосой грудью, и тут тебя внезапно прорывает:

— Похоже, ты не особенно занята завтра вечером, верно?

Ты сам не знаешь, с чего вдруг завел этот разговор, зато она сразу все понимает:

— Ну да, Эдди, так и есть. Часиков в восемь, ладно?

А ты, кивнув, срываешься обратно в воду. Дело сделано.

И все же эти семена редиса — воронья еда, этот лишний десятицентовик...

Из дома вышел Лоренс, очень чистенький и прилизанный в шортах цвета хаки и белой рубашечке. Он сел рядом с Эдди, непрерывно работая пальцами.

— Ужасно хочется клубничного мороженого с содовой, — вздохнул брат.

— Деньги есть? — с надеждой поинтересовался Эдди. Лоренс покачал головой.

— Значит, никакого мороженого с содовой, — заключил Эдди.

Лоренс серьезно кивнул.

— А у тебя? — в свою очередь, спросил он.

— Кое-что имеется, — осторожно ответил Эдди и, сорвав виноградный лист, смял его в ладонях и стал критически разглядывать.

Лоренс ничего не сказал, но Эдди ощутил напряжение, растущее, словно опухоль.

— Нужно экономить, — резко пояснил он. — Иду на свидание, а в кармане всего тридцать пять центов. Откуда мне знать, вдруг ей взбредет в голову попросить банановый сплит*!

Лоренс снова кивнул в знак того, что все понимает, но уголки рта опустились, и печаль приливной волной омыла его лицо.

Они долго сидели в неловком молчании, прислушиваясь к шелесту виноградных листьев.

— Пока я упражнялся, — вдруг выпалил Лоренс, — все время думал: хочу клубничное мороженое с содовой, хочу клубничное мороженое с содовой...

Эдди резко вскочил.

— А-а-а, пойдём-ка отсюда. Прогуляемся к озеру. Может, там кого встретим.

Они молча направились через поля к озеру. Лоренс продолжал механически сгибать и разгибать пальцы.

— Да прекрати же! — прикрикнул Эдди. — Не надоело?

— Но это полезно для пальцев. Расслабляет.

— Меня от тебя тошнит.

— Ладно, — согласился Лоренс, — не буду.

Они снова тронулись в путь. Лоренс едва доставал Эдди до подбородка, худенький, аккуратный, с темно-рыжими волосами, откинутыми назад с высокого розового лба. По пути он насвистывал, и Эдди слушал брата с плохо скрытым уважением.

* Сладкое блюдо из фруктов с орехами и мороженым.

— Неплохо, — признал он. — Совсем неплохо.

— Это из второго фортепьянного концерта Брамса, — сообщил Лоренс, на секунду прерывая свист. — Легкая мелодия.

— Ну и надоел ты, — пробормотал Эдди, — как чирей в заднице.

На озере не было ни души. Плоское, невозмутимо спокойное, оно простиралось на многие мили, как огромная голубая чаша. На другом берегу темнел лес.

— Никого, — удивился Эдди, глядя на неподвижный плотик на воде. — Вот и хорошо. Вечно здесь народу до чертиков.

Он внимательно обшаривал глазами каждый уголок, вплоть до самых дальних.

— Как насчет того, чтобы покататься на лодке? — осведомился он.

— Но у нас нет лодки, — резонно возразил Лоренс.

— Я тебя не об этом спрашиваю. Хочешь поработать веслами?

— Неплохо бы, но у нас...

— Заткнись! — перебил Эдди и, взяв Лоренса за руку, повел сквозь высокую траву к самой кромке воды, где была пришвартована старая плоскодонка. Вода лизала высокие борта, выкрашенные красной, выцветшей от времени краской. На дне лежала пара тяжелых весел.

— Прыгнешь, когда прикажу, — бросил Эдди.

— Но она чужая.

— Ты хочешь покататься или как?

— Да, но...

— Тогда прыгай, когда дам знак.

Лоренс предусмотрительно снял сандалии и носки, пока Эдди сталкивал лодку в воду.

— Давай! — позвал Эдди.

Лоренс прыгнул. Лодка заскользила по гладкой поверхности. Эдди старательно греб, пока они не выбрались из тростника.

— Ничего, а?

Эдди нажал на весла.

— Чудесно! — с энтузиазмом отозвался Лоренс. — Так мирно, спокойно.

— А-а-а, — отмахнулся брат, — ты и выражаешься, как пианист.

Он продолжал грести, пока не устал, а потом представил лодке качаться на волнах, а сам лег и, болтая в воде рукой, стал думать о наступающем вечере.

— Вот бы меня увидели дружки с Семьдесят третьей улицы, — вздохнул он, — не поверили бы, как ловко я управляюсь с этой дряхлой развалиной.

— Все было бы чудесно, — поддакнул Лоренс, убирая ноги подальше от воды, скопившейся на дне, — если бы мы знали, что, выйдя из лодки, отправимся покупать клубничное мороженое с содовой.

— Почему бы тебе не подумать о чем-нибудь другом? Вечно ноешь! Неужели не надоело?

— Нет, — признался Лоренс, немного поразмыслив.

— На вот, возьми! — крикнул Эдди, подтолкнув весла поближе к брату. — Греби. Может, отвлечешься немного.

Лоренс нехотя схватился за рукояти.

— Это вредно для рук, — объяснил он, послушно налегая на весла. — Пальцы немеют. Гибкость пропадает.

— Смотри, куда правишь! — нетерпеливо заорал Эдди. — Кружимся на одном месте! Какой, к черту, смысл вертеться юлой?

— Лодка сама так идет, — пояснил Лоренс, стараясь изо всех сил. — Что я могу поделать, когда это само собой получается?

— Пианист. Настоящий пианист, ни дать ни взять.
Отдай весла!

Лоренс с благодарным вздохом подчинился.

— При чем тут я, если лодка вертится? Так уж она
сделана, — не сдавался он.

— А-а-а, заткнись, — прошипел Эдди, бешено рабо-
тая веслами. Лодка ринулась вперед, разрезая носом вспе-
нившиеся волны.

— Эй, там, на лодке! Эй! — окликнул кто-то.

— Эдди, — прошептал Лоренс, — там кто-то орет.

— Давай сюда, пока я не выколотил пыль из твоих
штанов! — продолжал мужчина. — Немедленно верните
мою лодку!

— Он хочет, чтобы мы отдали ему лодку, — перевел
Лоренс. — Должно быть, она принадлежит ему.

— Да неужели?! — саркастически фыркнул Эдди и,
обернувшись, крикнул мужчине, лихорадочно махавше-
му руками: — Ладно-ладно, так и быть, вернем мы тебе
твою посудину! Не трясись!

Мужчина от злости даже подпрыгнул.

— Да я вам головы оторву! — взвизгнул он.

Лоренс нервно вытер нос.

— Эдди, почему бы нам не причалить к другому бе-
регу и не вернуться домой пешком?

Эдди презрительно посмотрел на брата и сплюнул.

— Ты что, трусишь?

— Нет, — нерешительно возразил Лоренс, — но за-
чем нам лишние неприятности?

Вместо ответа Эдди сильнее налег на весла. Лодка
полетела по воде. Лоренс, прищурившись, рассматривал
быстро приближавшуюся фигуру незнакомца.

— Он настоящий верзила, Эдди! Ты никогда не ви-
дел такого великана. И, похоже, он здорово зол. Может,
нам не следовало брать эту лодку? Может, ему не нра-

вится, когда люди катаются на его лодке? Эдди, ты меня слышишь?

Эдди последним героическим усилием добрался до берега. Днище с ужасным скрежетом проехало по придонной гальке.

— О Господи, — охнул мужчина, — моей лодке конец!

— Вовсе нет, мистер, ничего страшного, — заверил Лоренс. — Больше шума, чем дела. Ей это не повредит.

Мужчина одной рукой схватил мальчика за шиворот и выволок на землю. Лоренс не соврал: тот оказался настоящим великаном, с заросшей щетиной физиономией, двойным подбородком и мускулистыми, покрытыми волосами лапами. Рядом стоял пацан лет тринадцати, судя по сходству, его сын, тоже не в лучшем настроении.

— Дай ему, па! — завопил он. — Врежь, как следует!

Мужчина принялся трясти Лоренса, слишком взбешенный, чтобы говорить.

— Значит, ничего страшного? Больше шума, вот как? — загредел он наконец. — Я покажу тебе шум! Покажу тебе «ничего страшного»!

Эдди выбрался из лодки, захватив с собой весло. Он был готов к самому худшему.

— Это нечестно, — заявил он. — Взгляните, насколько вы больше его! Привязались бы к кому-нибудь своих габаритов!

Парнишка азартно подскакивал, в точности как отец:

— Давай я подерусь с ним, па! Я ему покажу! Он с меня ростом. Давай, парень, поднимай кверху лапки!

Фермер перевел взгляд с сына на Лоренса и медленно разжал руки.

— О'кей, — кивнул он. — Покажи ему, Натан.

Натан толкнул Лоренса.

— Пойдем-ка в лес, малыш, — злобно ухмыльнулся он, — там поговорим.

— В глаз, — прошипел Эдди уголком губ. — Дай ему в глаз, Ларри.

Но Лоренс стоял с опущенной головой и рассматривал руки.

— Ну? — поторопил фермер.

Лоренс продолжал медленно сжимать и разжимать кулаки.

— Он не хочет драться, — подначивал Натан. — Ему бы только в чужих лодках раскатывать, а вот отвечать не слишком торопится!

— Ничего подобного, он будет драться, — набычившись, буркнул Эдди и пробормотал себе под нос: — Давай же, Ларри, двинь ему в морду, прямо в хлебальник...

Лоренс по-прежнему не двигался с места, размышляя, казалось, о Брамсе с Бетховеном и далеких концертных залах.

— Он трус, вот кто! — закричал Натан. — Наложил в штаны, как все городские!

— Он не трус, — вскинулся Эдди, в глубине души сознавая, что Натан прав.

— Давай же, — велел он, подтолкнув Ларри коленом. — Работай левой! Пожалуйста, Ларри, работай левой.

Но глухой ко всем мольбам Лоренс продолжал стоять столбом, опустив руки.

— Трус! Размазня! — надрывался Натан.

— Ну, — допытывался фермер, — он будет драться или нет?

— Ларри! — возопил Эдди со всем отчаянием пятнадцатилетнего мальчишки, но на Лоренса это ничуть не подействовало. Эдди медленно повернул к дому, коротко бросив: — Не будет он драться. — И пренебрежительно, будто швырнув кость соседской собаке, окликнул: — Эй, ты, идем...

Ларри осторожно нагнулся. Подобрал носки и сандалии и шагнул за братом.

— Погоди-ка! — позвал фермер и, бросившись за Эдди, повернул его к себе лицом.

— Я хочу потолковать с тобой.

— Да? — грустно, почти без вызова отозвался Эдди. — Что вам надо, мистер?

— Видишь вон тот дом? — спросил фермер.

— Угу. И что же?

— Это мой дом. Держись от него подальше.

— Ладно, ладно, — устало пробормотал Эдди, мигом забыв о гордости.

— А лодку видишь? — допытывался фермер, тыча пальцем в источник всех неприятностей.

— Вижу, — буркнул Эдди.

— Это моя лодка. И близко к ней не подходи, если не хочешь, чтобы из тебя пыль выколотили.

— Ладно, ладно! Пальцем не дотронусь до твоей поганой лодки! — выпалил Эдди и снова повернулся к Лоренсу: — Пойдем, ты...

— Мокрая курица! Желтопузый!* — надрывался от крика Натан, продолжая подпрыгивать, пока они не скрылись из виду.

Дорога вилась среди зеленеющих полей, над которыми стоял запах цветущего клевера. Эдди шагал впереди брата. Лицо оставалось угрюмо-напряженным, уголки губ горько опущены: очевидно, он по-прежнему сторал от стыда. И почти с наслаждением давил головки клевера, как самую ненавистную на земле гадину, словно хотел навсегда уничтожить зелень, корни, самую почву, в которой они росли.

Лоренс, с низко опущенной головой, так что виднелась только прилизанная макушка, плелся следом с сан-

* Обычное в Америке прозвище трусов.

далиями в руках, стараясь ступать в следы, оставленные братом.

— Желтопузый, — бормотал Эдди достаточно громко, чтобы слышал идущий позади преступник. — Желтый, как подсолнух! Мой собственный брат! Подумать только! Да я скорее позволил бы себя убить, чем разрешил кому-нибудь так себя назвать! Лучше пусть мне сердце вырвут! Мой собственный брат. Желтый, как подсолнух! Всего разок дать в глаз! Один! Чтобы показать ему... Но он стоит столбом, слушая лай поганца в дырявых штанах! Пианист. Лоррренс! Видать, знали, что делали, когда назвали тебя Лорррренсом! И не смей со мной разговаривать! Я с тобой и словом не обмолвлюсь, пока жив! Лоррренс!

Охваченные глубочайшей, как океан, печалью, не оставившей места для слез, братья добрались до дома, все еще разделенные расстоянием в десять футов... вернее, десять миллионов миль.

Эдди, не глядя по сторонам, отправился в виноградную беседку и растянулся на скамье. Лоренс, с бледным, застывшим лицом, долго смотрел вслед брату, прежде чем войти в дом.

Лежа на скамейке лицом вниз, совсем близко к черной жирной земле, Эдди кусал пальцы, чтобы не разреветься. Но, видно, так и не сумел сжать зубы достаточно сильно, и слезы хлынули соленой волной, сбегая по щекам и падая на мягкую почву, в которой укоренились лозы.

— Эдди!

Эдди кое-как перевернулся, успев смахнуть слезы. У входа стоял Лоренс натягивая замшевые перчатки на маленькие ладошки.

— Эдди, — повторил он, притворяясь, что не замечает слез брата, — я хочу, чтобы ты пошел со мной.

Эдди молча, но с сердцем, переполненным радостью до такой степени, что на мокрых глазах снова выступили

слезы, встал, высморкался и направился за братом. Догнал его, и они пошли рядом по клеверному полю, так легко ступая, что пурпурные головки почти негнулись под подошвами.

Эдди настойчиво постучал в дверь. Три раза. Громко. Уверенно. В душе пели победные трубы.

На пороге показался Натан.

— Чё надо? — с подозрением осведомился он.

— Недавно, — сухо объявил Эдди, — ты предлагал моему брату подраться. Он готов.

Натан взглянул на Лоренса, вытянувшегося в струнку, с высоко поднятой головой. Пухлые детские губы сжаты в ниточку, руки в перчатках кажутся непомерно большими.

— Ну уж нет, — возразил он, пытаясь захлопнуть дверь. — У него был шанс.

Но Эдди успел вовремя вставить в щель ногу.

— Ты сам предложил, верно? — вежливо напомнил он.

— Тогда и надо было драться, — упрямо твердил Натан. — У него был шанс.

— Ну же, — почти умолял Эдди, — ты же хотел драться.

— Это было раньше. Убери лапы!

За спиной Натана появился отец и непонимающе уставился на непрошенных гостей.

— Что тут такое?

— Недавно, — выпалил Эдди, как из пулемета, — ваш парень предложил подраться вот с этим парнем. — Он красноречивым жестом показал сначала на Натана, потом на Лоренса. — Теперь мы согласны.

Фермер взглянул на сына:

— Ну?!

— Раньше надо было, — мрачно буркнул Натан.

— Натан не желает драться, — сообщил фермер. — Проваливайте.

Лоренс подступил к Натану. Взглянул ему в глаза.

— Желтопузый, — тихо, но отчетливо бросил он.

Фермер вытолкнул сына вперед.

— Иди, дерись, — приказал он.

— Пошли, поговорим в лесочке, — позвал Лоренс.

— Выдай ему, Ларри! — крикнул вслед Эдди, когда мальчишки зашагали к рощице, не обгоняя друг друга, но и не сближаясь. Эдди молча провожал их взглядом, пока оба не скрылись за деревьями.

Фермер тяжело плюхнулся на крыльцо, вынул пачку сигарет и протянул Эдди:

— Хочешь?

Эдди неожиданно для себя взял сигарету.

— Спасибо.

Фермер зажег спичку и, не говоря ни слова, уселся поудобнее, опершись спиной о столбик крыльца. Эдди нерв-но слизнул с губ крошки табака своей первой сигареты.

— Садись, — пригласил фермер, — никогда не знаешь, сколько ребятишки там провозятся.

— Спасибо, — повторил Эдди, отважно затягиваясь сигаретой и медленно, с истинно природным талантом выдыхая дым.

В дружелюбном молчании оба смотрели на рошу, заслонявшую поле брани. Ветви деревьев тихо покачивались на ветру, полуденное солнце протянуло между толстыми коричневыми стволами длинные голубые тени, от самых корней. Над полем лениво парил ястреб, скользя по ветру. Фермер беззлобно прищурился, чтобы получше его рассмотреть.

— Когда-нибудь, — пообещал он, — я достану этого сукина сына.

— Кого? — поинтересовался Эдди, предварительно вынув на всякий случай сигарету изо рта.

— Ястреба. Ты ведь городской, верно?

— Угу.

— Ну как там, в городе?

— Лучше не бывает.

Фермер задумчиво затянулся.

— Рано или поздно я переберусь в город. В наши дни нет смысла жить в деревне.

— О, не говорите, — вежливо запротестовал Эдди. — Здесь тоже неплохо. В пользу деревни многое можно сказать.

Фермер кивнул, обдумывая сказанное, и придавил окурок.

— Еще сигарету?

— Нет, спасибо, — отказался Эдди. — Я еще эту не докурил.

— Послушай, как по-твоему, твой брат наподдаст моему парню?

— Возможно. Мой братец — крепкий орешек. Дерется как бешеный с кем ни попадя. На нашей улице все его боятся. Да вот, помню, — продолжал Эдди, окончательно теряя связь с реальностью, — как Ларри подрался с тремя по очереди и уложил всех за полчаса! Раскровенил им носы. Всего за полчаса! У него потрясный удар левой: раз, два, бац — и в нюхалку!

— Ну нос Натана ничем не испортишь, — засмеялся фермер. — Что с ним ни делай, хуже все равно не будет!

— Мой брат ужасно талантлив, — продолжал бахвалиться Эдди, до невозможности гордый воином, сражавшимся в лесах. — Играет на пианино, да как здорово! Вот бы вам его послушать!

— Такой малыш? — поразился фермер. — А Натан ничего не умеет.

Вдалеке, под деревьями, показались две фигурки, медленно продвигавшиеся к солнцу. На этот раз они шагали бок о бок. Эдди и фермер встали. Противники, бессильно болтая руками, неспешно направлялись к ним.

Сначала Эдди оглядел Натана. Губы разбиты, на лбу шишка, ухо багровое. Здорово! Значит, ему досталось!

Эдди медленно направился к брату. Лоренс шел с высоко поднятой головой. Но вот только голове этой туго пришлось. Волосы спутаны, один глаз закрыт, из носа все еще капает кровь. Время от времени Лоренс слизывал красную струйку языком. Воротник рубашки порван, к штанам пристал сор, на голых коленках ссадины. Но в единственном приоткрытом глазу сиял чистый свет: благородный, неукротимый, отважный.

— Пойдем домой, Эдди? — спросил Лоренс.

— Куда же еще!

Эдди уже хотел было похлопать Лоренса по спине, но передумал, поспешно отдернул руку и вдруг повернулся и помахал фермеру:

— Пока.

— Пока, — отозвался тот. — Если понадобится лодка, бери, когда захочешь!

— Спасибо.

Эдди подождал, пока Лоренс и Натан обменяются торжественным рукопожатием.

— Доброй ночи, — пожелал Лоренс. — Хорошая была драка.

— Угу, — согласился Натан.

Братья пошли назад, по душистому полю клевера, разукрашенному вечерними тенями. Половину пути они прошагали в молчании, молчании равных, сильных мужчин, общавшихся на языке, куда более красноречивом, чем любые слова. Единственным звуком, нарушавшим тишину, было позвякивание мелочи в кармане Эдди.

Внезапно Эдди остановил Лоренса.

— Может, туда? — предложил он, указывая направо.

— Но дом в другой стороне, Эдди.

— Знаю. Давай пойдем в город. Раздобудем мороженого с содовой, — объявил Эдди. — Клубничного мороженого с содовой.

МАТРОС С «БРЕМЕНА»*

Они собрались в маленькой кухне. Эрнест, Чарли, Премингер и доктор Страйкер — все сгрудились вокруг стола с фарфоровой столешницей, отчего комната, казалось, кишела мужчинами. Салли стояла у плиты, задумчиво переворачивая оладьи и внимательно прислушиваясь к словам Премингера.

— Так что, — продолжал Премингер, осторожно орудуя ножом и вилкой, — все прошло как нельзя лучше. Товарищи прибывали один за другим, разодетые, как леди и джентльмены в опере, в вечерних платьях и... как вы их называете?

— Смокигах, — подсказал Чарли. — Белая сорочка, черный галстук.

— Смокигах, — кивнул Премингер, повторяя незнакомое слово с отчетливым немецким акцентом. — Красивые, представительные люди, быстро смешавшиеся в другими красивыми представительными людьми, пришедшими попрощаться с друзьями на корабле: все веселые, от всех немного пахнет виски, и никто на свете не заподозрил бы, что это члены партии: такие чистень-

* Sailor off the Bremen. © 2001. Т.А. Перцева. Перевод с английского.

кие, прилизанные — словом, высшее общество, — закончил он, усмехнувшись собственной шутке.

Сейчас Премингер, со своей короткой стрижкой, прямым носом, голубыми глазами и смешливостью, как две капли воды походил на молодого человека из уютного колледжа где-то на Среднем Западе. Правда, смех у него получался чересчур отрывистым и визгливым, и говорил он чересчур быстро, так, словно старался побить некий рекорд по количеству произнесенных в минуту слов. Но так или иначе, членство в германской коммунистической партии и должность палубного офицера на «Бремене», очевидно, не слишком на него повлияли.

— Просто поразительно, — заметил он, — сколько хорошеньких девушек тут, в Штатах, успели вступить в партию. Поразительно!

Все рассмеялись, даже Эрнест, поспешно поднявший руку, чтобы прикрыть темные прогалы на месте передних зубов. Он делал так всегда, когда улыбался. Пальцы легли на черную повязку поверх пустой глазницы, и Эрнест украдкой растянул губы в улыбке, стараясь побыстрее снова отнять ладонь и нацепить на лицо обычную холодновато-отчужденную маску, полностью оформившуюся к тому времени, как он вышел из больницы.

Салли со своего места у плиты наблюдала за ним, зная каждый шаг, каждый этап: нерешительная улыбка, поднятая ладонь, внезапное осознание собственного уродства, мучительная попытка собраться, прийти в себя и деланное безразличие, едва рука поползет вниз.

Покачав головой, Салли почти швырнула на тарелку три подрумяненные оладьи.

— Ешьте, — велела она, ставя тарелку перед Премингером. — Лучше, чем в ресторане у Чайлд*!

* Джулия Чайлд, профессиональный повар, автор многих поваренных книг.

— Великолепно! — воскликнул Премингер, поливая оладьи кленовым сиропом. — Каждый раз, попадая в Америку, я не могу ими насытиться. Во всей Европе не найдешь ничего подобного!

— Ладно, — бросил Чарли, перегнувшись через стол и почти закрыв его своим огромным телом, — что там дальше было?!

— Ну так вот, я подал сигнал, — продолжал Премингер, размахивая вилкой. — И когда все было окончательно готово, толпа веселилась, а стюарды носились туда-сюда, разнося шампанское, началась чудная маленькая демонстрация. Очень миленькие лозунги, громкие крики, раз, два, три, и нацистский флаг слетает с мачты. Девушки, держась за руки, поют, как ангелы, все сбегаются в одно место, до каждого доходит — четко, быстро и ясно: ну просто чудная маленькая демонстрация.

Он тщательно намазал маслом верхнюю оладью.

— Конечно, все прошло не так гладко. Как и ожидалось. Естественно. В конце концов все мы знаем, что это вам не коктейль-пати для леди Астор. — Он поджал губы и критически оглядел тарелку, совсем как малыш, играющий в отца семейства. — Небольшая давка, что вполне ожидаемо, может, парочка оплеух, удары по голове тут и там, как и предвиделось. В наши дни справедливости можно добиться лишь кулаками, это всем нам известно. Но мои соотечественники... немцы, что тут скажешь! От них всегда ждешь худшего. По части организованности им нет равных. Специальные инструкции. Как справляться с мятежом на судне. Каждый стюард, каждый смазчик, каждый матрос через полторы минуты оказался на месте. Двое держат товарища по партии, третий бьет. Главное — не пускать на самотек.

— Черт с ним, — отмахнулся Эрнест. — Какой смысл снова и снова перебирать одно и то же? Все кончено.

— Заткнись, — велел Чарли.

— Двое стюардов схватили Эрнеста, — тихо пробормотал Премингер. — А третий принялся работать кулаками. Стюарды куда хуже матросов. Им приходится весь день выслушивать приказы, вот они и злятся на весь мир. Все остальные выполняли грязную работу, но при этом вели себя как люди. Тот стюард — настоящий нацист и к тому же австриец. Нелюдь.

— Салли, — попросил Эрнест, — налей мистеру Премингеру молока.

— Он все бил и бил Эрнеста... — Премингер рассеянно постучал вилкой по фарфоровой столешнице. — Все хохотал и хохотал...

— Знаешь его? — спросил Чарли. — Уверен, что знаешь, кто он?

— Знаю. Ему двадцать пять лет, очень смуглый, этакий красавчик брюнет, и в рейсе всегда по крайней мере спит с двумя пассажирками, — сообщил Премингер, в азарте расплескав молоко. — Его зовут Люгер. Шпионит за командой, выполняет приказ нацистов. По его доносу двое попали в концлагерь. Серьезный тип. И знал, что делает, когда ударил Эрнеста в глаз. Я пытался добратся до него, но оказался в гуще толпы. Люди толкались, вопили, куда-то рвались. Но случись что с Люгером, было бы совсем даже неплохо.

— Возьми сигару, — предложил Эрнест, вытаскивая из кармана сразу две.

— Что-нибудь да случится, — заверил Чарли и, глубоко вздохнув, откинулся на спинку стула. — Наверняка случится, уж это как пить дать.

— Дурной мальчишка, — бросил Эрнест тем усталым тоном, которым с некоторых пор пользовался во всех оживленных дискуссиях. — Что ты докажешь, измолотив какого-то олуха-матроса?

— Ничего, — отозвался Чарли. --- И доказывать не собираюсь. Просто хочу поразвлечься с парнем, который выбил глаз моему брату. Вот и все.

— Пойми, он же ничего лично против меня не имеет, — все так же устало пояснил Эрнест. — Это фашистское движение. Невозможно остановить фашистов персональным крестовым походом против одного немца. Посчитай я, что из этого выйдет толк, сам благословил бы тебя...

— Мой братец — коммунист, — с горечью хмыкнул Чарли. — Вяжется в потасовку, выходит из больницы калекой и еще рассуждает о диалектике. Красный святой с широким кругозором, от которого меня тошнит. А я со своими примитивными взглядами присмотрюсь, пожалуй, получше к мистеру Люгеру, а заодно выпущу на волю кишки у него из живота. Что скажешь, Премингер?

— Как член партии, я одобряю позицию твоего брата, Чарли, — объявил Премингер.

— Бред! — буркнул Чарли.

— Но как человек, — продолжал Премингер, — умоляю уложить Люгера в больницу не меньше чем на полгода. Где твоя сигара, Эрнест?

— Как вы знаете, — вмешался в разговор доктор Страйкер с сухой вежливой улыбкой типичного дантиста, предназначавшейся обычно пациентам, — я не выношу насилия.

Доктор весил сто тридцать три фунта* и был таким тощим, что запястья просвечивали почти насквозь.

— Но как друг Эрнеста считаю, что все мы, включая его самого, получили бы определенное удовлетворение, если бы о Люгере позаботились. Можете рассчитывать на меня. Сделаю все, что в моих силах.

* Приблизительно 60 кг.

Он был ужасно напуган, этот доктор Страйкер, и голос его звучал суше обычного, но высказался он только после того, как все хорошенько обдумал, и говорил, преодолев страх и тревогу перед возможными роковыми последствиями.

— Таково мое мнение, — добавил он.

— Салли, — вздохнул Эрнест, — потолкуй с проклятыми болванами.

— Думаю, — медленно протянула Салли, неотрывно глядя в лицо мужа, застывшее, как у мертвеца, — они знают, о чем говорят.

— Эмоции, — пожал плечами Эрнест. — Излишняя чувствительность. Широкий, но бесполезный жест. Вы все отравлены философией Чарли. Он футболист с мировоззрением футболиста. Если кто-то сбил тебя с ног, врежь в морду что было сил, и все в порядке.

— Я тоже хочу молока, — встрял Чарли. — Пожалуйста, Салли.

— С кем вы играете на этой неделе? — поинтересовался Эрнест.

— Джорджтаун.

— Не слишком ли много насилия для одной недели? — осведомился Эрнест.

— Не-а, — коротко бросил Чарли. — Сначала позабочусь о Джорджтауне, потом о Люгере.

— Все, что смогу, — повторил доктор Страйкер. — Помните, все, что смогу. Я к вашим услугам.

— Тренер взбеленится, — напомнил Эрнест, — если ты чересчур разойдешься, Чарли.

— Хрен с ним, с тренером. Заткнись, пожалуйста, Эрнест. Я сыт по горло коммунистической тактикой. Хватит с меня. Заруби себе на носу, Эрнест, — прошипел Чарли, встав и ударив кулаком по столу. — Плевать мне на классовую борьбу. Плевать на образование пролетариата. И пле-

вать на то, что ты примерный коммунист. Я действую просто как твой брат. Будь у тебя в голове хоть чуточку мозгов, держался бы подальше от этого вшивого корыта. Ты художник, живописец, рисуешь акварели, и какое твое собачье дело, если Германией правят психи? Но нет! В голове у тебя пусто, как в воздушном шарике! Прешься неведомо куда и позволяешь выбить себе глаз. Ладно. Теперь моя очередь во всем разбираться. Дело чисто личное. И тебя не касается. Закрой поддувало. Я сам все улажу, как посчитаю нужным. Пожалуйста, иди в спальню и приляг. Нам необходимо все обсудить.

Эрнест поднялся, прикрывая ладонью дергающиеся губы, побрел в спальню, закрыл дверь и, не раздеваясь, рухнул на постель. Единственный глаз тупо смотрел в темноту.

На следующий день, за час до отплытия «Бремена», Чарли, доктор Страйкер и Салли отправились в порт, поодиночке поднялись на борт и разошлись по верхней палубе, дожидаясь Премингера. Вскоре тот появился, по-мальчишески стройный, подтянутый, свежий, в синем мундире, безразлично скользнул по ним взглядом, тронул за руку стюарда, молодого симпатичного брюнета, что-то коротко ему бросил и отошел. Чарли и доктор Страйкер как следует присмотрелись к стюарду, чтобы две недели спустя в темноте не вышло ошибки, и мирно удалились, оставив Салли кокетливо улыбаться Люгеру.

— Да, — заверила Салли через две недели, — все предельно ясно. Я поужинаю с ним, схожу в кино, позабочусь, чтобы он выпил не менее двух порций виски, и скажу, что живу на Западной Двенадцатой улице, рядом с Западной улицей. Там целый квартал многоквартирных домов. Заведу его на Западную Двенадцатую где-

нибудь без четверти час, а вы со Страйкером уже будете ждать под платформой станции надземки «Девятая авеню» и спросите, как добраться до Шеридан-сквер. И тогда я пушусь наутек.

— Все точно, — одобрил Чарли. — Молодчина, Салли, знаешь роль назубок. — Он подул на свои огромные кулаки, поцарапанные и покрытые ссадинами после субботнего матча. — И мистерию Люгеру каюк. А ты сможешь выдержать до конца? Уверена, что не скиснешь?

— Смогу, — кивнула Салли. — Я долго толковала с ним сегодня, после прихода судна. Он очень... озабочен. Говорит, будто любит миниатюрных девушек вроде меня, с черными волосами. Я сказала, что живу одна в центре города. Тогда он на меня уставился масляными глазками. Теперь понятно, почему он успевает переспать сразу с двумя пассажирками за один рейс. Я все сделаю.

— Эрнест куда-нибудь собирается вечером? — поинтересовался доктор Страйкер. За две недели ожидания горло его так пересохло, что он то и дело судорожно сглатывал. — Кому-то следует позаботиться о нем.

— Он идет в Карнеги-Холл, — сообщила Салли. — Там сегодня играют Брамса и Дебюсси.

— Неплохой способ провести время, — хмыкнул Чарли и, расстегнув воротник, рассеянно оттянул галстук. — Лично я последнее время способен ходить с Эрнестом исключительно в кино. Там хотя бы темно, и можно не смотреть на него.

— Он отойдет. Оправится, — с профессиональной уверенностью пообещал доктор Страйкер. — Я делаю ему новые зубы: с протезом он не будет так смущаться и скоро приспособится.

— Он почти не рисует, — пожаловалась Салли. — Все сидит дома и смотрит на свои старые картины.

— Мистер Люгер, — пробурчал Чарли. — Наш приятель мистер Люгер.

— Он носит с собой портрет Гитлера, — добавила Салли. — В часах. Сам мне показывал. И жаловался на одиночество.

— Он очень здоровый? — с тревогой пробормотал Страйкер.

— Настоящий верзила. Сильный и высокий.

— Думаю, тебе нужно захватить что-то вроде оружия, Чарли, — посоветовал Страйкер. — Да-да, именно оружие.

Чарли рассмеялся, вытянул руки ладонями вверх — мясистые, поросшие волосками, разбитые на суставах пальцы чуть согнуты.

— Я хочу сделать это собственными руками. Голыми руками. Как следует обработаю мистера Люгера. Дело это личное, и никаким оружием его не решишь.

— Трудно сказать, как все обернется... — начал Страйкер.

— Не волнуйся, Страйкер, — перебил Чарли. — Все это яйца выеденного не стоит.

Ровно в полночь Салли и Люгер медленно брели вниз по Восьмой авеню к станции метро на Четырнадцатой улице. Люгер держал Салли под руку, непрерывно поглаживая ткань рукава и то и дело захватывая упругую плоть чуть выше локтя.

— Ой, — тихо вскрикнула Салли, — не нужно. Мне больно.

— Ну, не так уж и больно, — рассмеялся Люгер, игриво ущипнув ее. — Тебе же это нравится.

Он говорил с таким сильным акцентом, что Салли с трудом разбирала слова.

— Не нравится, — возразила она, — совсем не нравится.

— Ты такая миленькая, — прошептал он, прижимаясь к ней. — Классная девочка. С удовольствием провожу тебя домой. Ты точно живешь одна?

— Разумеется, — заверила Салли. — Не волнуйся. Кстати, неплохо бы выпить.

— А, — отмахнулся Люгер, — пустая трата времени.

— Я сама заплачу, — настаивала Салли, успевшая много узнать о своем кавалере за эти несколько часов. — За нас обоих.

— Ну, если тебе так хочется... — пожал плечами Люгер, подводя ее к бару. — Рюмочку, не больше, нам сегодня еще кое-чем нужно заняться.

Он снова сильно ущипнул ее и рассмеялся, привычно глядя в глаза Салли с той призывной многозначительностью, которая неотразимо действовала на не менее чем двух пассажирок за рейс.

А в это время Чарли и доктор Страйкер, прислонясь к столбу, ждали в темноте под платформой надземки со стороны Двенадцатой улицы.

— Я... я... — пролепетал доктор Страйкер и попытался сглотнуть, чтобы увлажнить горло. — Я все гадаю, придут ли они, — выговорил он наконец неясным испуганным шепотком.

— Придут, — заверил Чарли, не сводя глаз с маленького треугольного парка в месте пересечения Двенадцатой улицы с Восьмой авеню. — Этой Салли храбрости не занимать. Она любит моего олуха-братца, словно он президент Соединенных Штатов, а заодно Ленин и Микеланджело, вместе взятые. Подумать только, почему его понесло на этот чертов корабль, где ему вышибли глаз!

— Прекрасный человек, ваш брат Эрнест, — возразил Страйкер. — Человек высоких идеалов. И мне жаль видеть, что происходит с его душой с тех пор, как... Это они?

— Нет. Две девчонки из Ассоциации молодых христианок.

— Раньше он был таким веселым, — продолжал Страйкер, то и дело сглатывая. — Всегда смеялся. Всегда имел

собственное мнение. До того как он женился, мы всюду бывали вместе, и девушки, все равно, мои или Эрнеста, не сводили с него глаз. Только на него и обращали внимание. Но я не сердился. Я люблю Эрнеста, как младшего брата. И теперь плакать хочется, когда вижу, как он сидит, прикрываясь рукой, и молчит, только слушает, что другие говорят.

— Угу, — буркнул Чарли. — Угу. Почему бы и тебе не помолчать, Страйкер?

— Прошу прощения, — выпалил Страйкер, — не хотелось бы надоедать, но я должен выговориться, иначе просто сорвусь с места и не остановлюсь, пока не добежу до Сорок второй улицы. Извини, просто словесный понос какой-то.

— Что ж, валяй, Страйкер, — мягко согласился Чарли, хлопнув его по плечу. — Выкладывай все, что накопилось.

— Я с тобой только потому, что считаю, это может помочь Эрнесту, — продолжал Страйкер, с силой вдавливаясь в столб, чтобы не упасть. — Видишь ли, у меня есть теория. И теория эта состоит в том, что, когда Эрнест узнает о случившемся с Люгером, он воспрянет духом. Это станет для него чем-то вроде трамплина. Учти, таково мое личное мнение. Однако нам стоило принести с собой оружие. Палку, нож, кастет — все, что угодно. — Страйкер сунул руки в карманы, боясь, что Чарли заметит, как они дрожат. — Ужасно будет, если мы все испортим, верно, Чарли? Кстати...

— Ш-ш-ш... — прошипел Чарли.

Страйкер взгляделся в темноту.

— Это они. Это Салли: ее пальто. И с ней тот ублюдок. Вшивый германский ублюдок.

— Ш-ш-ш, Страйкер. Помолчи.

— Я совсем замерз, Чарли. Тебе холодно? Правда, ночь теплая, но мне...

— Ради всего святого, заткнись!

— Мы ему покажем, — шептал Страйкер. — Да, Чарли, я сейчас заткнусь, обязательно заткнусь, даю слово...

Салли и Люгер медленно брели вниз по Двенадцатой улице. Люгер обнял Салли за талию, так что их бедра соприкасались на ходу.

— Прекрасный фильм, — говорил Люгер. — Обожаю Дину Дурбин. Такая юная, свежая, сладенькая. Совсем, как ты. — Ухмыльнувшись, он еще крепче прижал к себе Салли. — Молоденькая малышка. Именно такие мне по душе.

Он попытался поцеловать ее, но Салли поспешно отвернулась.

— Послушайте, мистер Люгер... — внезапно вырвалось у нее. Не потому, что он нравился ей. Просто, как выяснилось, он оказался обычным смертным, неразумным, чересчур доверчивым существом. И еще потому, что сердце у нее мягче, чем она думала. — Послушайте, нам лучше распрощаться прямо здесь.

— Не понимаю по-английски, — пошутил Люгер, явно забавляясь столь запоздалой застенчивостью.

— Большое спасибо за приятный вечер! — в отчаянии выпалила Салли, останавливаясь. — И за то, что проводили меня домой. Но к себе не приглашаю. Я солгала вам. Я живу не одна, и...

— Маленькая напуганная девчушка, — рассмеялся Люгер. — Как мило. Я еще больше люблю тебя за это.

— Мой брат, — убеждала Салли. — Я живу с братом.

Но Люгер схватил ее и поцеловал, грубо, сминая губы. Пальцы безжалостно впились в ее спину. Салли беспомощно всхлипнула, и Люгер, по-прежнему смеясь, разжал руки.

— Пойдем, — велел он, — мне не терпится познакомиться с твоим братом, маленькая врушка.

— Хорошо, — согласилась она, наблюдая за Чарли и Страйкером, успевшими выдвинуться из тени. — Хорошо, не будем медлить. Пойдем скорее. Не стоит терять время.

Люгер широко улыбнулся:

— Ну вот, другое дело. Так и должна говорить девушка.

Они быстро зашагали к платформе надземки. Рука Люгера властно, по-хозяйски лежала на бедре Салли.

— Простите, — окликнул Страйкер, — не могли бы вы сказать, как добраться до Шеридан-сквер?

— Ну... — начала Салли, останавливаясь, — это...

Чарли размахнулся, и Салли бросилась бежать, услышав тупой, деревянный звук удара кулака, сплющившего физиономию Люгера. Чарли поднял Люгера одной рукой и, продолжая обрабатывать другой, понес назад, в тень, к высокой железной ограде. Там, повесив его за воротник пальто на железный столб, он пустил в ход оба кулака. Страйкер несколько секунд наблюдал за избиением, прежде чем отвернуться.

Чарли действовал методично, вкладывая всю силу своего двухсотфунтового тела в короткие, точные, разящие удары, от которых голова Люгера подскакивала, моталась и билась о железные пики. Чарли трижды ударил его в нос, работая кулаком, как плотник — молотком. И каждый раз слышал треск ломающейся кости или лопнувших хрящей. Покончив с носом, Чарли взялся за рот, обрабатывая подбородок, пока зубы не вылетели, а челюсть бессильно не повисла, разбитая, болтавшаяся с неприятной рыхлостью плоти, более не прикрепленной к твердой кости. Тут Чарли неожиданно заплакал. Слезы текли по лицу, попадая в рот, плечи сотрясались от всхлипов, но он все равно продолжал размахивать кулаками. Однако и теперь Страйкер не повернулся. Он заткнул уши пальцами и упрямо продолжал смотреть в сторону.

И только взявшись за глаз Люгера, Чарли взорвался:

— Ублюдок! Поганный сволочной ублюдок, — бормотал он сквозь рыдания и слезы, колотя по глазу правой рукой, превращая его в кровавое желе, тошнотворную массу, не обращая внимания на то, что пальцы покрас-

нели от крови, а багровые капли летят во все стороны. — О тупой, злобный, похотливый сукин сын!

И он продолжал долбить несчастный глаз, упорно, настойчиво, яростно.

По Двенадцатой улице со стороны порта прошумела машина и замедлила ход на углу. Страйкер подбежал к окошку.

— Давай отсюда, — прошипел он, — если жизнь дорога. Он едва успел отскочить, и машина умчалась.

Чарли, все еще всхлипывая, молотил Люгера по груди и животу, и с каждым хуком Люгер безжизненно ударялся о железную ограду, как ковер, который выбивают, пока воротник пальто не порвался и тело не сползло на тротуар.

Чарли отступил, все еще размахивая кулаками, не вытирая слез. Пот ручьями тек за воротник, одежда была заляпана кровью.

— О'кей, — выдохнул он. — Хватит с тебя, ублюдок. И быстро зашагал прочь. Страйкер поспешил следом.

Несколько часов спустя Премиингер стоял в больничной палате над лежащим в гипсе и бинтах Люгером.

— Да, — подтвердил он следователю и доктору, — это наш стюард Люгер. Документы подлинные.

— Кто, по-вашему, мог это сделать? — скучающим голосом задавал обычные вопросы следователь. — У него были враги?

— Насколько я знаю, нет, — заверил Премиингер. — Его все любили. Особенно дамы.

Следователь направился к выходу:

— Что ж, когда он отсюда выйдет, вряд ли будет так уж популярен.

Премиингер покачал головой.

— В незнакомом городе следует быть крайне осторожным, — наставительно заметил он интерну, прежде чем вернуться на корабль.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОРОД*

Подходя ближе, Эндерс в который раз осмотрел отель через черную городскую морось, окутавшую улицы дождем, сажей и отчаянием. Маленькая неоновая вывеска красной розой расцветала над входом в отель, делая похожим на кровь лившийся с неба мелкий дождь. Приотливно изогнутые буквы извещали:

«Отель «Цирк», цены умеренные».

Эндерс вздохнул, передернул плечами под мокрым плащом и, медленно одолев пять ступенек крыльца, вошел в вестибюль. В носу, как всегда, защекотало от смешанной вони аммиака, лизола, старого белья и пота людей, которым приходится довольствоваться двумя ванными комнатами на этаже. Но все перебивал запах времени и греха. Греха по умеренным ценам.

За стойкой портье стоял Высоцки, в неизменном сером костюме со следами супов из всех кафетериев города; бледно-зеленоватое лицо выбрито до неправдоподобно зеркального блеска, так что кость, кажется, вот-вот прорвет туго натянутую кожу. Тридцативаттная лампа безжалостно высвечивала редующие волосы, темно-синюю рубашку и широкий оранжевый галстук, яркий, как сама

* Welcome to the City. © 2001. Т.А. Перцева. Перевод с английского.

надежда, о которой в этой темной норе давно забыли. На стойке развернут завтрашний номер «Миррор», белые волосатые руки надежно, по-хозяйски придавили газету к грязноватому дереву.

Джозефина сидела на одном из трех стульев лицом к Высоцки, одетая в фиолетовый приталенный костюм, на ногах — красные босоножки, хотя на улице было сыро и пронзительно холодно, как в болоте, и Эндерс сквозь прозрачные чулки видел пальцы ног и ногти, покрытые красным лаком. Она просто сидела, ничего не делая, не читая: черты лица словно высечены из пудры и румян, а последняя капля жизни из обесцвеченных волос была вытравлена лет двенадцать назад перекисью, провинциальными цирюльниками и щипцами для завивки, которые больше подошли бы для ухода за гранитным конем генерала Шермана*.

— Уж эти англичане! — презрительно вещал Высоцки, не отрываясь от газеты. — Я не позволил бы им вести для меня войну за миллион долларов в акциях с золотым обрезом! Горло драть да сельдь ловить, больше они ни на что не годны.

— А я думала, что это евреи едят сельдь, — вставила Джозефина. Голос странным скрипом отдался в вестибюле, будто это сам отель «Цирк» внезапно обрел дар речи, каким-то образом отражая в звуках смрад лизола, аммиака и гниющего дерева.

— Евреи едят сельдь, — подтвердил Высоцки. — И англичане тоже.

Эндерс снова вздохнул и подошел к стойке. И только сейчас заметил сидящую у самой лестницы девушку. Хорошенькую девушку в модном зеленом, отделанном мехом рыси пальто. Позже, разговаривая с Высоцки, он

* Командующий армией северян во время Гражданской войны 1861 - 1865 гг.

без особого интереса рассматривал ее, отметив стройные ноги и спокойное, замкнутое выражение мучительно знакомого ему лица.

— Привет, Высоцки, — бросил Эндерс.

— Мистер Эндерс! — откликнулся Высоцки, поднимая взгляд от газеты. — Значит, вам надоел дождь и вы решили поскорее упорхнуть в уютное гнездышко?

— Да, — кивнул Эндерс, присматриваясь к девушке.

— А знаете, — сообщила Джозефина, — оказывается, англичане едят сельдь!

Эндерс кивнул, изо всех сил пытаясь сообразить, кого напоминает ему эта девушка.

— По крайней мере так утверждает Высоцки, — пожал плечами Джозефина. — Я до сих пор пребывала в счастливом неведении.

Эндерс, перегнувшись через стойку, прошептал на ухо Высоцки:

— Кто это?

Высоцки бросил косой, быстрый, виноватый взгляд на девушку, совсем как вор на витрину «Тиффани», которую намеревался вдребезги разбить кирпичом чуть попозже, под покровом ночи.

— Зелинка, — едва слышно пояснил Высоцки. — Берта Зелинка. Поселилась днем. Вижу, вы знаете, на кого глаз положить!

Он беззвучно хихикнул — костяное, чисто выбритое лицо невесело сморщилось. Оно было зеленоватым и сверкало под тридцативаттной лампой.

— Я где-то видел ее, — прошептал Эндерс, снова оглядываясь на незнакомку. Та сидела, равнодушная, холодная, изящно скрестив ноги под зеленым пальто, поглядывая из-под тяжелых век на исцарапанные уродливые часы, висевшие над головой Высоцки. — Мне знакомо ее лицо. Только вот откуда?

— Похожа на Грету Гарбо, — подсказал Высоцки. — Поэтому и кажется, что вы ее знаете.

Эндерс уже открыто уставился на девушку в зеленом пальто. Она в самом деле походила на Грету Гарбо: такое же бледное овальное лицо, огромные, чуть продолговатые глаза, широкий, четко очерченный рот: общее впечатление безоглядной страсти, трагедии и глубочайшей скандинавской меланхолии, а все вместе — истинная, неподвластная времени красота.

И Эндерс вдруг осознал, что он чужак в незнакомом городе, за тысячу миль от дома, что идет дождь, что у него нет девушки, что никто в этом огромном, равнодушном и враждебном городе не сказал ему ничего приветливее, чем «передайте горчицу».

И вдруг тут, в этом убогом отеле, прямо перед ним сидит живая, из плоти и крови высокая печальная незнакомка в зеленом пальто с воротником из рыси, настоящая копия Греты Гарбо: трагедия, боль, страсть, красота и понимание каким-то образом одновременно отражаются на бледном скуластом лице. Сестра-близнец...

Слова сами рвались из горла, первые теплые слова в этом изъеденном крысами, загаженном тараканами гостиничном вестибюле.

— Эндерс!

Какая неожиданность! Давно имя его не произносилось с таким неподдельным теплом.

Чувствуя, как рвется сердце, он неохотно отвернулся от Берты Зелинка.

— Мистер Эндерс, я ждал вас!

Это оказался Бишоп, владелец отеля, маленький серолицый толстячок с мокрыми усами.

— Вы именно тот, кого я хотел сегодня увидеть! — воскликнул он, радостно потирая руки.

— Спасибо, — кивнул Эндерс.

— Погодите! — пропел Бишоп. — Никуда не уходите! У меня кое-что для вас есть!

Он отскочил от стойки и нырнул в дверь своего кабинета. Эндерс повернулся и снова посмотрел на Берту Зелинка, сидевшую с таким равнодушным, таким отчужденным видом, как настоящая Гарбо.

— Обратите внимание! — возопил Бишоп, выскакивая из кабинета. — Взгляните! — Он воздел руку над головой, демонстрируя жалкого мертвого цыпленка. — Видите, что я приберег для вас! И готов уступить его вам за шестьдесят центов, мистер Эндерс.

Эндерс обратил вежливый взгляд на жалко болтавшуюся головку цыпленка.

— Благодарю, мистер Бишоп, — начал он, — но мне негде его готовить.

— Захватите домой, — посоветовал Бишоп, любовно поворачивая цыпленка из стороны в сторону, расправляя крылья, ероша перья, придавая несчастной птице некое сходство с живой курицей. — Ваша матушка будет в восторге.

— Моя мать живет в Давенпорте, штат Айова, — буркнул Эндерс.

— Но есть же у вас родственники в городе! — Бишоп бесцеремонно ткнул цыпленка ему под нос, снова расправляя поникшие крылышки. — Да за такой подарок они вам на шею бросятся! Настоящий плимутрок*! Птички вроде этой выставляются на всех выставках от одного побережья до другого! Шестьдесят центов, мистер Эндерс! — победоносно заключил Бишоп. — Что такое шестьдесят центов?!

Эндерс покачал головой:

— У меня нет родных в этом городе. Большое спасибо, но он мне ни к чему.

* Порода кур.

Бишоп, холодно оглядев его, пожал плечами:

— Я мог бы пять раз продать этого цыпленка, — проворчал он, — но оставил для вас, потому что больно уж вы бледный. Как-то невольно сочувствуешь, знаете ли. — Он снова пожал плечами и удалился к себе, унося цыпленка.

— Ну что ж, — громко объявил Эндерс, глядя прямо на Берту Зелинка, — думаю, пора и на боковую.

— Не нуждаешься в компании, беби? — осведомилась Джозефина. Впервые за весь вечер она позволила себе выдать постороннему свои тайные мысли.

— Нет, спасибо, — смущенно отозвался Эндерс, радуясь, что мисс Зелинка на него не смотрит.

— Уж вы точно настоящий дамский угодник, — провозгласила Джозефина на весь вестибюль. — Знаете, недолго и с ума сойти, если столько времени обходиться без женщины! За две недели, что вы тут, ни разу никого не привели. В Синг-Синге* заключенные от такой жизни на стену лезут!

Эндерс неловко покосился на мисс Зелинка, не желая, чтобы девушка, похожая на Грету Гарбо, слышала, в какого рода разговор его втянули.

— Доброй ночи, — пожелал он и, пройдя мимо мисс Зелинка, отправился в свой номер на первом этаже, у основания вентиляционной шахты. Три доллара в неделю.

Топая по коридору, он с сожалением оглядывался, рассматривая ноги мисс Зелинка, видневшиеся из-под лестницы. Они были как обещание поэзии и цветов во мраке и сырости вестибюля.

Эндерс, грустно вздохнув, открыл дверь, вошел в номер, сбросил плащ и шляпу и рухнул на постель. Откуда-то доносился разговор, словно сами стены, клопы, старые воюющие трубы канализации, даже крысы, спе-

* Знаменитая тюрьма строгого режима в штате Нью-Йорк

шившие между перекрытиями по своим подленьким делишкам, вдруг обрели голос.

— Все газеты полны историй о мальчиках вроде него, — рассуждала Джозефина. — Включают газ и суют головы в духовки. Что за ночь! Что за грязная шлюханочь! Вот увидите, завтра в реке найдут немало тел.

— Джозефина! — долетела реплика Высоцки. — Тебе следует научиться рассуждать о более веселых вещах. Собственными руками губишь свой бизнес, Джозефина! Оптовые торговцы мясом с Десятой авеню, рабочие боен — вся твоя обычная клиентура избегает тебя, как чумы. И сказать почему?

— Скажи, — фыркнула Джозефина.

— Потому что ты мрачнее тучи, — наставлял Высоцки. — Угнетаешь их своими разговорами. Люди любят жизнерадостных женщин! Нельзя добиться успеха, если бродишь по отелю с таким видом, словно вот-вот наступит конец света!

— Мясники с Десятой авеню! — прошипела Джозефина. — Кому они нужны! Можешь взять их себе в подарок!

Эндерс лежал, глядя в потолок и скорбя о том, что такой гордой, прекрасной женщине, как Берта Зелинка, приходится сидеть на одном из трех жалких стульев отеля «Цирк» в дождливую ночь и слушать подобные речи.

Наконец он включил свет и взял недочитанную книгу.

Ни в духоте преддверья ада,
Ни под струями теплого дождя,
Ни по колена в соляном болоте,
Палаш вздымая тяжкий над врагом,
Искусанный болотной мошкаррой, я бился...*

— Что за ночь, — скрипел голос Джозефины. — Утром река будет кишеть трупами.

* Здесь и далее перевод стихов Е.Ф. Левиной.

Эндерс отложил томик Элиота*. Трудно читать Т.С. Элиота в отеле «Цирк», не испытывая глубочайшей иронии.

Эндерс встал, подошел к двери и выглянул в коридор. Прекрасные, как воплощение самой поэзии, ноги все еще там: стройные, великолепной формы, можно сказать, аристократические, плавно перетекающие в тонкие щиколотки и узкие ступни.

Эндерс мечтательно прислонился к косяку, не отводя взгляда от ног мисс Зелинка. Известный оркестр играл знакомую мелодию в ночном клубе, освещенном оранжевыми фонариками, где ни одно блюдо, даже томатный сок, не стоило меньше доллара семидесяти пяти, и он танцевал с Бертой Зелинка. Оба прекрасно одеты, по последней моде, и от его шуток, бездонные продолговатые глаза, утопающие в скандинавской меланхолии, искрятся смехом, а потом вдруг становятся серьезными и задумчивыми, когда он начинает рассуждать о культуре, искусстве, поэзии.

— «Ни под струями теплого дождя»... моя любимая фраза у Элиота... «Ни по колено в соляном болоте»...

Эндерс быстро, не глядя по сторонам, прошел по коридору и остановился у стойки портье.

— Мне сегодня кто-нибудь звонил? — осведомился он у Высоцки, стараясь не смотреть на мисс Зелинка.

— Нет. Не было ни одного звонка.

Эндерс повернулся и впился глазами в мисс Зелинка, стараясь усилием воли заставить ее посмотреть в его сторону, улыбнуться...

— Головы вроде вашей, — предсказала Джозефина, — десятками находят в газовых духовках.

Мисс Зелинка сидела бесстрастная, равнодушная, каменная и смотрела в какую-то точку над плечом Вы-

* Элиот, Томас Стернз (1888–1965) — американский поэт и драматург, с 1915 года жил в Лондоне. Лауреат Нобелевской премии.

соцки в позе женщины, терпеливо ожидающей, пока к подъезду подкатит «линкольн», откуда выскочит шофер в униформе и почтительно поведет ее к тяжелой дверце с бронзовыми ручками, обитой изнутри кожей.

Эндерс медленно побрел к себе и попытался прочесть несколько строчек.

Апрель, безжалостнейший месяц...

Он быстро перелистал книгу.

Вот твоя карта, — сказала она, —
Финикиец-матрос утонувший...

Эндерс отложил книгу. Нет, сегодня ничего не выйдет. Он подобрался к двери и выглянул. Ноги, затянутые в шелк, все еще там.

Эндерс глубоко вздохнул и вернулся к стойке.

— Глядите-ка, — воскликнула Джозефина, — снует туда-сюда, как челнок!

— Я забыл спросить. Почты для меня не было?

— Не было почты, — ответил Высоцки.

— Говоря откровенно, дружок, — вставила Джозефина, — тебе следовало остаться в Давенпорте, штат Айова. Это мое искреннее мнение. Нью-Йорк раздавит тебя, как ореховую скорлупу.

— Никто не спрашивал вашего мнения, — возразил Высоцки, заметив, что Эндерс украдкой бросил взгляд на мисс Зелинка. Видно, он хотел определить впечатление, произведенное на нее этой фразой. — Хороший парень, образованный, далеко пойдет. Оставьте его в покое.

— Я просто говорю, что думаю, — не отставала Джозефина. — Недаром двенадцать лет прожила в Нью-Йорке! Навидалась, как они начинают и где кончают! В реке!

— Ради Господа Бога, перестаньте талдычить о реке! — завопил Высоцки, ударив кулаком о стойку.

Эндерс с облегчением заметил, что мисс Зелинка прислушивается к беседе: голова чуть наклонена, прекрасные надменные глаза затуманились.

— Сама я с Фолл-Ривер, — продолжала Джозефина, — и зря сюда приехала. Нужно было сидеть дома. По крайней мере, если умрешь возле Фолл-Ривер, тебя там и похоронят. Здесь же можешь валяться до второго пришествия, пока не станешь являться своим друзьям в виде привидения. Почему я покинула Фолл-Ривер? Манил блеск Великого Белого Пути.

Она издевательски махнула своим красно-белым зонтиком, словно салютуя городу. Эндерс заметил, как уголок рта мисс Зелинка дрогнул в легкой улыбке. Отлично: она слышала, как Высоцки сказал, что он образован и далеко пойдет. И тут вдруг прозвучал его собственный громовой голос:

— Если хотите... если хотите... если кого-то ждете, можете посидеть в моей комнате. Там не так шумно.

— Нет, спасибо, — ответила мисс Зелинка, как-то чудно выговаривая слова сквозь сжатые губы, стараясь не показывать зубов. Но голос все равно был глубоким, чуть хриловатым, трогающим до глубины души, и Эндерс вдруг почувствовал себя так, будто прохладная твердая рука сжала его горло.

Он повернулся к Высоцки, решив ни за что не возвращаться к себе.

— Интересно, — спросил он, — откуда Бишоп взял того цыпленка, что хотел мне продать?

Высоцки осторожно огляделся.

— Не покупайте этих цыплят, Эндерс, — пробормотал он. — По-дружески советую. Бишоп добывает их на Десятой авеню, рядом с железной дорогой.

— И что они там делают? — усмехнулся Эндерс.

— Товарные поезда привозят их с ферм. Тех, что слодили в пути по той или иной причине, просто выкидывают

из окон, а Бишоп выбирает цыплят, у которых самый приличный вид, и пытается сбыть. — Высоцки скользнул к двери кабинета и прислушался, совсем как киношный шпион. — Ни за что не покупайте их! Не самая полезная еда в мире.

Эндерс улыбнулся:

— С таким талантом Бишопу следовало бы давно сидеть на Уолл-стрит!

Мисс Зелинка рассмеялась, и Эндерс мгновенно вырос в собственных глазах. Чувствуя себя вдвое выше и сильнее, он присмотрелся и увидел, что мисс Зелинка смеется тихо, по-прежнему не открывая рта, но все же смеется. Он тоже засмеялся, и их глаза встретились в немом дружеском взаимопонимании.

— Могу я предложить вам чашку кофе? — выдавил он, швыряя слова в голову мисс Зелинка, как ручную гранату.

Задумчивый благодарный свет засиял в больших серых глазах.

Мисс Зелинка улыбнулась.

— Хорошо, — согласилась она и встала — стройная, грациозная, как герцогиня.

— Сейчас вернусь, — пообещал Эндерс, — только пальто возьму.

И метнулся по коридору к своему номеру.

— Вот кто не дает мне заработать, — досадливо бросила Джозефина. — Девушки вроде этой. Что за ночь, что за грязная шлюха-ночь!

— Я танцовщица, — рассказывала Берта Зелинка два часа спустя, сидя уже без пальто в комнате Эндерса, где пила виски прямо из стакана для воды, одного из двух, которыми так гордилась администрация отеля. — Характерные танцы. — Она поставила стакан и неожиданно

опустилась на пол в идеальном шпагате. — Я гибкая, как кошка.

— Вижу, — сказал Эндерс, с яростным обожанием взирая на мисс Зелинка, полногрудую, с плоским животом и стальными бедрами, гибкую, как кошка, величественно распростертую на грязном ковре. Куда приятнее смотреть на ее тело сейчас, после того, как он видел ее за едой, с открытым ртом, в котором виднелись плохие, испорченные бедностью и безденежьем гнилые зубы, торчавшие в деснах, как миниатюрные обломки скал. — Кажется, это очень трудно.

— Мое имя сверкало в огнях афиш, — сообщила мисс Зелинка, не поднимаясь. — Пожалуйста, передайте мне виски. По всей стране, с одного конца до другого. Публика с ума сходила. Вызывала меня на бис, не давала другим выступать. И чувство времени у меня прямо-таки нечеловеческое. Всегда знала, когда остановиться.

Она встала и, глотнув виски, на мгновение застыла, словно в приступе острого экстаза, пока виски «Четыре розы», минуя жалкие остатки зубов, лились в горло.

— И если хотите знать, я еще и актриса, мистер Эндерс.

— Я тоже актер, — застенчиво признался Эндерс, чувствуя, как буйствует в крови виски, не позволяя отвести восхищенных глаз от мисс Зелинка. — Поэтому и приехал в Нью-Йорк. Я актер.

— И, должно быть, хороший, — заметила она. — У вас такое одухотворенное лицо.

Мисс Зелинка налила себе виски, с мрачным, сосредоточенным выражением наблюдая, как янтарная жидкость перетекает в стакан.

— А мое имя сверкало в огнях от одного побережья до другого. Верите?

— Верю, — искренне ответил Эндерс, отметив, что бутылка уже наполовину пуста.

— Поэтому я здесь, — объявила Берта, изящно прохаживаясь по крохотной каморке с облупившимися стенами, рассеянно проводя рукой по ободранному бюро и покрытому дешевой краской изголовью кровати. — Поэтому я здесь. — Голос звучал словно издали, грубоватый, хриплый от виски и сожаления. — Видите ли, на меня большой спрос. Сколько раз я останавливала шоу на десять минут. Меня со сцены не отпускают. Мюзиклы, стоящие по сто пятьдесят тысяч, прерывались, а занавес поднимался и поднимался... поэтому я здесь, — таинственно повторила она, осушила стакан и, бросившись на кровать рядом с Эндерсом, угрюмо уставилась полужакрытыми глазами в грязный осыпающийся потолок. — «Шуберт»* ставит мюзикл и хочет подписать со мной контракт. Репетиции на Пятьдесят второй улице, так что я решила временно переехать поближе к залу.

Она села, опять налила виски все с тем же напряженным выражением, задумчивым и почти безумным, тем самым, которое приберегала исключительно для продукта дистилляции. Эндерс, лишившийся дара речи от счастья сидеть на кровати рядом с женщиной, которая выглядела, как Грета Гарбо, останавливала действие спектакля своими характерными танцами по всей стране, от побережья до побережья, и пила с уверенной, хотя и почти дикой грацией молодой дамы из общества. Он следил за каждым ее движением с надеждой, восхищением, растущей страстью.

— Вам, конечно, любопытно знать, — заметила мисс Зелинка, — что делает такая особа, как я, в этой крысиной норе. — Она сделала паузу, выжидая, но Эндерс молча глотнул виски. Потом Берта хихикнула и погладила его по руке. — Милый мальчик. Айова, говорите? Вы родом из Айовы?

* «Шуберт организейшн» — театрально-коммерческая фирма, имеющая филиалы во многих американских городах.

— Из Айовы.

— Кукуруза! — объявила мисс Зелинка. — Кукуруза. Вот что там выращивают, в этой Айове. — Она удовлетворенно кивнула, очевидно, в ее мозгу Айова и Эндерс отныне были нераздельны. — Я проезжала Айову по пути в Голливуд.

Виски в ее стакане осталось чуть меньше половины.

— Вы снимались в кино?! — воскликнул преисполнившийся почтения Эндерс. Подумать только, он сидит на одной кровати с женщиной, побывавшей в Голливуде!

Мисс Зелинка угрюмо кивнула.

— Голливуд! — Она одним махом опрокинула стакан. — Только не ищите отпечатков моих ног перед китайскими колоннами «Граумана»*, — проворчала она, гибким движением потянувшись за бутылкой.

— Мне кажется, — серьезно заметил Эндерс, задохнувшись, потому что мисс Зелинка мимолетно оперлась о него, — мне кажется, вы имели большой успех. Такая красавица, и голос чудесный.

Мисс Зелинка снова рассмеялась.

— Взгляните на меня, — велела она.

Эндерс повиновался.

— Я вам никого не напоминаю?

Эндерс кивнул.

Мисс Зелинка приложила к стакану.

— Я похожа на Грету Гарбо. Никто этого не отрицает. И, не хвастаясь, могу сказать, что на снимках меня не отличить от шведки.

Она отхлебнула виски и с удовольствием подержала его во рту, прежде чем медленно проглотить.

— Ну так вот, любая копия Греты Гарбо нужна Голливуду как собаке пятая нога. Понимаете, о чем я?

* Кинотеатр «Грауман» в Лос-Анджелесе, выстроенный в китайском стиле. Славится тем, что на плитках перед входом оставлены отпечатки ступней, ладоней кинозвезд и их автографы.

Эндерс сочувственно вздохнул.

— Мое вечное проклятие, — призналась мисс Зелинка. Слезы, словно туман над океаном, заволокли прекрасные глаза. Она вскочила и, покачивая головой, легкой театральной походкой обошла комнату. — Я не жалею. В конце концов, у меня все есть. Живу в двухкомнатном люксе на втором этаже отеля. Того, что на Семьдесят пятой улице. Окнами на парк. Там все мои вещи. Куча чемоданов и сундуков. С собой я взяла только самое необходимое, пока репетиции не кончатся. Семьдесят пятая улица в Ист-Сайде слишком далеко отсюда, а когда репетируешь музыкальную комедию у «Шуберта», приходится работать ногами двадцать четыре часа в сутки. Роскошный двухкомнатный люкс в отеле «Чалмерс». Очень стильно, но слишком далеко от Пятьдесят второй улицы.

Она налила себе немного виски, и Эндерс заметил, что бутылка почти опустела.

— О да, — продолжала она, любовно поглаживая стакан, — я в полном порядке. Танцевала по всей стране. Считалась первым номером в самых престижных ночных заведениях. Пользовалась большим успехом.

Мисс Зелинка снова села совсем близко от него, легонько, ритмически покачиваясь всем телом.

— Сиэтл, Чикаго, Лос-Анджелес, Детройт.

Она залпом проглотила виски. Голос отчего-то стал гортанным и хриплым.

— Майами, штат Флорида.

Она вдруг застыла, словно оцепенела. Океанский туман сгустился в росу, и слезы медленно заскользили по щекам.

— Что с вами? — встревожился Эндерс. — Я что-то не так сделал?

Мисс Зелинка швырнула пустой стакан в стену. Стакан тяжело врезался в оклеенную обоями кирпичную

кладку и взорвался: осколки рассыпались по ковру. Она бросилась на постель и безутешно разрыдалась.

— Майами, Флорида, — всхлипывала она, — Майами, Флорида...

Эндерс ободряюще погладил ее по плечу.

— Я танцевала в «Золотом роге» в Майами, Флорида, — едва выговорила она сквозь слезы. — Турецкий ночной клуб. Очень престижный.

— Почему вы плачете, дорогая? — участливо спросил Эндерс, гордясь собой, потому что осмелился назвать ее «дорогая».

— Я плачу каждый раз, когда вспоминаю о Майами, штат Флорида.

— Могу я чем-то помочь? — осведомился Эндерс, осторожно взяв ее руку.

— Это было в январе тридцать шестого... — Голос мисс Зелинка дрожал и полнился старой, безнадежной, притупившейся с годами мукой, как у скальда, поющего трагическую сагу о разоренном, обуглившемся замке, который после долгой осады достался беспощадному врагу. — Я была одета в турецкий костюм: широкий лифчик, набедренные вуали, а живот голый. В самом конце нужно было сделать мостик. Я перегнулась назад, оперлась на руки, так что волосы свесились до пола. Тогда в Майами, штат Флорида, проходил съезд профсоюза металлургов, и клуб был битком набит профсоюзниками. Спросите, откуда я знаю? На пиджаках были значки. И у того лысого тоже. — Слезы и боль исказили ее лицо. — Я до смертного часа буду помнить того лысого сукина сына. В этой части танца не было музыки. Только барабаны и тамбурины. Представляете, он дотянулся до меня, сунул мне в пупок оливку и посолил.

Мисс Зелинка внезапно перевернулась лицом вниз, сминая покрывало, словно стараясь зарыться в серый ситец. Плечи мелко тряслись.

— Комикс. Он видел такой комикс в журнале. Со стороны, конечно, смешно, но весело ли будет, если такое случится с вами? Какое унижение! — всхлипывала она. — Каждый раз, когда я думаю об этом унижении, умереть хочется. Майами, Флорида.

Эндерс, наблюдая, как на покрывале расплываются пятна слез, румян и туши, с искренним сочувствием обхватил мисс Зелинка за плечи.

— Я желаю уважения, — хныкала она. — Я выросла в приличной семье, так почему же не заслуживаю уважения? Лысый толстяк со значком съезда профсоюза металлургов! Дотянулся и положил оливку мне в пупок, как яйцо в чашечку, да еще и посолил, будто завтракать собрался. И все, все хохотали, даже музыканты...

Ее голос поднимался все выше, словно сверля воздух, — тонкий, отчаянный, полный древней, непреходящей скорби голос.

Она села и обняла Эндерса, вдавливаясь своей несчастной головой ему в грудь, стискивая его сильными руками. Оба раскачивались взад-вперед, как евреи на молитве; выкрашенная эмалевой краской кровать скрипела и стонала на всю комнату.

— Держи меня крепче, — всхлипывала она, — держи меня крепче. Нет у меня никакого люкса на Семьдесят пятой, нет сундуков в отеле «Чалмерс», держи меня крепче. — Жесткие пальцы впивались в него, слезы, тушь и румяна пачкали пиджак. — И у «Шуберта» нет для меня работы. Почему я лгу, почему я всегда лгу?

Подняв голову, она стала неистово целовать его в шею. Эндерс весь дрожал под этим мягким, но настойчивым натиском, наслаждаясь влажностью ее губ, кружившими голову трагическими рыданиями и соленым ручейком, затекавшим под подбородок, зная, что сейчас возьмет эту женщину, эту БERTУ Зелинка. Огромный город при-

нял его, одинокого, разлученного с домом, не оставил в стороне. Дал крошечное местечко. Позволил стать частью своего буйного, разгульного существования. И целую ее, женщину, похожую на Грету Гарбо, идеал страсти, трагедии и красоты целого поколения, женщину, встреченную в убогой дыре неподалеку от Коламбус-Серкл, в обществе шлюх, рассуждающих о смерти, и поляка в оранжевом галстуке, выдающего ключи от номеров, среди смрада, грязи и греха по умеренным ценам, Эндерс внезапно почувствовал себя дома. Город подарил ему ослепительную красавицу, гибкую, как кошка, пропитанную ложью, виски и старым сомнительным успехом. Женщину с великолепными точеными ногами и бездонными глазами цвета штормового моря, горько плакавшую за тонкой облупившейся дверью, потому что когда-то, в тридцать шестом, лысый толстяк из профсоюза металлургов положил в ее пупок оливку.

Эндерс сжал голову Берты Зелинка ладонями, пристально разглядывая худое, пьяное, прекрасное, залитое слезами лицо. Берта Зелинка жадно и грустно смотрела на него из-под полузакрытых тяжелых век. Рот чуть приоткрыт — страстно, зовуще. За губами, большими, чувственными, виднеются обломки гнилых зубов.

Он поцеловал ее, где-то глубоко в душе чувствуя, что в эту дождливую ночь город каким-то образом по-своему протянул ему руку и окликнул особенным, только ему присущим насмешливо-ироничным голосом:

— Добро пожаловать, парень!

Изнемогая от благодарности, ненавидя себя и свои возбужденно трясущиеся руки, Эндерс встал на колени и снял старые, поношенные, набухшие от воды туфли с исцарапанными носками со стройных прекрасных ног Берты Зелинка.

СМЕШАННЫЕ ПАРЫ*

Выходя на корт следом за мужем, Джейн Коллинз вновь испытала чувство гордости, даже восторга, которое раз за разом возвращалось при взгляде на мужа. Джейн и Стюарт поженились шесть лет назад, но и теперь, глядя, как он вышагивает впереди, расправив плечи — прямо-таки прусский сержант в увольнительной, — Джейн смотрела на него с той же радостью, что и в день их первой встречи. Высокий, широкоплечий, с задумчивым, добродушным, интересным лицом, Стюарт словно зачаровывал ее, и она полагала, что безошибочно выделила бы его в любой толпе с расстояния даже в пятьсот ярдов. В сшитых по фигуре белых брюках и оксфордской рубашке с длинными рукавами, элегантный, пусть и несколько старомодный в сравнении с другими игроками, он небрежно и по-мальчишечьи задорно бил по мячу в ходе разминки.

Джейн, в шортах и тенниске, забрала волосы косынкой, чтобы во время игры они не падали на глаза. Она знала, что в шортах выглядит полноватой, а платок на голове немного простит ее, и почувствовала укол женской зависти, когда по другую сторону сетки увидела Элеонор Бернс в элегантном теннисном платье и с красной лентой в волосах. Джейн быстро подавила это недостой-

* Mixed Doubles. © 2001. В.А. Вебер. Перевод с английского.

ное чувство и приказала себе смотреть только на мяч и мистера Крокера, партнера Элеонор. Но к сожалению, ее взгляд то и дело возвращался к девушке.

Мистер Крокер, нерешительный, невысокий, круглый, с серьезным лицом, жил по соседству с семейной парой, пригласившей Коллинзов в гости. Шорты были ему узки, и по прежним визитам Джейн помнила, что, по мере того как день катится к вечеру, лицо его становится все более серьезным и багровым. Играл он, однако, вполне прилично и никогда не отказывался выйти на корт, если другим гостям играть не хотелось или они выпили слишком много, чтобы держать в руках ракетку.

Два больших дуба затеняли часть корта, мячи перелетали из света в тень и обратно, при ударах звенели струны ракеток, а с маленькой веранды над кортом, откуда другие гости наблюдали за игрой, доносилось позвякиванье льда в стаканах.

Как это приятно, думала Джейн, вырваться из города на уик-энд, в эту тенистую прохладу, забыв о бизнесе и городском ритме жизни, бегать по корту, чувствовать, как легкий ветерок холодит кожу, ощущать себя помолодевшей лет на пять хотя бы на короткий воскресный час, свободной от канцелярских столов, телефонных звонков и всяческих дел.

Стюарт со всей силы ударил по высоко летящему мячу, вогнав его в корт у ног Элеонор, которая, конечно же, отбить его не смогла.

Стюарт победоносно улыбнулся:

— Можем начинать.

— Ты собираешься проделать со мной то же самое и во время игры? — спросила Элеонор.

— Несомненно, — ответил Стюарт. — Никакой пощады женщинам — девиз семьи Коллинз.

Они разыграли подачу, Коллинз выиграл. Подал на вылет. Крученный мяч дал неожиданный для Элеонор отскок.

— Джейн, дорогая, — улыбался он, переходя на другую половину их части корта, — сегодня нас ждет блестящая победа.

Первый сет они выиграли легко. Стюарт был великолепен. Быстро двигался по корту, бил точно, хорошо поставленными ударами, разве что излишне рисуясь. Снова и снова зрители на веранде аплодировали ему, а он поднимал вверх ракетку и говорил: «Да, мы сегодня неудержимы». Между розыгрышами он начал что-то тихо напевать, совсем как маленький мальчик, безмерно довольный собой, и Джейн улыбалась и восхищалась мужем, глядя, как он доминирует на корте, как приковывает к себе внимание зрителей, загорелый, энергичный, такой красивый в белой одежде. Залитый солнечным светом, Стюарт напоминал актера, выхваченного лучом прожектора из темноты сцены.

Иной раз, когда мяч попадал в сетку или уходил в аут, Стюарт замирал, трагически вскидывал голову к небу и восклицал, словно в отчаянии: «Коллинз, почему бы тебе прямо сейчас не поехать домой? — После чего поворачивался к Джейн и добавлял: — Джейн, дорогая, прости меня. Твой муж ни на что не годен».

Но она улыбалась и ободряла его: «Ты молодец», — чувствуя, что другие женщины, оценивающе смотрят на него, прикидывая, так же ли он хорош в постели.

Джейн играла в полную силу, но не пыталась подпрыгнуть выше головы. Она старалась перекинуть мяч через сетку и удержать его в игре до того момента, пока Стюарт нанесет противникам решающий удар. Они составляли хорошую пару. Джейн позволяла Стюарту вторгаться на ее территорию, если мяч так и ложился на его

ракетку, и Стюарт дважды одобрительно похлопал ее пониже спины, после того как она вытянула достаточно трудные мячи. Зрители, заметившие эти маленькие семейные вольности, одобрительно засмеялись.

Стюарт завершил сет роскошным бэкхендом, обведя вышедшую к сетке Элеонор.

— Коллинз, с тобой просто невозможно играть! — воскликнула та, покачав головой.

— Прекрасный удар, прекрасный, — выдавил Крокер. Стюарт широко улыбнулся:

— Готовился к нему весь сет, старичок.

Они сели на скамью в тени дуба, у сетки, Крокер и Джейн вытерли лица полотенцами, и пурпур на лице Крокера слегка поблек.

— Этот удар сверху! — говорила Элеонор Стюарту. — Просто жуть! Когда я видела, как ты взлетаешь в воздух, мне хотелось бросить мою маленькую ракеточку и пулей унести с корта, спасая свою жизнь.

Джейн искоса взглянула на Стюарта, чтобы посмотреть, как он реагирует на столь откровенную лесть.

Принимая слова Элеонор за чистую монету, он широко улыбался, лучился молодостью и обаянием.

— Это пустяки. Один из приемчиков, которые я освоил в Омаха-Бич.

Опять двадцать пять, с горечью подумала Джейн. И здесь охота на волков. Она уткнулась лицом в полотенце, чтобы удержаться и не одернуть мужа. «Это последний раз, — говорила она себе, — чувствуя, как горит под полотенцем лоб, последний раз, когда я еду в гости за город на паршивый уик-энд, где полным-полно голодных, свободных или наполовину свободных, полуобнаженных, медоточивых охотниц на мужчин». Она взяла себя в руки и, опустив полотенце, явила миру лицо спокойной, милой замужней женщины, которую в данный момент интересуется исключительно следующий сет.

Широко посаженные зеленые глаза Элеонор поверх ракетки смотрели на Стюарта. Взгляд этот мог быть истолкован только определенным образом, и Стюарт, как всегда, падкий на внимание женщин, не сводил с Элеонор глаз. «Господи, — подумала Джейн, — как же долго они смотрят друг на друга!»

— Я готова к следующему сету, — нарушила она затягивающуюся паузу.

— Как насчет того, чтобы сыграть в другом составе? — неожиданно предложил Стюарт. — Чтобы уравнивать шансы. Крокер с тобой, Джейн, а я — с этой молодой дамой.

— О, я только испорчу тебе игру, Стюарт, — с обольстительной улыбкой возразила Элеонор. — И потом, я уверена, твоя жена любит играть в паре с тобой.

— Отнюдь, — сухо ответила Джейн. Молодая дама! Ну почему мужчины такие прямолинейные?

— Нет. — Крокер всех удивил. — Пусть все остается, как есть. — Джейн хотелось поцеловать это круглое, пурпурное лицо. — Думаю, на этот раз мы сыграем лучше. Я, кажется, представляю, как надо играть против тебя, Коллинз.

Стюарт бросил на него короткий недовольный взгляд, но тут же обаятельно улыбнулся:

— Как скажешь, старичок. Я просто подумал...

— Я уверен, что теперь мы сыграем лучше, — твердо повторил Крокер. — Пошли, Элеонор.

Элеонор поднялась, гибкая и грациозная, с загорелыми ногами, в коротком платьице. «Никогда больше, — подумала Джейн, — никогда больше я не надену шорты. Только такое платье, пусть оно и стоит пятьдесят долларов, с мягкой накладной грудью, и никаких косынок, даже если я буду слепнуть после каждого удара».

Стюарт наблюдал, как Элеонор следует за Крокером на корт, и Джейн, будь ее воля, убила бы его за этот горящий плотским желанием взгляд.

— Пошли. — Стюарт направился на их половину корта, а потом, когда они приготовились принять подачу Крокера, прошептал: — Давай покажем этому старому идиоту, Джейн.

— Да, дорогой, — ответила Джейн и потуже завязала косынку.

В первых трех геймах они просто смели соперников с корта. Стюарт властвовал у сетки, посылал мяч под ноги Крокеру или сознательно гонял его, раскрасневшегося, отдувающегося, по углам корта и время от времени шептал Джейн: «Старый козел. — Или: — Я думал, он понял, как надо играть против меня. — Или: — Не расслабляйся, Джейн, не расслабляйся».

Она играла, как обычно, ровно, отбивала все те мячи, которые могла отбить. В четвертом гейме подавала она. При счете 40:15 Стюарт послал мяч над самой сеткой и с усмешкой наблюдал, как Крокер догнал-таки его и неловко отбил. Мяч поднялся по высокой дуге и опустился в трех дюймах за задней линией.

— Хороший удар, — услышала она голос Стюарта. — В самую линию.

Джейн в удивлении воззрилась на мужа, а тот ободряюще кивнул Крокеру.

Элеонор, которая стояла у сетки, тоже смотрела на Стюарта.

— Мне показалось, аут.

— Отнюдь. Отличный удар. Подавай, Джейни.

«Господи, — подумала Джейн, — теперь он решил создать видимость борьбы».

Джейн ошиблась при следующем розыгрыше, потом Крокер удачно принял ее подачу, Стюарт попал в сетку, и в итоге гейм остался за Крокером и Элеонор. Стюарт отправился к задней линии принимать подачу, с раздраженным, потемневшим лицом.

Крокер вдруг заиграл на удивление хорошо, его резкие, скользящие удары вновь и вновь заставляли ошибаться Джейн и Стюарта. И постоянно, даже ударяя по мячу, она помнила о том, что Стюарт засчитал мяч, вылетевший за пределы площадки. Этот момент стал переломным. Стюарт не смог отказать себе в галантном жесте, тем более что происходило все это на глазах Элеонор, стоявшей у самой сетки. «В этом весь он», — с горечью подумала Джейн. И решительно тряхнула головой, попытавшись сосредоточиться на игре. Все-таки не самое удачное время для того, чтобы начинать дуться на мужа. Они провели отличный уик-энд. Стюарт, веселый, любящий, заботливый, вел себя изумительно, так что критику лучше попридержать для тех уик-эндов, которые сразу не залаживаются. Но это так похоже на Стюарта. И в жизни он точно такой. Все у него построено на эффективных жестах. Ударить босса в его кабинете в присутствии трех секретарей только за то, что босс накричал на него. Сдать направление в офицерскую школу и пойти в армию рядовым в сорок втором году. Отдать пять тысяч долларов, практически все их сбережения, Гарри Матеру на развитие бизнеса только потому, что они вместе учились в школе, хотя все знали: Матер — беспробудный пьяница, и дать ему деньги — все равно что выкинуть их в мусоропровод. Посторонним эти поступки могли показаться проявлением щедрости души и даже благородства характера, но что касается жены, на которой сразу отражались все их последствия...

— Черт бы побрал эти брюки! — пробормотал Стюарт, вновь послав мяч в сетку. — Все время цепляюсь за штанины.

— Тебе следует играть в шортах, как всем, — ответила Джейн.

— Правильно. Купи мне их на неделе. — Стюарт наклонился и начал неторопливо подворачивать брючины.

Месяц назад Джейн купила ему при пары шорт, но он всегда заявлял, что не может их найти, и надевал брюки. «Ноги-то у него на удивление костлявые, — думала Джейн, ругая себя за эти мысли, — да еще и волосатые, вот тщеславие и...» Она пошла на мяч, но остановилась, заметив, что за ним устремился Стюарт.

После его удара мяч вылетел за боковую линию.

— Джейн, дорогая, ты бы хоть мне не мешала, — упрекнул он жену.

— Извини, — ответила она, подумав: «Стиви, дорогой Стиви, будь осторожен. Не надо. Ты же на самом деле не такой. Я знаю, что не такой. Даже на минуту не делай вида, будто ты меня ни во что не ставишь».

Следующий розыгрыш Стюарт завершил ударом в сетку и печально посмотрел в землю.

— Если уж они приглашают сыграть в теннис, — прошептал он, — могли бы по меньшей мере выровнять корт.

«Пожалуйста, Стиви, — беззвучно молила Джейн, — не делай этого. Не ищи оправданий. Однажды ты забыл подписать договор об аренде, а когда нас выставили из квартиры, стал винить во всем адвоката. И работу в Чикаго потерял только потому, что учился не в том колледже, и...» Усилием воли Джейн полностью сосредоточилась на мяче, изгнала из головы все лишние мысли, вновь и вновь методично взмахивала ракеткой, отправляя мяч на другую половину корта.

Элеонор и Крокер набирали очки. Крокер подрезал чуть ли не каждый мяч, они попадали в середину корта и могли подскочить еще лишь один раз. Перекинуть их через сетку можно было только мягким ударом. Но Стюарт всякий раз бил по мячу изо всей силы, посылая его то в сетку, то в стенку за задней линией. Играл он вроде бы красиво, но очки доставались соперникам.

— Разве так играют в теннис, — пробормотал он, стоя спиной к Элеонор и Крокеру. — Почему бы им не переключиться на пинг-понг?

— Нельзя лупить по мячу со слабым отскоком, — заметила Джейн. — Его надо мягко перекидывать через сетку.

— Ты играешь в свою игру, а я буду играть в свою, — отрезал Стюарт.

— Извини, — не стала спорить Джейн, жалея мужа.

Еще дважды Стюарт ответил на укороченные удары Крокера прекрасно поставленным бэкхендом, угодив в сетку.

«Я ничего не могу с этим поделать, — думала Джейн. — Такой уж он человек. Главное для него — произвести впечатление. Если б он забирался на утес, то скорее свалился бы на скалы, чем позволил себе делать неуклюжие движения, которые могли спасти ему жизнь. Он всегда вызывался оплатить чек в баре или ресторане, независимо от того, с кем гулял и сколько гостей сидело за столом, пусть речь шла о наших последних пятидесяти долларах. А когда приглашал гостей на обед, требовал нанимать двух служанок, на столе стояли французские вина, а к кофе подавали коньяк, бутылка которого стоила примерно столько, сколько неделя отдыха на курорте. И становился холодным и отстраненным, когда я спорила с ним, напоминала, что мы не столь богаты и нет никакого смысла убеждать кого-то в обратном. А его туфли... — Она моргнула, потому что перед ней, прямо на корте, возник длинный ряд дорогих туфель, по семьдесят долларов за пару, которые он шил на заказ. — Как же это нелепо, — упрекнула она себя, — нервничать из-за пристрастия мужа к дорогим туфлям». И тут же вспомнила, что при их первых встречах ее влекли к нему красивая одежда, легкость в общении и умение легко расставаться с деньгами.

Элеонор и Крокер повели 4:3. И тут у Стюарта вдруг наладился удар, так что следующий гейм они взяли без труда. Он вновь заулыбался и радостно заверил Джейн: «Вот теперь мы их сделаем». Но, выиграв два очка в следующем гейме, он трижды подряд попадал за линию, пусть и на несколько дюймов, так что гейм они проиграли.

«Я не должна делать из этого никаких выводов, — убеждала себя Джейн, подходя к сетке, пока Стюарт готовился к подаче. — Любой может перебросить меч, любой. Но как это похоже на Стюарта! В тот самый момент, когда требуется максимальная концентрация, когда на человека возлагают надежды...» Взять хотя бы тот случай, когда она заболела, а служанка уволилась. Она три недели пролежала в постели, совершенно беспомощная, и позаботиться о ней мог только Стюарт... Первую неделю он радостно хлопотал вокруг Джейн, готовил еду, читал, часами сидел на кровати, отчего болезнь не казалась ей такой тяжелой. Потом вдруг стал нервным и резким, под любым, зачастую надуманным предлогом уходил из дома, пропадал долгие часы, чтобы вернуться буквально на несколько минут, сделать самое необходимое и исчезнуть вновь, оставив ее одинокой и несчастной. Она не сомневалась, что у Стюарта появилась другая женщина, и решила, что, поправившись, поставит вопрос ребром, но его отлучки прекратились так же внезапно, как и начались. Вновь он стал нежным и заботливым, вновь сидел на кровати, ухаживал, подбадривал, и из благодарности и любви она оставила свои сомнения при себе. Но вот они вернулись к вечеру выходного дня, в самом неподходящем месте, во время глупой, бессмысленной игры, за которой со стаканами в руках наблюдали их друзья.

Через несколько мгновений Джейн обернулась, посмотрела на него, красивого, дорогого, близкого ей человека, он ей улыбнулся, и она устыдилась мыслей, что

роились в ее голове. Виной тому — эта глупая девчонка по другую сторону сетки, из-за которой все и началось. Привычная, доведенная до автоматизма техника обольщения, основа которой — лесть. Бездумный, ни к чему не обязывающий флирт. И глупо из-за такого пустяка бросаться в черные воды рефлексии. Семейная жизнь, как известно, имеет спады и подъемы. Семья — это хрупкий сосуд, который не следует рассматривать слишком уж пристально, выискивая малейшие трещинки. Семья — не банковский чек, не иностранная политика, не рентгеновский снимок в руке врача. Надо на многое закрывать глаза, многое пропускать мимо ушей и лишь гораздо позже, может, на смертном одре, но никак не раньше, подводить общий итог. Благоразумная, здравомыслящая, зрелая женщина не должна суммировать плюсы и минуты на теннисном корте всякий раз, когда ее муж посылает мяч в сетку. Джейн улыбнулась и покачала головой.

— Отличный удар, — тепло похвалила она Стюарта, который бэкхендом, мимо Крокера, положил мяч в угол корта.

Но один удачный розыгрыш не означал победы в гейме. Они сократили разрыв, но по-прежнему проигрывали, теперь уже 30:40. Крокер, маленький, решительный, разгоряченный, в слишком узких для него шортах, приготовился принять подачу Стюарта. Разговоры на веранде прекратились, ветерок стих, все словно ждало очередной подачи Стюарта.

Джейн стояла у сетки и услышала, как от удара по мячу зазвенели струны ракетки. И тут же завибрировал трос сетки: мяч ударился об него и отскочил на их половину. Первая подача Стюарту не удалась.

Джейн не решалась оглянуться. Она чувствовала, что Стюарт встал на задней линии, начал нервно переминыться с ноги на ногу, но не смотрела на него. «Пожалуйста, —

молчаливо зывала она к Стюарту, — пожалуйста, перебрось мяч на другую половину корта». И тут же подумала о тех бесчисленных случаях, когда в критический момент он неизменно терпел неудачу. «Господи, — ругала она себя, — нельзя об этом даже думать. Но взять, к примеру, счет Сейера, который сам приплыл бы к Стюарту в руки, если бы тот не напился». Как писали в спортивных колонках, в такие мгновения все решает не мастерство, а характер, сила воли. Одним спортсменам характера хватает, другим — нет, и через какое-то время зрители всегда понимают, кто есть кто. Если подходить к вопросу объективно, следовало признать, что Стюарт относился к последним. Вспомнить хотя бы смерть ее отца, сразу после того, как сестра сбежала с солистом из джаз-банда. Если бы рядом с Джейн был мужчина, он не позволил бы партнеру отца заграбастать большую часть активов фирмы, сумел бы запугать солиста. Если бы он хотя бы раз проявил силу и решительность, хоть раз оказался в нужном месте в нужное время... Но после похорон Стюарт укатил в Сиэтл по, как он заявил, крайне неотложному делу. Конечно, дело это окончилось пшиком, но мать Джейн, и сестра, и она сама до сих пор расплачиваются за тот неудачный день.

Она почувствовала, как Стюарт за ее спиной поднимает ракетку, и поняла, что ничего путного из этого не выйдет, что произойдет двойная ошибка на подаче. Она это уже знала. «Нет, — подумала Джейн, — так нельзя. Он не такой. Он умный, талантливый, хороший, он сможет далеко пойти. Я не должна выносить мужу столь ужасный приговор, основываясь исключительно на его игре в теннис. Да, конечно, его поведение на корте так похоже на его жизнь. Одаренный, элегантный, сильный, обожающий похвастаться, колеблющийся, ошибающийся...»

«Пожалуйста, — думала она, — пожалуйста, подай как следует». Глупо, конечно, но ей казалось, если они

выиграют этот розыгрыш, он станет переломным пунктом, точкой, с которой возьмет отсчет новая, куда более счастливая жизнь. Джейн ненавидела себя за такие мысли и смотрела на Элеонор, такую соблазнительную в изящном теннисном платье.

«И зачем только я приехала сюда в это воскресенье?» — в отчаянии спросила себя Джейн.

Услышала звон струн. Мяч просвистел мимо нее, угодил в трос, прокатился по нему и свалился на их половину. Двойная ошибка, проигрыш и гейма, и сета.

— Это плохо. — Она повернулась и улыбнулась Стюарту, вдруг задумавшись над тем, а хватит ли у нее денег, чтобы прожить шесть недель в Рино. Тряхнула головой, зная, что в Рино она не поедет, но отдавая себе отчет, что теперь мысль эта будет все чаще приходить к ней и через какое-то время отмахнуться от нее уже не удастся.

С корта она уходила бок о бок со Стюартом, держа его за руку.

— Тени, — говорил Стюарт. — До захода солнца осталось всего ничего. Край сетки просто сливается с кортом.

— Да, дорогой, — соглашалась с ним Джейн.

МАЛЕНЬКИЙ ГЕНРИ ИРВИНГ*

Кости заскакали, как кавалеристы, по бетонному полу первого этажа академии.

— Восемь. — Эдди дернул воротник своей кадетской формы. — Восемь, приходи в восемь, ровно в восемь. — Поднялся, отряхнул пыль с острых стрелок на коленях. — Смотри сам.

Сторож покачал головой, откинулся на спинку кресла:

— С тем же успехом я могу лечь и умереть. На Рождество! Чтобы человеку так не везло на Рождество!

— Сыграем на все, — вкрадчиво предложил Эдди.

— Мой внутренний голос советует отказаться.

— Сыграем.

— Если я проиграю, у меня не останется ни цента. На Рождество не смогу купить себе даже пинту пива.

— Хорошо. — Эдди начал собирать серебряные монеты. — Хочешь завязать, оставшись в проигрыше...

— Сыграем на все, — мрачно перебил его сторож. Достал последние доллар и двадцать центов с отчаянным спокойствием человека, подписывающего себе смертный приговор. — Давай, Алмазный Джим.

Эдди нежно сжал кости в руках, закачался взад-вперед на костлявых коленях.

* Little Henry Irving. © 2001. В.А. Вебер. Перевод с английского.

— Настал момент! — воскликнул он. — О, милые крошки...

— Бросай! — раздраженно крикнул сторож. — Довольно поэзии!

— Четыре и три, пять и два, шесть и один, — наставлял Эдди свои руки.

— Бросай! — взревел сторож.

Эдди бросил кости на холодный, твердый пол. Они остановились рядом, словно любовники, оберегающие друг друга от ударов судьбы.

— Мы видим семь? — спросил Эдди.

— На Рождество! — Голос сторожа переполняло отчаяние.

Эдди тщательно пересчитал деньги и начал рассовывать их по карманам.

— Ты честно сражался, — заверил он сторожа.

— Да, — пробормотал сторож, — да. Проиграть мальчишке. Сколько тебе лет? Миллион?

— Мне тринадцать. — Последние монетки исчезли из виду. — Но я приехал из Нью-Йорка.

— Тебе следовало быть дома, с семьей. Все-таки Рождество. Ты еще маленький. Чертовски жаль, что ты не проводишь это Рождество с семьей.

Большие темные глаза Эдди вдруг наполнились слезами.

— Папа сказал, что не желает меня видеть весь год.

— Что же ты натворил? — поинтересовался сторож. — Украл его штаны на прошлое Рождество?

Эдди высморкался, и слезы мгновенно высохли.

— Ударил сестру лампой. Большой настольной лампой. — Он насупился. — И я ударил бы снова. Ее зовут Диана. Ей пятнадцать лет.

— Надо же, — покачал головой его собеседник. — А я-то думал, ты хороший маленький мальчик.

— Ей наложили четыре шва. Она плакала пять часов. Диана! Сказала, что я загубил ее красоту.

— От удара настольной лампой красоты не прибавляется, знаешь ли, — резонно заметил сторож.

— Она собирается стать актрисой. Театральной актрисой.

— Хорошее занятие для девушки.

— Да ладно, — отмахнулся Эдди. — Что в этом хорошего? У нее учитель танцев, учителя английского и французского, верховой езды и музыки. Папа всегда целует ее и называет маленькой Бернар. От нее смердит.

— Негоже так говорить о своей сестре, — покачал головой сторож. — Я не желаю слушать маленького мальчика, который так говорит о своей сестре.

— Да заткнись ты! — с горечью бросил Эдди. — «Маленькая Бернар»! Папа тоже актер. В нашей семье все актеры. Кроме меня. — В его голосе слышалось мрачное удовлетворение.

— Зато ты умеешь бросать кости, — усмехнулся сторож. — Так что волноваться тебе не о чем.

— «Маленькая Бернар»! Папа возит ее с собой по всей стране. Детройт, Даллас, Сент-Луис, Голливуд.

— Голливуд!

— А меня отправили в Военную академию.

— Юношам учеба в академии только на пользу. — В стороже разыграла гордость за учреждение, в котором он служил.

— Ага, — буркнул Эдди. — «Маленькая Бернар». Хотелось бы потоптать сапогами ее физиономию.

— Нельзя так говорить.

— Три раза в неделю она ходит в театр и смотрит, как папа играет на сцене. Со времен сэра Генри Ирвинга* никто не играл так хорошо, как папа.

* Ирвинг, Генри (наст. имя — Джон Генри Бродрибб) (1838—1905) — английский актер, режиссер. На сцене с 1856 г. Прославился постановками пьес Шекспира.

— И кто это сказал? — любопытствовал сторож.

— Мой отец. Он поляк. У него дар перевоплощения. Настоящий дар. Все говорят, что у него дар перевоплощения. Тебе бы посмотреть, как он играет.

— Я хожу только в кино.

— Он играет в «Венецианском купце». С длинной белой бородой, и не подумаешь, что это мой отец. Когда он говорит, люди в зале смеются и плачут. Готов спорить, голос моего отца будет слышен за пять кварталов.

— Такая игра мне нравится, — кивнул сторож.

Эдди театральным жестом выкинул вперед руку.

— «Разве у еврея нет глаз?» — спросил он громовым голосом. — «Разве у еврея нет рук, чувств, страстей?» Вот так говорит мой отец. — Он медленно опустился на поставленный на пол ящик. — Мой отец на сцене... в мире нет ничего более прекрасного.

— Не следовало тебе бить сестру лампой, — назидательно сказал сторож. — Тогда ты смог бы увидеть его сегодня на сцене.

— Он порол меня пятнадцать минут, мой папаша. Он весит двести пятнадцать фунтов и сложен, как Лу Гериг*, как скаковая лошадь. Он бил наотмашь, но я ни разу не вскрикнул и не сказал ему, почему ударил сестру настольной лампой. И я не плакал. Я показал ему. И его маленькой Бернар. — Эдди решительно поднялся. — Какого черта! В Военной академии Рождество можно встретить ничуть не хуже, чем в любом другом месте. — И он выглянул в белесый декабрьский день.

— Послушай, Эдди, — затараторил сторож, опасаясь, что мальчик юркнет за дверь. — Я хочу задать тебе один вопрос.

* Гериг, Лу (1903–1941) — известный бейсболист, за 14 сезонов не пропустил ни одной игры. Умер от редкой болезни — бокового амиотрофического склероза, — иногда называемой его именем (болезнь Герига).

— Какой? — холодно спросил Эдди, догадываясь, о чем пойдет речь.

— Сегодня канун Рождества.

— Я знаю, что сегодня канун Рождества.

— Я — старик. — Сторож печально провел рукой по седым усам. — Я — старик, и у меня нет ни одного родного человека.

— И что?

— На Рождество, Эдди, я обычно покупаю себе пинту чего-нибудь горячительного, чаще всего яблочного бренди, чтобы согреть сердце и забыть, что в этом мире я один-одинешенек. Ты поймешь, о чем я говорю, когда станешь старше.

— Угу. — Эдди, похоже, придерживался другого мнения.

— А в этом году, — заерзал в кресле сторож, — в этом году ты выиграл все мои деньги. Вот я и подумал, а может...

— Нет. — Эдди двинулся к двери.

— В канун Рождества, для старика, Эдди.

— Ты проиграл, — бесстрастно ответил Эдди, — а я выиграл. Вопрос закрыт.

И он вышел за дверь, оставив старика в стареньком кресле у камина. Сторож проводил мальчика тоскливым взглядом.

Эдди бесцельно бродил по припорошенной снегом территории Военной академии.

— Военная академия! Ну и ну! — сказал он себе и печально покачал головой.

Ему бы сейчас быть с семьей, в Нью-Йорке, залитом сверкающими огнями, красными, зелеными, белыми, где улицы запружены счастливыми людьми, которым едва хватает рук, чтобы унести купленные подарки, где Санта-Клаусы позвякивают колокольчиками на углах, предлагая

жертвовать деньги Армии спасения, где тысячи кинотеатров зазывают зрителей. Он посмотрел бы спектакль, в котором играл отец, потом пообедал бы с ним в ресторане на Седьмой авеню, съел бы утку, картофельные оладьи, выпил бы глинтвейна, а потом дома слушал бы, как отец во весь голос распевает немецкие песни, аккомпанируя себе на пианино, пока соседи не вызвали бы полицию.

Эдди вздохнул. Он не в Нью-Йорке, а здесь, в Военной академии в Коннектикуте, и все потому, что он — плохой мальчик. С шести лет его считали плохим. На праздновании его шестого дня рождения, когда он пребывал на седьмом небе от счастья, наслаждаясь тортом, сладостями, мороженым и велосипедом, Диана вышла на середину комнаты и продекламировала монолог из комедии «Как вам это понравится», который выучила с помощью учителя английского языка. «Весь мир — театр, — прочувствованно произнесла она с бостонским акцентом, который прививал ей учитель английского, — а люди в нем — актеры...» И все закричали: «Браво!» Отец подхватил ее на руки, целовал светлые кудряшки и повторял снова и снова: «Маленькая Бернар! Моя маленькая Бернар!»

Эдди бросил в сестру тарелку с мороженым, мороженое выпачкало костюм отца, Диана плакала два часа, а Эдди отшлепали и отправили спать.

— Я ненавижу Коннектикут, — доверительно сообщил он потерявшему листву вязу, чуть наклонившемуся над грязным снегом дорожки.

После того случая грехи Эдди множились: он столкнул Диану с крыльца, порвав ей связки на руке, уплыл на весельной лодке от побережья Нью-Джерси, и береговая охрана нашла его только в десять вечера, его выгнали из семи частных и муниципальных школ, его ловили на выходе из театра миниатюр с приятелями, значительно старше его, ни одну просьбу отца он не выпол-

нял, его пороли трижды в месяц, чем он очень гордился, поскольку именно в эти моменты папа, пусть злой и ужасный, уделял ему хоть какое-то внимание, таким своеобразным способом выказывая родительскую любовь.

Эдди привалился к дереву и закрыл глаза. Мысленно он перенесся в уборную отца в театре. Папа в шелковом халате, с наклеенной бородой, припудренными волосами. Красавицы в мехах входят, говорят, смеются, их голоса журчат, как весенние ручейки, отец представляет его: «Это мой сын, Эдди. Он — мой маленький Генри Ирвинг». Женщины радостно улыбаются, обнимают его, прижимают к надушенным мехам, целуют. Их прохладные от зимнего воздуха губы приятно холодят разгоряченное лицо. Отец сияет, добродушно похлопывает его по плечу: «Эдди, не нужно тебе ехать в Военную академию, и ты не будешь встречать Рождество у твоей тети в Дулуте. Ты проведешь Рождество со мной. Иди в кассу и возьми билет на сегодняшний спектакль. Ряд «А», середина. «Разве у еврея нет глаз? Разве у еврея нет рук, чувств...» Да, папа, да, папа, да...

Эдди моргнул, посмотрел на сложенные из толстого бруса стены академии. Тюрьма, тюрьма.

— Чтоб ты сгорела. — Голос его переполняла ненависть к облупившейся краске, мертвому плющу, колокольне. — Сгорела! *Сгорела!*

И вдруг он успокоился. Прищурился, оглядел здание из-под козырька форменной фуражки, словно охотник, выследивший в густом лесу дичь.

Если академия сгорит, он же не сможет спать под деревом на декабрьском морозе? Его отправят домой, иначе и быть не может, а если его спасут из горящего здания, папа будет так благодарен судьбе, что... Академия должна сгореть дотла, чтобы его больше не послали сюда, а такое возможно, если пожар начнется на первом этаже. Но на первом

этаже сейчас сидит сторож, одинокий старик, мечтающий о пинте горячительного...

Эдди развернулся и пружинистым шагом направился к входной двери.

— Послушай, — обратился он к сторожу, который по-прежнему сидел у камина. — Послушай, мне тебя жалко.

— Да. — В голосе сторожа не было надежды. — Я это вижу.

— Клянусь. Такой старик, как ты... Встречать Рождество в одиночестве... Никто не утешит, не поздравит. Это ужасно.

— Да, — согласился сторож. — Да.

— И даже без капли спиртного, чтобы согреть душу и тело.

— Без капли. На Рождество! — Сторож печально покачал головой. — Лучше уж лечь и умереть.

— Я решил облегчить тебе жизнь, — сказал Эдди. — Сколько стоит бутылка яблочного бренди?

— Ну... — Сторож замялся. — Яблочное бренди бывает разное.

— Самого дешевого, — отрезал Эдди. — Или ты принимаешь меня за миллионера?

— Бутылку первого класса яблочного бренди можно купить за девяносто пять центов, Эдди, — торопливо ответил сторож. — Я с радостью возьму у тебя эти деньги. Ты совершишь добрый поступок, порадуешь старика, устроишь мне праздник.

Эдди медленно достал из кармана монеты, отсчитал девяносто пять центов.

— Ты понимаешь, вообще-то это не в моих правилах.

— Разумеется, Эдди, — заверил его старик. — Я и не ожидаю...

— Я выиграл их честно, — настаивал мальчик.

— Естественно, Эдди.

— Но на Рождество...

— Конечно, Эдди, исключительно на Рождество... —
Сторож уже сидел на краешке кресла, рот его раскрылся, он облизывал уголки губ.

Эдди протянул руку с монетами:

— Ровно девяносто пять центов. Хочешь — бери, хочешь — нет.

Рука сторожа, когда он брал деньги, дрожала.

— У тебя доброе сердце, Эдди. По твоему виду этого не скажешь, но у тебя доброе сердце.

— Я бы сам ходил и купил тебе бутылку, но мне нужно написать письмо отцу.

— Ничего страшного, Эдди, мой мальчик, ничего страшного. Короткая прогулка до города мне не повредит. — Он нервно рассмеялся. — Подышу свежим воздухом. Это только пойдет мне на пользу. Спасибо тебе, Эдди. Ты просто молодец.

— Ладно уж. — Эдди направился к двери. — Веселого Рождества.

— Веселого Рождества, — откликнулся старик. — Веселого Рождества, мой мальчик, и счастливого Нового года.

Когда Эдди выходил за дверь, старик уже пел: «Три корабля проплыли мимо. Три корабля...»

Через четыре часа Эдди шагал по Сорок пятой улице города Нью-Йорка, без пальто, дрожа от холода, но счастливый. Шел он от Гранд-Сентрал, лавируя среди толп улыбающихся горожан, поглядывая на уличные фонари, неоновые вывески, полицейских в синей форме. «Если вы колете нас, разве мы не кровоточим? Если вы щечочете нас, разве мы не смеемся? Если вы отравляете нас, разве мы не умираем?» Он пересек Шестую авеню, свернул в переулок, где находился служебный вход в театр,

на фасаде которого светилась красная неоновая надпись: «"Венецианский купец" Вильяма Шекспира».

— «Если вы предаете нас, разве мы не должны отомстить?» — прокричал Эдди стенам переулка, распахнул дверь служебного входа и взбежал по лестнице к уборной отца.

Через открытую дверь увидел, что отец гримируется за столиком. Эдди тихонько переступил порог.

— Папа. — Он остановился у двери. — Папа.

— Ага. — Его отец маленькой расческой распушал и без того кустистые брови.

— Папа, это я.

Отец положил на столик расческу, медленно повернулся.

— Эдди, — выдохнул он.

— Веселого Рождества, папа! — Эдди нервно улыбнулся.

— Что ты тут делаешь, Эдди? — спросил отец, глядя ему в глаза.

— Приехал домой, папа, — быстро ответил Эдди. — Приехал домой на Рождество.

— Я заплатил Военной академии лишних сорок два доллара за то, чтобы ты остался там, а ты говоришь мне, что приехал домой на Рождество! — Голос отца переполняла та самая страсть, которая каждый вечер заставляла трепетать от восторга полторы тысячи зрителей. — Телефон! Мне нужен телефон! Фредерик! — позвал он своего костюмера. — Фредерик, ради Бога, телефон!

— Но, папа... — начал Эдди.

— Я поговорю с этими паршивыми оловянными солдатиками, этими затянутыми в форму школьными мымрами! Фредерик, ради Бога!

— Папа, папа, — заверещал Эдди, — ты не сможешь им позвонить.

Его отец поднялся во всем величии своих шести футов и трех дюймов, в красном шелковом халате, сверху вниз посмотрел на Эдди, одна его бровь насмешливо поднялась:

— Мой сын говорит, что я не могу им позвонить. Маленький зазнайка указывает мне, что я могу делать, а что — нет.

— Ты не можешь им позвонить, папа, — закричал Эдди, — потому что говорить больше не с кем. Понимаешь?

— О, — голос отца сочился иронией, — школа исчезла. Пуф — и все дела. Египетские ночи. В Коннектикуте.

— Поэтому я и здесь, папа, — поспешно добавил Эдди. — Военной академии больше нет. Сгорела дотла. Сегодня, во второй половине дня. Вместе с моим пальто. Видишь, я без пальто.

Отец помолчал, его холодные серые глаза сверлили сына из-под знаменитых седых бровей. Знаменитые длинные пальцы барабанили по столу, пока сын, в кадетской форме, переминаясь с ноги на ногу, рассказывал о случившемся.

— Да, папа, сгорела дотла, клянусь Богом. Ты можешь спросить кого угодно. Я лежал на кровати, писал письмо, пожарные вытащили меня из горящего здания, можешь их спросить, они не знали, что со мной делать, дали мне денег на билет, я приехал на поезде и... Можно мне остаться с тобой, папа, на Рождество, что ты на это скажешь?

В голосе звучала мольба. Но взгляд отца ничуть не потеплел. Мальчик замолчал, но мольба читалась в его лице, глазах, опущенных уголках рта, замерзших руках. Отец величественно шагнул к нему, поднял руку, ответил затрепину.

Эдди не сдвинулся с места, губы его задрожали, но он не заплакал.

— Папа. — Он изо всех сил пытался сдержать слезы. — Папа, за что ты меня ударил? Моей вины тут нет. Академия сгорела, папа.

— Если академия сгорела, а ты там был, — отчеканил отец, — это твоя вина. Фредерик, — посмотрел он на костюмера, наконец возникшего в дверях, — посади Эдди на следующий поезд до Дулута. Пусть едет к тете. — Он повернулся, непреклонный, как судьба, направился к столику и вновь принялся гримироваться.

Часом позже, в поезде, глядя на проплывающий мимо Гудзон, Эдди все-таки заплакал.

ИНДЕЕЦ В НОЧИ*

В четыре часа утра город вокруг Центрального парка замер, сквозь легкий предрассветный туман чуть просвечивали бледные звезды. То и дело мимо словно тайком проскакивал автомобиль, шурша шинами и поднимая ветер. Отблески света фар падали на листву. Птицы замолкли, автобусы и трамваи замерли, такси молчаливо ждали на углах, пьяные валялись в арках, бродяги устроились на ночь, небоскребы нависали темными громадами. Свет в редких окнах свидетельствовал о чьем-то сладострастии или болезни.

О'Мэлли медленно шагал по дорожкам парка, пересекающим его с востока на запад. В этот час на них не было ни нянек, ни детей, ни полисменов, ни ученых и стариков, которым скрепя сердце пришлось уйти на пенсию, парк был свободен от всего, за исключением теплой ночи, тумана, привольного запаха весенней земли и смутных воспоминаний о бесчисленных людях, которые протоптали эти дорожки на зеленой ладони руки города.

О'Мэлли шел не торопясь, с преувеличенной осторожностью, свойственной человеку, которого последний выпитый стаканчик виски лишил ясной и четкой связи

* The Indian in Depth of Night. © 2001. В.А. Вебер. Перевод с английского.

с действительностью. Он глубоко вдыхал чистый, столь редкий для города благоуханный воздух, пребывая в полной уверенности, что воздух этот ниспослан ему самим Господом Богом, который в своем милосердии и долготерпении пришел к выводу, что это лучшее средство очистить голову от паров виски.

Он обвел взглядом городские дома, высящиеся над деревьями парка, порадовался, что здесь его дом, его работа, его будущее, и продолжил путь с востока на запад, стараясь обойтись без резких движений, которые могли привести к полной потере ориентации.

— Извините. — Дорогу ему заступил мужчина. — Огонька не найдется?

О'Мэлли остановился, чиркнул спичкой, поднес ее к сигарете мужчины, заметив и толику румян на его щеках, и длинные, тщательно завитые волосы, и белые, дрожащие руки, которыми мужчина прикрыл огонек как бы от ветра, и помаду на губах.

— Благодарю. — Мужчина поднял голову и искоса, но с вызовом посмотрел на О'Мэлли.

Тот убрал спички и двинулся на запад, стараясь не вертеть головой.

— Прекрасная ночь. — В высоком, почти девичьем голосе мужчины слышались нервные, даже истеричные нотки. — Я обожаю гулять по парку посреди ночи и дышать, просто дышать воздухом.

О'Мэлли глубоко вздохнул.

— Вы один? — встревоженно спросил мужчина.

— Ага, — ответил О'Мэлли.

— Вам не одиноко? — Его собеседник переплел пальцы рук. — Вы не боитесь ходить по парку в такой час?

— Нет, — без запинки ответил О'Мэлли. Выпивка, сладость воздуха, ощущение единения с великим городом Нью-Йорком настраивали на дружелюбный лад. —

Я никогда не страдаю от одиночества, и мне нравится бродить по парку, когда здесь пусто и темно, как сейчас.

Мужчина печально кивнул.

— Так вы уверены, что вам не нужна компания? — с отчаянием спросил он, вновь искоса и с вызовом посмотрев на О'Мэлли. Это был взгляд испуганной, но решительной женщины, задавшей целью заловить мужчину.

— Я уверен, — мягко ответил О'Мэлли. — Мне очень жаль. — И он оставил мужчину с тщательно завитыми волосами стоять у дерева, с красным угольком сигареты в руке. Он жалел мужчину, с которым глубокой ночью провел каких-то шестьдесят секунд, и при этом остался доволен собой, ибо нашел в себе сочувствие к этому несчастному человеческому существу, пусть мужчина красил щеки и губы и бродил по парку с греховными намерениями.

— Эй, приятель! — Другой мужчина, маленького роста, даже в темноте скрюченный и угловатый, выступил из-за дерева. — Мне нужен десятицентовик.

О'Мэлли сунул руку в карман — пусто.

— У меня нет десятицентовика.

— Мне нужен десятицентовик, — повторил мужчина.

О'Мэлли видел, что лицо у него смуглое и дикое, не городское лицо, грязное, неподвижное, поблескивающее в свете далекого уличного фонаря. Одежда на нем была на пару размеров больше, потрепанная, засаленная, и он то и дело поднимал руки, будто исполняя некий религиозный обряд, чтобы сдвинуть рукава с запястий.

— Я же сказал, у меня нет десятицентовика.

— Дай мне десятицентовик! — крикнул недомерок грубым и хриплым голосом, словно ему не один год приходилось кричать в шумных местах.

О'Мэлли вытащил кошелек, открыл, показал мужчине.

— Пусто. Посмотри сам.

Мужчина посмотрел. Поддернул рукава, чтобы освободить запястья, глянул через плечо О'Мэлли на уличный фонарь. О'Мэлли убрал кошелек в карман.

— Дай мне доллар, — потребовал мужчина.

— Я показал тебе кошелек, — ответил О'Мэлли. — У меня ничего нет. Я пустой.

Мужчина легкой походкой, на носочках, задумчиво прошелся вокруг О'Мэлли.

— Я тебя изобью. Пусть ты и крупнее меня. Я — профессиональный боксер. Я — индеец. Индеец племени крик. Я — Билли Лось. Дай мне десятицентовик! — Он протянул руку в полной уверенности, что эта тирада убедила О'Мэлли выложить деньги.

— Я пустой, — последовал ответ. — Честное слово.

Билли Лось вновь медленно прошествовал вокруг О'Мэлли, одежда болталась на нем как на вешалке. О'Мэлли спокойно стоял, думая о том, что неплохо бы в такую тихую ночь, напоенную весенним ароматом земли, подружиться с профессиональным боксером-индейцем, который без цента в кармане оказался в Центральном парке Нью-Йорка, так далеко от родного дома*.

Билли Лось насупился в глубокой задумчивости.

— Дай мне кошелек. Я смогу получить за него доллар.

— Он стоил семьдесят пять центов, — возразил О'Мэлли.

Билли Лось вновь задумался. Сам того не замечая, он принялся кружить вокруг О'Мэлли, который стоял, мечтательно глядя на силуэты огромных домов, впечатавшиеся на фоне неба, на редкие горящие окна, удерживающие город от сна в глубинах ночи.

Внезапно Билли Лось прыгнул на него и выхватил из нагрудного кармана перьевую ручку, которую там всегда

* Резервация индейцев племени крик находится в Алабаме.

носил О'Мэлли. Он гордо покрутил ручку в узловатых пальцах, и грубое лицо осветила удовлетворенная улыбка.

— Я смогу получить за нее доллар! — воскликнул он.

— Она стоила двадцать пять центов, — разочаровал его О'Мэлли. — В «Центовке»*.

Билли Лось внимательно осмотрел ручку.

— Ладно. Я смогу получить за нее двадцать пять центов.

— Да кто даст тебе за нее двадцать пять центов? — спросил О'Мэлли.

Билли Лось отступил на три шага, обдумывая слова О'Мэлли. Вздохнул, вернулся, отдал ручку. О'Мэлли сунул ее в карман и широко, по-братски улыбнулся индейцу.

— Дай мне доллар! — прохрипел Билли Лось.

О'Мэлли опять улыбнулся, похлопал индейца по плечу.

— Спокойной ночи. — И медленно двинулся дальше.

— Если ты не дашь мне доллар, — прокричал Билли Лось, пристроившись рядом, — я заложу тебя полиции!

О'Мэлли остановился.

— А что я такого сделал? — спросил он, довольный тем, что город и ночь после лишнего стаканчика виски устроили ему встречу с таким диким миниатюрным существом.

— Говорил с гомиком! — провопил Билли Лось. — Я тебя видел!

— И что ты видел? — В голосе О'Мэлли появились нотки интереса.

— Я видел, что ты говорил с гомиком, — отчеканил Билли Лось. — Я отведу тебя к полисмену. И не пытайся убежать. Я — профессиональный боксер. Держи руки в карманах!

— Так отведи меня к полисмену, — ответил О'Мэлли, чувствуя, что в столь поздний час, когда бодрствуют лишь

* «Центовка» — магазин товаров повседневного спроса типа «Тысячи мелочей».

очень немногие жители огромного города, его долг — проявлять гостеприимство и во всем потакать желаниям приезжих, нищих, сумасшедших, потерявшихся детей и юных девушек, убежавших из дома.

В молчании они направились к выходу из парка. Лицо Билли Лось прорезали глубокие морщины, глаза блестели, рот превратился в жесткую узкую полоску. На углу ближайшей улицы толстый полисмен лениво болтал с таксистом, сгорбившимся над рулем. Груз ночи тяжело давил на них: смерти в больницах, боль избитых и раненых, преступления, совершенные во мраке, разбитые сердца и мучения мужчин, преданных женщинами, пока город спал. Блеклый свет уличного фонаря заливал слугу закона и усталого водителя старенького такси.

О'Мэлли остановился от них в десяти ярдах, а Билли Лось широким шагом направился к полисмену, который жаловался таксисту на то, что у жены проблемы с почками, а дочь слишком уж вольно ведет себя с мальчишками, хотя учится еще в третьем классе средней школы.

Полисмен замолчал, когда Билли Лось остановился перед ним, окинул индейца подозрительным взглядом, не ожидая от него ничего, кроме неприятностей. А что еще могла подарить ему городская ночь?

— Ну? — печально спросил он Билли Лось.

Билли Лось через плечо мельком глянул на О'Мэлли и вновь повернулся к полисмену:

— Есть тут где-нибудь индейская резервация?

Полисмен, обрадовавшись, что не придется разбираться с убийством, изнасилованием, поджогом, разбоем и двойной парковкой, думал не меньше минуты.

— Нет, в этих местах индейских резерваций нет.

— Одна вроде бы есть, — вставил таксист. — Индиан-Пойнт. Вверх по реке.

Билли Лось с достоинством кивнул, направился к О'Мэлли, а полисмен продолжил рассказ о своей шест-

надцатилетней дочери, которая формами тянула на зрелую женщину лет тридцати.

Билли Лось, подойдя к О'Мэлли, широко улыбнулся, лицо его вдруг стало по-детски добрым.

— Видишь, не такой уж я плохой парень.

Он помахал рукой и нырнул в парк, ловко скользя среди деревьев, как храбрецы Текумсе* или краснокожие защитники кентуккийских родовых земель.

О'Мэлли медленно шагал домой, вдыхая свежий утренний воздух, довольный тем, что живет в городе, по улицам которого бродят индейцы, прилагающие немало усилий, чтобы доказать свое дружелюбие и доброту сердца.

* Текумсе — вождь племени шауни, объединитель племен долины реки Огайо и района Великих озер для сопротивления колонизации и передаче земель белым поселенцам.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАНЗАС-СИТИ*

Арлин открыла дверь спальни, мягко шурша шелковым платьем, шагнула в узкий проход, разделявший две двуспальные кровати. Яркий свет второй половины солнечного дня лишь двумя-тремя тонкими лучиками прорывался сквозь плотно задернутые шторы.

Арлин взглянула на мужа, спящего под покрывалом. Грубое, со сломанным носом лицо боксера на белой подушке в обрамлении вьющихся, как у ребенка, волос выглядело очень мирным. Он негромко похрапывал, дыша через рот. Лоб покрывала тонкая пленка пота. Эдди потел всегда, в любом месте, в любое время года. Но теперь Арлин почему-то разозлилась, увидев, что Эдди начал потеть.

Она постояла, не сводя глаз с лица, на котором не раз и не два оставляли следы перчатки соперников. Достала из кармана отделанный кружевом носовой платочек, промокнула совершенно сухие глаза. Всхлипнула, и тут же появились слезы. Мгновение-другое она плакала молча, затем к слезам добавились всхлипывания, которые постепенно становились все громче и громче.

Эдди шевельнулся. Закрыл рот, повернулся на бок.
— Боже! — завывла Арлин. — О Боже!

* Return to Kansas City. © 2001. В.А. Вебер. Перевод с английского.

И хотя Эдди уже лежал к ней спиной, она видела, что он проснулся.

— О, — плакала Арлин, — пресвятая Мать Божья.

Она знала, что Эдди ее слышит, и он знал, что ей об этом известно, но еще надеялся, что ему удастся увильнуть от общения с женой. Даже пару раз всхрипнул. Но всхлипывания Арлин перешли в рыдания, тушь черными дорожками поползла по щекам.

Эдди вздохнул, повернулся, сел.

— В чем дело? — спросил он. — Что случилось, Арлин?

— Ничего, — сквозь рыдания выдохнула Арлин.

— Так чего ты плачешь?

Арлин не ответила, но рыдать перестала и теперь плакала молча. Эдди потер глаза, взглянул на шторы, обергавшие спальню от солнечного света.

— Арлин, дорогая, в этом доме шесть комнат. Если уж тебе захотелось поплакать, обязательно ли выбирать для этого комнату, в которой я сплю?

Арлин склонила голову, тщательно уложенные в парикмахерской волосы цвета спелой ржи упали на лицо, подчеркивая трагичность судьбы их обладательницы.

— Тебе наплевать, — пробормотала она. — Тебе все равно, плачу я или смеюсь.

Она сжала в руках носовой платочек, и слезы потекли по запястью.

— Мне не наплевать. — Эдди аккуратно отбросил покрывало, спустил ноги с кровати.

Спал он в носках, брюках и рубашке. Два или три раза встряхнул головой, ударил по скуле ребром ладони, прогоняя сон. С тоской посмотрел на жену, которая сидела на другой кровати, — бессильно опущенные на колени руки, поникшая голова, печаль и отчаяние в каждом изгибе тела.

— Честное слово, Арлин, мне не наплевать. — Он пересел к ней, обнял. — Малышка, ну перестань, малышка.

Арлин продолжала плакать, ее округлые мягкие плечи подрагивали под рукой Эдди. Тот не знал, что и делать. Пару раз пожал ее плечо, исчерпав тем самым весь арсенал успокоительных средств.

— Ладно, пожалуй, я посажу ребенка в коляску и пойду с ним погулять. Может, когда вернусь, тебе станет лучше.

— Не станет мне лучше, — пообещала Арлин, не поднимая головы. — Не станет лучше ничуть.

— Арлин...

— Ребенок! — Она выпрямилась, посмотрела на мужа. — Если бы ты уделял мне столько же внимания, как и ребенку!

— Я уделяю внимание вам обоим, моей жене и моему ребенку. — Эдди встал, в носках прошелся по комнате.

Арлин пристально наблюдала за ним. Мягкие фланелевые брюки и рубашка не могли скрыть бугров мышц.

— Спящая красавица мужского пола. Чемпион по спанью. Мой муж.

— Не так уж много я и сплю, — запротестовал Эдди.

— Пятнадцать часов в сутки. Это нормально?

— Утром я провел интенсивную тренировку. — Он остановился у окна. — Шесть раундов. Мне надо отдыхать. Надо накапливать энергию. Я уже не так молод, как некоторые. Мне надо беречь себя. Или, по-твоему, мне не надо накапливать энергию?

— Накапливать энергию! — воскликнула Арлин. — Весь день ты накапливаешь энергию. А что должна делать твоя жена, пока ты этим занимаешься?

Эдди поднял шторы. Солнечный свет залил комнату, Арлин стало сложнее плакать.

— Тебе надо найти подруг, — без особого энтузиазма предложил Эдди.

— У меня есть подруги.

— Так почему ты не встречаешься с ними?

В комнате повисла напряженная тишина. Эдди сунул ноги в туфли, наклонился, начал завязывать шнурки.

— Моя мама в Канзас-Сити. Обе мои сестры в Канзас-Сити. Оба моих брата в Канзас-Сити. Я училась в средней школе в Канзас-Сити. Но теперь я живу здесь, в Бруклине, в Нью-Йорке.

— Ты вернулась из Канзас-Сити два с половиной месяца назад. — Эдди уже завязывал галстук. — Прошло всего два с половиной месяца.

— Это достаточно долгий срок. — Арлин стирала со щек тушь, продолжая плакать. — За два с половиной месяца человек может умереть.

— Какой человек? — любопытствовал Эдди.

Арлин его словно и не услышала.

— Мама пишет, что хочет опять увидеть ребенка. Это естественное желание — бабушка хочет повидаться с внуком. Скажи мне, естественное?

— Да. — Эдди пригладил волосы. — Естественное. Только объясни, почему твоя мама не может приехать сюда, если ей хочется увидеть ребенка. Пожалуйста, объясни.

— Мой муж полагает, что в Канзас-Сити вместе с билетами в кино раздают золотые монеты. — Голос Арлин сочился сарказмом.

— Что? — На лице Эдди отразилось недоумение. — Что ты сказала?

— На какие деньги мама приедет сюда? — спросила она. — В нашей семье, как ты знаешь, нет профессиональных боксеров. Мне пришлось выйти замуж за одного из них, чтобы он стал членом нашей семьи. О Господи! — Слезы полились с новой силой.

— Послушай, Арлин. — Эдди вновь подсел к жене, в его голосе слышалась мольба, грубое лицо стало груст-

ным и печальным. — У меня нет денег на то, чтобы отправлять тебя в Канзас-Сити всякий раз, когда я хочу поспать днем. Мы женаты полтора года, и за это время ты пять раз ездила в Канзас-Сити. У меня такое ощущение, что я выхожу на ринг, защищая цвета Нью-Йоркской центральной железной дороги.

Арлин упрямо мотнула головой:

— В Нью-Йорке нечего делать.

— В Нью-Йорке нечего делать?! — От изумления у Эдди вытянулось лицо. — Боже! А в Канзас-Сити, значит, все по-другому?! — выкрикнул он. — Да что можно делать в Канзас-Сити? Не забывай, я там был. Я женился на тебе в этом городе.

— Я не знала, что меня ждет здесь, — ответила Арлин. — В Канзас-Сити мне было хорошо. Я была юной наивной девушкой.

— Пожалуйста, давай не ворошить прошлое.

— Я жила в большой семье, — не унималась Арлин. — Я ходила там в школу.

Она согнулась пополам, рыдания вновь вырвались из ее груди. Эдди облизнул губы. Они пересохли после утреннего спарринга, нижняя треснула, и ее зашипало от прикосновения языка.

— Почему бы тебе не заниматься ребенком побольше? — осторожно спросил он.

— Ребенком! — воскликнула Арлин. — Я прекрасно забочусь о ребенке. Провожу с ним каждый вечер, пока ты храпишь, запасаясь энергией. — Внезапно ее охватила ярость, она вскочила, размахивая руками. — Хорошее ты выбрал себе занятие! Каждый месяц тридцать минут дерешься на ринге, а потом спишь триста пятьдесят часов. Это же смешно. Смешно! Запасенной тобой энергии достаточно для того, чтобы разбить всю немецкую армию!

— Да, такое у меня занятие, — попытался объяснить Эдди. — Такова специфика моей профессии.

— Только не надо держать меня за дурочку! Я встречалась с другими боксерами. Они не спали сутки напролет!

— Меня это не интересует, — отмахнулся Эдди. — Я не хочу ничего знать о твоей жизни до свадьбы.

— Они ходят в ночные клубы, — не унималась Арлин, — они танцуют, иногда даже выпивают, водят девушек на мюзиклы!

Эдди кивнул:

— Они чего-то хотят от этих девушек. В этом все дело.

— Тебе бы неплохо чего-то захотеть!

— Я встречался с боксерами, о которых ты говоришь. С любителями ночных клубов. В первых трех раундах они готовы разбить мне голову, а потом начинают дышать ртом. К восьмому раунду они сожалеют о том, что засматривались на полуголых танцовщиц. Бой же они заканчивают лежа на полу — запасают энергию. На глазах у пяти тысяч зрителей. Ты хочешь, чтобы я стал таким боксером?

— Ты у меня чудо. — Арлин скорчила гримаску. — Мой Джо Луис. Но я не заметила, чтобы ты приносил миллионные гонорары.

— Я прогрессирую медленно. — Эдди посмотрел на изображение Марии и Иисуса над его кроватью. — И думаю о будущем.

— Я связала свою судьбу с фанатичным поборником здорового образа жизни! — в отчаянии воскликнула Арлин.

— Почему ты так говоришь со мной, Арлин?

— Потому что хочу в Канзас-Сити! — взвизгнула она.

— Пожалуйста, объясни мне, почему тебя так тянет в Канзас-Сити?

— Мне одиноко, — с неподдельной горечью ответила Арлин. — Ужас как одиноко. Мне всего двадцать один год, Эдди.

Он нежно похлопал ее по плечу и попытался придать голосу мягкости:

— Послушай, Арлин, если ты поедешь в купе и не будешь покупать всем подарки, я, возможно, смогу занять сотню баксов...

— Я скорее умру. Пусть я до конца своих дней не увижу Канзас-Сити, но никто не узнает, что мой муж считает центы, как какой-то кондуктор трамвая. И это человек, имя которого каждую неделю мелькает в газетах. Я такого позора не переживу!

— Но, Арлин, дорогая... — Эдди замялся. — Ты едешь в Канзас-Сити четыре раза в год, ты раздаешь подарки, как УОР*, и ты всегда покупаешь новые наряды...

— Я не могу появиться в Канзас-Сити в лохмотьях! — Арлин расправила чулок на стройной ножке. — Я скорее...

— Все будет по-твоему, дорогая, — оборвал ее Эдди. — Со временем. Сейчас у меня нет таких возможностей.

— Есть! — воскликнула Арлин. — Ты лжешь мне, Эдди Мегаффин! Джек Блачер звонил сегодня утром и сказал, что предложил тебе тысячу долларов за бой с Джо Принсайпом.

Эдди сел. Уставился в пол. Теперь он понимал, что заставило Арлин разбудить его.

— Тебе обещали за этот бой семьсот пятьдесят долларов, — вкрадчиво продолжила Арлин. — Я смогу поехать в Канзас...

— Джо Принсайп оборвет мне уши.

Арлин вздохнула:

— Мне очень хочется повидать маму. Она старая женщина и скоро умрет.

* УОР — Управление общественных работ — федеральное независимое ведомство, созданное по инициативе Ф. Рузвельта в 1935 г. и ставшее основным в системе трудоустройства безработных в ходе реализации программы «Новый курс».

— Я не готов к бою с Джо Принсайпом. Для меня он слишком силен и хитер.

— Джек Блачер сказал, что у тебя прекрасные шансы.

— У меня прекрасные шансы попасть в больницу. Этот Джо Принсайп сделан из стальных пружин и бетона. Будь у него пара рогов, я имел бы законное право убить его мечом.

— Он всего лишь человек с двумя кулаками, как и ты.

— Вот-вот.

— Ты всегда говорил мне, какой ты молодец.

— Через два года, если я буду постепенно набирать форму, не нарываясь на нокауты...

— Ты можешь легко заработать большие деньги! — Драматическим жестом Арлин ткнула пальцем в грудь Эдди. — Но ты не хочешь. Ты не хочешь, чтобы я была счастлива. Я вижу тебя насквозь, Эдди Мегаффин.

— Я просто не хочу подставляться, — покачал головой Эдди.

— Хорош боксер! — рассмеялась Арлин. — А зачем ты тогда выходишь на ринг? Боксер должен быть готов ко всему, не так ли? Это ведь его работа. Я тебе безразлична. И нужна только для того, чтобы рожать детей и жарить чертовы стейки и бараньи отбивные. В Бруклине! Я должна целыми днями торчать в этом маленьком домике и...

— Вечером я пойду с тобой в кино, — пообещал Эдди.

— Я не хочу идти в кино. Я хочу в Канзас-Сити. — Арлин бросилась на кровать и опять разрыдалась. — Я в ловушке! В ловушке! Ты меня не любишь! Ты не пускаешь меня к людям, которые меня любят! Мама! Мама!

Эдди закрыл глаза.

— Я тебя люблю. — Говорил он чистую правду. — Клянусь Богом.

— Это все слова. — Голос жены заглушала подушка. — А доказательств нет! Докажи! Я и представить себе не мог-

ла, что молодой мужчина может быть таким жадным. Докажи... — Голос ее утонул в печали.

Эдди наклонился, чтобы поцеловать Арлин. Она дернулась, отталкивая его, горько плача, как обиженная девочка. Из соседней комнаты, где спал малыш, донеслось хныканье.

Эдди подошел к окну, посмотрел на тихую Бруклин-стрит, деревья, играющих детей.

— Хорошо. Я позвоню Блечеру.

Арлин перестала плакать. В соседней комнате по-прежнему хныкал малыш.

— Я попытаюсь поднять мою долю до двенадцати сотен. Ты сможешь поехать в Канзас-Сити. Ты счастлива?

Арлин села, кивнула.

— Я сегодня же напишу маме.

— Погуляй с ребенком. — Эдди смотрел на Арлин, которая уже подкрашивала перед зеркалом глаза. — Я хочу немного поспать.

— Конечно, — кивнула Арлин. — Конечно, Эдди.

Эдди снял туфли и улегся на кровать — он вновь запасал энергию.

Содержание

Любовь на темной улице Рассказы

Мужчина, который был женат на француженке	5
Обитатели Венеры	32
Звуки города	60
Год на изучение языка	76
Любовь на темной улице	121
Пятно света	146
Мечтательная и неуловимо беспечная	178
Услышь сердца наши и голоса... ..	210
Люттик у могилы	228

Рассказы из сборника Пестрая компания

Клубничное мороженое с содовой	261
Матрос с «Бремена»	277
Добро пожаловать в город	291
Смешанные пары	309
Маленький Генри Ирвинг	322
Индеец в ночи	334
Возвращение в Канзас-Сити	341

Ирвин Шоу

Даты жизни и творчества

- 1913 г. Родился в Нью-Йорке, в районе Бруклин.
- 1936 г. Литературный дебют, пьеса
«Предайте мертвых земле».
- 1937 г. Пьеса «Осада».
- 1939 г. Сборник рассказов «Матрос с “Бремена”» и
пьеса «Бруклинская идиллия».
- 1942 г. Сборник рассказов «Добро пожаловать в
город».
- 1944 г. Пьеса «Убийца».
- 1944— Был военным корреспондентом
1945 гг. в действующей армии.
- 1946 г. Сборник рассказов «Акт доверия».
- 1948 г. Роман «Молодые львы».
- 1950 г. Сборник рассказов «Доверяй, но проверяй».
- 1950 г. Роман «Растревоженный эфир».
- 1956 г. Роман «Люси Краун».
- 1957 г. Сборник рассказов «Ставка
на мертвого жокея».
- 1960 г. Роман «Две недели в другом городе».
- 1965 г. Роман «Голоса летнего дня» и сборник
рассказов «Любовь на темной улице».
- 1970 г. Роман «Богач, бедняк».
- 1973 г. Роман «Вечер в Византии» и сборник
рассказов «Бог был здесь, но уже ушел».
- 1975 г. Роман «Ночной портье».
- 1977 г. Роман «Нищий, вор».
- 1978 г. Сборник рассказов «Пять десятилетий».
- 1979 г. Роман «Вершина холма».
- 1981 г. Роман «Хлеб по водам».
- 1982 г. Роман «Допустимые потери».
- 1984 г. Скончался в Нью-Йорке.

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству АСТ. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Шоу Ирвин
Любовь на темной улице
Сборник

Ответственный редактор Л.А. Кузнецова
Художественный редактор О.Н. Адашкина
Технический редактор О.В. Панкрашина
Младший редактор Н.К. Белова

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.001056.03.05 от 10.03.05 г.

ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 93

Наши электронные адреса:
WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

Ирвин ШОУ

Ирвин Шоу — один из самых популярных писателей XX века, автор великодушных книг «Богач, бедняк», «Ничий, вор», «Вечер в Византии» и многих, многих других. Его романы неизменно становились бестселлерами, многократно переиздавались и экранизировались.

Любовь, на темной улице

Мучительное расставание на окутанной
темнотой улице...

Первые робкие поцелуй под дождем...

Волнующее и томительное ожидание счастья...

Сокровенные тайны и потрясающие открытия...

Все это — ЛЮБОВЬ, непредсказуемая
и невыразимо прекрасная, возносящая
сердца людские на небеса и низвергающая
в бездну...

Москва, Мясницкая 6
<http://www.mio-globus.ru> Тел. 928-35-67
924-46-80
781-19-00



785 170 306442